Ромен

Гари

Воздушные змеи



18+

CORPUS

Воздушные змеи
Ромен Гари

Аннотация
Ромен Гари. Воздушные змеи
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX

Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Глава XXXIV
Глава XXXV
Глава XXXVI
Глава XXXVII
Глава XXXVIII
Глава XXXIX
Глава XL
Глава XLI
Глава XLII
Глава XLIII
Глава XLIV
Глава XLV
Глава XLVI

Глава XLVII

Аннотация

Ромен Гари – единственный французский писатель, награжденный Гонкуровской премией дважды: первый раз под фамилией Гари за роман “Корни неба” (1956), второй – под псевдонимом Эмиль Ажар за книгу “Вся жизнь впереди” (1975). После “ажаровской” эпопеи – одной из самых громких литературных мистификаций XX века, – когда публика и критики не распознали в текстах Ажара почерк прославленного прозаика, Гари выпустил свой последний роман “Воздушные змеи” и вскоре покончил с собой.

Это роман о Второй мировой войне, об оккупации, о французском Сопротивлении, но главное – о любви. Нормандский мальчишка Людо с десяти лет влюблен в свою ровесницу по имени Лила, принадлежащую к высшей польской аристократии. Разница в общественном положении доставляет ему немало мук и унижений. Людо – сирота. Его воспитывает дядя, сельский почтальон, который мастерит воздушных змеев. Эти разноцветные бумажные фигурки, корабли,

летающие крепости взмывают в небо, заставляя мальчика верить, что любые земные преграды преодолимы. Начинается война, и повзрослевший Людо вступает в борьбу за свою любовь и за освобождение Франции от нацистов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Ромен Гари
Воздушные змеи

Посвящается памяти

© Éditions Gallimard, Paris, 1980
© Е. Штофф, перевод на русский язык, 2012
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство Аст”, 2024
Издательство CORPUS ®

Глава I

В наши дни маленький музей творений Амбруаза Флёри — не более чем скромное развлечение для посещающих городок Клери туристов. Большинство посетителей отправляются туда, пообедав в “Прелестном уголке”, который единодушно воспевается во всех французских путеводителях как одна из главных местных достопримечательностей. Путеводители все же упоминают о наличии музея — с пометкой “Рекомендуем посетить”. В пяти залах собрана большая часть работ моего дяди, переживших войну, оккупацию, бои за освобождение — все невзгоды и превратности судьбы, выпавшие на долю нашей страны.

Воздушные змеи всех стран рождены народной фантазией, поэтому в них всегда есть нечто наивное. Змеи Амбруаза Флёри не исключение — даже на его последних творениях, созданных в старости, лежит этот отпечаток душевной свежести и чистоты. Музей не закрывает своих дверей, несмотря на вялый интерес публики и скромность получаемых от муниципалитета средств: он слишком связан с нашей историей.

Но большую часть времени его залы пустуют, ибо мы живем в эпоху, когда французам хочется не столько помнить, сколько поскорее забыть свое прошлое.

Лучшая фотография Амбруаза Флёри висит у входа в музей. Он стоит в форме сельского почтальона — кепи, мундир, грубые башмаки, кожаная сумка на животе — между воздушным змеем в виде божьей коровки и змеем, изображающим Леона Гамбетта[1], чьи голова и туловище образуют баллон и корзину воздушного шара, на котором он совершил свой знаменитый перелет во время осады Парижа. Существует и множество других фотографий человека, которого долго называли “чокнутым почтальоном из Клери”, поскольку некоторые посетители мастерской на нашей ферме Ла-Мотт снимали его ради смеха. Мой дядя охотно соглашался сниматься. Он не боялся выглядеть смешным и не жаловался на прозвища “чокнутый почтальон” или “тихий чудак”, и если даже знал, что местные жители называют иногда его “полоумный старик Флёри”,

[1] Примечания: 1

Леон Гамбетта (1838–1882) — французский адвокат и политический деятель, отстаивавший республиканскую форму правления. Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. — член правительства национальной обороны. В 1881–1882 гг. — премьер-министр Франции. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

то, казалось, видел в этом скорее знак уважения, чем презрения. В тридцатые годы, когда известность дяди начала расти, хозяину “Прелестного уголка” Марселену Дюпра пришло в голову напечатать почтовые открытки с изображением моего опекуна в форме среди его воздушных змеев с надписью: “Клери. Знаменитый сельский почтальон Амбруаз Флёри и его воздушные змеи”. К сожалению, все эти открытки черно-белые и не передают веселой яркости воздушных змеев. Не передают они и добродушной улыбки старого нормандца, как бы подмигивающего небу.

Мой отец был убит на Первой мировой; вскоре после этого умерла и мать. Война стоила жизни и второму из трех братьев Флёри, Роберу. Мой дядя Амбруаз вернулся с фронта, раненный в грудь. Должен добавить для ясности, что мой прадед Антуан погиб на баррикадах во времена Коммуны, — думаю, этот эпизод нашего прошлого и особенно двойное упоминание фамилии Флёри на памятниках погибшим в Клери сыграли решающую роль в жизни моего опекуна. С войны он пришел другим человеком — прежде в округе говорили, что он чуть что кидается в драку. Теперь же люди удивлялись, что бывший солдат, награжденный медалью, не упускает случая высказать

пацифистские взгляды, защищает уклоняющихся от военной службы по моральным соображениям и протестует против всех видов насилия с огнем во взгляде — возможно, это был отблеск огня, горящего у Могилы Неизвестного Солдата. Он вовсе не выглядел тихоней. Волевое лицо, правильные, жесткие черты, седые, стриженные ежиком волосы, густые и длинные усы, которые называют "галльскими", поскольку французы, слава богу, еще не разучились дорожить своими историческими воспоминаниями, даже если это всего лишь память об усах. Глаза были темные — это всегда признак веселости. По общему мнению, он на войне "слегка тронулся" — так объясняли его пацифизм и причуду посвящать все свободное время воздушным змеям — "ньямам", как он их называл. Он нашел это слово в книге об Экваториальной Африке, где оно вроде бы означает все, в чем есть дыхание жизни: людей, мошек, львов, слонов или идеи. Наверное, он выбрал работу сельского почтальона потому, что его военная медаль и два военных креста давали ему право на льготное место, а может, он видел здесь поле деятельности, подходящее для пацифиста. Он часто говорил мне: "Мой маленький Людо, если тебе повезет и ты будешь хорошо работать, когда-

нибудь и ты сможешь получить место почтового служащего”.

Мне понадобились годы, чтобы понять, как переплетались в его характере глубокая серьезность и стойкость и свойственное французам шутливое лукавство.

Дядя говорил, что “воздушные змеи должны, как и все, учиться летать”, и с семи лет я провожал его после школы на “испытания”, как он это называл, то на луг, раскинувшийся перед Ла-Мотт, то немного дальше, на берега Риголи, с “ньямом”, от которого еще приятно пахло свежим клеем.

— Надо крепко держать змеев, — объяснял он мне, — потому что они тянут вверх и иногда вырываются, поднимаются слишком высоко в погоне за синевой, и тогда их больше не увидишь, разве только люди принесут обломки.

— А если я буду держать слишком крепко, я не улечу вместе с ними?

Он улыбался, и его густые усы казались еще добрее.

— Может и так случиться, — говорил он. — Но ты не давайся.

Дядя придумывал своим змеям ласковые имена: “Страшилка”, “Резвунчик”, “Хромуша”, “Пузырь”, “Парень”, “Трепетунчик”, “Красавчик”,

“Косолапый”, “Плескунчик”, “Милок”, и я никогда не знал, почему он называл их так, а не иначе, почему змей, похожий на веселую лягушку, которая, как бы на прощание, машет на ветру лапкой, назывался “Косолапый”, а улыбающаяся рыбка с трепещущими серебристыми чешуйками и розовыми плавниками звалась “Плескунчик” или почему он над лугом у Ла-Мотт запускает “Пампушку” чаще, чем “Марсианина”, который мне очень нравился из-за круглых глаз и крыльев в виде ушей, трепетавших, когда он взлетал; этим движениям я успешно подражал — лучше, чем все мои одноклассники. Когда дядя запускал “ньяма”, чья форма была мне непонятна, он объяснял:

— Надо стараться делать змеев, которые отличаются от всего, что мы уже видели. Это должно быть что-то совсем новое. И их нужно еще крепче держать за веревку, потому что, если упустишь, они улетают в небо и при падении могут сильно покалечиться.

Но иногда мне казалось, что это вовсе не Амбруаз Флёри держит за веревочку воздушного змея, а наоборот.

Моим любимцем долго был славный “Пузырь”, чей живот удивительно раздувался от воздуха,

когда он набирал высоту; при самом слабом ветерке он делал пируэты, смешно похлопывая себя лапками по брюшку, когда дядя натягивал или отпускал нити.

Я укладывал “Пузыря” с собой спать, потому что на земле воздушному змею очень нужна дружба: внизу он теряет форму, сникает и легко может впасть в отчаяние. Ему нужны высота, воздух и много неба, чтобы развернуться во всей красе.

Днем мой опекун обходил округу, выполняя свои обязанности — разносил местным жителям почту, которую забирал утром на почтамте. Но когда я возвращался из школы, пройдя пять километров, он почти всегда стоял в форме почтальона на лугу у Ла-Мотт (во второй половине дня у нас поднимается ветер), устремив глаза вверх на одного из своих дружков, трепещущих над землей.

Однажды мы потеряли нашего великолепного “Морехода” с двенадцатью парусами, которые ветер надул разом, вырвав его у меня из рук, и я захныкал; дядя, следя взглядом за своим детищем, исчезающим в небе, сказал:

— Не плачь. Для того он и создан. Ему хорошо там, наверху.

Назавтра местный фермер привез нам в телеге

с сеном кучу деревяшек и бумаги — все, что осталось от “Морехода”.

Мне было десять лет, когда выпускаемая в Онфлере газета посвятила статью в юмористическом духе “нашему земляку Амбруазу Флёри, сельскому почтальону из Клери, симпатичному оригиналу, чьи воздушные змеи составят когда-нибудь славу этих мест, как кружева прославили Валансьен, фарфор — Лимож и глупость — Камбре”. Дядя вырезал статью, застеклил и повесил на гвоздь на стене мастерской.

— Как видишь, я не лишен тщеславия, — сказал он, лукаво подмигнув.

Эту заметку с фотографией перепечатала одна парижская газета, и в скором времени наш сарай, получивший название мастерской, начал принимать не только посетителей, но и заказы. Хозяин “Прелестного уголка”, старый друг моего дяди, рекомендовал эту “местную достопримечательность” своим клиентам. Однажды перед нашей фермой остановился автомобиль и из него вышел очень элегантный господин. Особенное впечатление произвели на меня его усы, которые торчали до ушей и соединялись с бакенбардами, деля лицо пополам. Позже я узнал, что это крупный английский коллекционер лорд Хау.

При нем был лакей и чемодан; когда чемодан открыли, я обнаружил великолепных воздушных змеев из разных стран — Бирмы, Японии, Китая, Сиама, тщательно уложенных на обтянутом бархатом дне. Дяде было предложено полюбоваться ими, что он и сделал с полной искренностью, так как в нем абсолютно не было шовинистической жилки. В этом отношении его единственным "пунктиком" было утверждение, что воздушный змей стал значительной персоной только во Франции в 1789 году. Отдав должное образчикам английского коллекционера, дядя в свою очередь показал ему некоторые из собственных творений, среди которых был "Виктор Гюго в облаках", сделанный под влиянием знаменитой фотографии Надара, — причем поэт напоминал Бога Отца, поднимающегося в воздух. После двух часов осмотра и взаимных комплиментов оба отправились на луг, каждый запустил из любезности змея другого, и они оживляли нормандское небо до тех пор, пока не сбежались все окрестные мальчишки, чтобы принять участие в празднике.

Известность Амбруаза Флёри росла, но не вскружила ему голову даже тогда, когда его "Герцогиня де Монпансье во фригийском колпаке" (у дяди была пылкая натура республиканца) получила

первый приз на выставке в Ножане и лорд Хау пригласил его в Лондон, где дядя продемонстрировал некоторые из своих изделий в Гайд-парке. После прихода к власти Гитлера и оккупации Рейнской области политический климат в Европе начинал портиться, поэтому в тот период часто проводились разные мероприятия по укреплению франко-британской дружбы. Я сохранил фото из “Иллюстрейтед Лондон ньюс”, где Амбруаз Флёри со своей “Свободой, озаряющей мир” стоит между лордом Хау и принцем Уэльским. После такого почти официального признания Амбруаза Флёри избрали сначала членом, а затем почетным президентом общества “Воздушные змеи Франции”. Визиты любопытных становились все чаще.

Прекрасные дамы и важные господа, приезжавшие в автомобилях из Парижа пообедать в “Прелестном уголке”, отправлялись после обеда к нам и просили “мэтра” продемонстрировать что-нибудь из его творений. Прекрасные дамы усаживались на траву, важные господа с сигарой в зубах старались сохранять серьезность, и публика наслаждалась созерцанием “чокнутого почтальона” с его “Монтенем” или “Всеобщим миром”, которые он удерживал за веревочку,

глядя в небо пронзительным взором великих мореплавателей. В конце концов я почувствовал, сколько оскорбительного было в усмешках важных дам и снисходительном выражении лиц холеных господ, и даже иногда улавливал нелестные или сочувственные реплики. “Он, кажется, не в своем уме. Его контузило на фронте”. “Он объявляет себя пацифистом и ратует за ценность человеческой жизни, но, по-моему, он просто хитрец, который изумительно умеет создавать себе рекламу”. “Умереть можно со смеху!” “Марселен Дюпра был прав, сюда стоило заехать!” “Вы не находите, что он похож на маршала Лиоте, со своим седым ежиком и с этими усами?” “У него что-то безумное во взгляде…” “Ну конечно, дорогая, так называемый священный огонь!” Затем они покупали воздушного змея, как платят за место в театре, и небрежно швыряли его в багажник автомобиля. Это было тем более тяжело, что дядя, всецело отдаваясь своей страсти, становился безразличен к тому, что происходит вокруг, и не замечал, что некоторые гости над ним смеются. Однажды, возвращаясь домой, взбешенный замечаниями, которые я услышал, когда мой опекун управлял полетом своего любимца “Жан-Жака Руссо” с крыльями в форме раскрытых книг, чьи

листы трепал ветер, я не смог сдержать своего негодования. Я шел за дядей большими шагами, нахмурив брови, засунув руки в карманы, и так сильно топал, что носки спадали мне на пятки.

— Дядя, эти парижане смеялись над вами. Они вас назвали старым придурком.

Амбруаз Флёри остановился. Он совсем не был обижен, скорее удовлетворен.

— Вот как? Они так сказали?

Тогда я бросил с высоты своих метра сорока сантиметров фразу, которую слышал из уст Марселена Дюпра по поводу одной пары, посетившей "Прелестный уголок" и недовольной суммой счета:

— Это мелкие люди.

— Мелких людей не бывает, — заявил дядя.

Он наклонился, осторожно положил "Жан-Жака Руссо" на траву и сел. Я сел рядом.

— Значит, они назвали меня придурком. Ну что ж, представь себе, эти важные дамы и господа правы. Совершенно очевидно, что человек, который посвятил всю свою жизнь воздушным змеям, немного придурковат. Вопрос только, как это толковать. Некоторые называют это придурью, а другие — священной искрой. Иногда трудно отличить одно от другого. Но если ты действительно

кого-нибудь или что-нибудь любишь, отдай все, что у тебя есть, и даже всего себя, и не заботься об остальном…

Веселая улыбка быстро мелькнула под густыми усами.

— Вот что ты должен знать, если хочешь стать хорошим служащим почтового ведомства, Людо.

Глава II

Принадлежавшую нашей семье ферму построил один из Флёри вскоре после того, что во времена моих деда и бабушки называлось “событиями”. Когда однажды мне захотелось узнать, что за “события” имелись в виду, дядя объяснил, что это революция 1789 года. Я узнал также, что мы отличаемся хорошей памятью.

— Не знаю, может, это благодаря обязательному школьному образованию, но Флёри всегда обладали замечательной исторической памятью. Думаю, никто из наших никогда и ничего не забывал из того, что выучил. Дедушка иногда заставлял нас рассказывать наизусть Декларацию прав человека. Я так привык, что, случается, и теперь ее повторяю.

Тогда же я узнал (мне только что исполнилось десять лет), что хотя моя собственная память еще не приняла “исторического” характера, она вызывает у моего школьного учителя месье Эрбье, певшего к тому же в хоре Клери, удивление и даже беспокойство. Легкость, с какой я запоминал все пройденное и мог повторить наизусть

несколько страниц из школьного учебника, прочитав их раз или два, а также необычная способность к устному счету, казалась ему скорее неким умственным отклонением, нежели просто свойством хорошего или даже очень хорошего ученика. Он не доверял тому, что называл не моим даром, а “предрасположенностью” (в его устах это звучало зловеще, и я чувствовал себя почти виноватым), так как все знали о дядиных “странностях” и не исключали, что я тоже страдаю каким-то наследственным изъяном, который может оказаться роковым. Чаще всего я слышал от месье Эрбье фразу: “Умеренность прежде всего”; произнося это предостережение, он серьезно всматривался в меня. Однажды, когда мои наклонности проявились так явно, что один из однокашников на меня наябедничал, поскольку я выиграл пари и получил кругленькую сумму, повторив наизусть десять страниц расписания поездов по справочнику железных дорог, я узнал, что месье Эрбье употребил по моему адресу выражение “маленькое чудовище”. Я усугубил свое положение, предаваясь извлечению квадратных корней в уме и молниеносно перемножая длиннющие числа. Месье Эрбье отправился в Ла-Мотт, долго говорил с моим опекуном и посоветовал

ему отвезти меня в Париж и показать специалисту. Прижав ухо к двери, я не упустил ничего из этой беседы.

— Дело в том, Амбруаз, что это ненормально. Бывает, что дети, исключительно способные к устному счету, сходят потом с ума. Их показывают на подмостках мюзик-холлов, и ничего более. Часть их мозга развивается ошеломляющим образом, но в общем они становятся настоящими кретинами. В своем теперешнем состоянии Людовик практически может сдать вступительный экзамен в Высшую политехническую школу.

— Это действительно любопытно, — сказал дядя. — У нас, у Флёри, больше развита историческая память. Один из нас даже был расстрелян во время Коммуны.

— Не вижу связи.

— Еще один, который помнил.

— Помнил о чем?

Дядя немного помолчал.

— Обо всем, наверное, — сказал он наконец.

— Вы же не станете утверждать, что вашего деда расстреляли из-за избытка памяти?

— Именно это я и говорю. Он, должно быть, знал наизусть все, что французский народ пережил на протяжении многих веков.

— Амбруаз, вы здесь известны, извините меня, как… э-э… в общем, как фантазер, но я пришел говорить с вами не о воздушных змеях.

— Ну да, верно, я тоже одержимый.

— Я хочу просто предупредить вас, что память маленького Людовика не соответствует его возрасту, да и никакому возрасту. Он знает наизусть справочник железных дорог. Десять страниц. Он умножил в уме четырнадцатизначное число на четырнадцатизначное.

— Значит, у него это выражается в цифрах. Кажется, исторической памяти ему не дано. Может быть, это спасет его от расстрела в следующий раз.

— В какой следующий раз?

— Да разве я знаю? Всегда есть следующий раз.

— Вам надо бы показать его доктору.

— Слушайте, Эрбье, это начинает мне надоедать. Если бы мой племянник был на сто процентов нормален, это был бы кретин. До свидания и спасибо. Что зашли. Я понимаю, что вы это делаете из лучших побуждений. Он так же способен к истории, как к математике?

— Еще раз, Амбруаз, здесь речь не о способностях. Ни даже об уме. Ум предполагает рассуждение. Я на этом настаиваю: рассуждение. В этом

отношении он рассуждает не лучше и не хуже, чем другие мальчишки его возраста. Что же касается истории Франции, то он может пересказать ее с начала до конца.

Наступила довольно долгая пауза, потом я внезапно услышал, как дядя взревел:

— До конца? Какого конца?! Что, уже предвидится конец?!

Месье Эрбье не нашел что ответить. После поражения 1940 года, когда явно наметился “конец”, мне часто случалось вспоминать об этом разговоре.

Единственным из учителей, который вовсе не казался обеспокоенным моей “предрасположенностью”, был мой преподаватель французского, месье Пендер. Он рассердился только один раз, когда, читая наизусть “Конквистадоров”[2], я, в своем стремлении превзойти себя, решил прочесть стихотворение наоборот, начиная с последней строфы. Месье Пендер прервал меня, погрозив пальцем:

— Мой маленький Людовик, не знаю, готовишься ли ты таким образом к тому, что, кажется, угрожает всем нам, то есть к жизни навыворот в

---

[2] Примечания: 2

“Конквистадоры” — стихотворение Ж.-М. Эредиа.

перевернутом мире, но прошу тебя по крайней мере пощадить поэзию.

Тот же месье Пендер дал нам позднее тему сочинения, воспоминание о которой сыграло определенную роль в моей жизни: “Проанализируйте и сравните два выражения: сохранять здравый смысл и сохранять смысл жизни. Видите ли вы противоречие между этими двумя идеями”.

Надо признать, что месье Эрбье был не совсем не прав, когда делился с дядей своими опасениями на мой счет, полагая, что легкость, с какой я все запоминаю, вовсе не означает зрелости ума, уравновешенности и здравого смысла. Может быть, недостаток здравого смысла — общая беда всех людей, страдающих избытком памяти; доказательство тому — количество французов, расстрелянных через несколько лет или погибших в концлагерях.

Глава III

Наша ферма находилась позади селения Кло, на краю леса Вуаньи, где росли вперемежку папоротники и дрок, буки и дубы и водились олени и кабаны. Дальше шли болота — мирное царство уток, выдр, лебедей и стрекоз.

Ферма Ла-Мотт была довольно уединенной. Нашими ближайшими соседями, в добром получасе ходьбы, были Кайе: маленький Жанно Кайе был на два года младше меня и смотрел на меня снизу вверх. Его родители держали в городе молочную. Дед его, Гастон, потерявший ногу в результате несчастного случая на лесопилке, занимался пчеловодством. Дальше жила семья Маньяр: молчаливые, равнодушные ко всему, что не касалось коров, масла или поля; отец, сын и две старые девы никогда ни с кем не разговаривали.

— Они говорят, только когда надо назвать или узнать цену, — ворчал Гастон Кайе.

Затем по дороге от Ла-Мотт к Клери шли фермы семей Монье и Симон; их дети учились со мной в одном классе.

Я знал окрестные леса до самых дальних угол-

ков. Дядя помог мне построить на краю оврага, у так называемого Старого источника, “индейский вигвам” — шалаш из веток, накрытый клеенкой, где я уединялся с книгами Джеймса Оливера Кервуда и Фенимора Купера, мечтал об апачах и сиу или защищался до последнего патрона от осаждающих меня врагов, всегда “превосходящих численностью”, как того требует традиция. В середине июня я наелся до отвала земляники и задремал, а открыв глаза, увидел перед собой девочку с очень светлыми волосами, в большой соломенной шляпе; она строго смотрела на меня. Под ветвями солнце перемежалось с тенью; мне еще и теперь, после стольких лет, кажется, что эта игра светотени вокруг Лилы никогда не прекращалась, и в тот миг волнения, причина и природа которого были мне тогда непонятны, я был в какой-то мере предупрежден о будущем. Инстинктивно, под влиянием то ли неведомой внутренней силы, то ли слабости, я сделал жест, окончательность и бесповоротность которого не мог предвидеть: я протянул пригоршню земляники строгому белокурому существу. Но так просто я не отделался. Девочка села рядом со мной и, не обращая никакого внимания на горсть земляники, завладела всей корзинкой. Итак, роли были

распределены навсегда. Когда на дне корзинки осталось всего несколько земляничин, она мне ее вернула и сообщила не без упрека:

— С сахаром вкуснее.

Я не колебался. Я вскочил, помчался во весь дух в Ла-Мотт, пулей влетел на кухню, схватил с полки кулек сахарной пудры и с той же скоростью проделал обратный путь. Она была на месте и сидела на траве, положив рядом шляпу и разглядывая божью коровку на тыльной стороне руки. Я протянул ей сахар.

— Больше не хочу. Но ты милый.

— Оставим здесь сахар и придем завтра, — сказал я с вдохновением отчаяния.

— Может быть. Тебя как зовут?

— Людо. А тебя?

Божья коровка улетела.

— Мы еще недостаточно знакомы. Может, когда-нибудь я и скажу тебе мое имя. Знаешь, я довольно загадочна. Наверно, ты меня никогда больше не увидишь. Чем занимаются твои родители?

— У меня нет родителей. Я живу у дяди.

— Что он делает?

Я смутно чувствовал, что “сельский почтальон” не совсем то, что надо.

— Он мастер воздушных змеев, — сказал я.

На нее это как будто произвело благоприятное впечатление.

— Что это значит?

— Это как капитан дальнего плавания, только в небе.

Она подумала еще минутку, потом встала.

— Может быть, завтра я опять приду, — сказала она. — Не знаю. Я очень неожиданная. Сколько тебе лет?

— Скоро будет десять.

— О, ты для меня еще маленький. Мне одиннадцать с половиной. Но я очень люблю землянику. Жди меня здесь завтра в это же время. Я приду, если у меня не будет ничего более интересного.

Она ушла, в последний раз строго взглянув на меня.

Назавтра я набрал, наверно, три кило земляники. Каждые пять минут бегал посмотреть, не идет ли она. В тот день она не пришла. Не пришла ни назавтра, ни потом.

Я ждал ее каждый день весь июнь, июль, август и сентябрь. Сначала я рассчитывал на землянику, потом — на чернику, ежевику и грибы. Такую муку ожидания я переживал только с 1940 по 1944 год, пока ждал возвращения подлинной Фран-

ции. Когда и надежда на грибы меня покинула, я по-прежнему возвращался в лес на место нашей встречи. Прошел год, и еще год, и еще, и я обнаружил, что месье Эрбье был не так уж не прав, когда предостерегал дядю, что в моей памяти есть что-то, внушающее беспокойство. Видимо, у Флёри действительно есть наследственный недостаток: отсутствие успокоительной способности к забвению. Я учился, помогал дяде в мастерской, но редки были дни, когда белокурая девочка в белом платье, с большой соломенной шляпой в руке не составляла бы мне компанию. Речь шла именно об “избытке памяти”, как совершенно справедливо сказал месье Эрбье, — сам он им не страдал, так как при нацистах педантично держался в стороне от всего того, что так страстно и опасно взывало к воспоминаниям. Мне и через три-четыре года после нашей встречи случалось, как только появлялась первая земляника, наполнять корзинку и, лежа под буком и подложив руки под голову, закрывать глаза, чтобы заставить Ее внезапно появиться передо мною. Я не забывал даже коробку с сахарной пудрой. Разумеется, я уже проделывал это не совсем всерьез. Я начинал понимать, что дядя называл “погоней за синевой”, и учился смеяться над самим собой

и своим “избытком памяти”.

Глава IV

В порядке исключения я сдал экзамен на степень бакалавра в четырнадцать лет; помогло и свидетельство о рождении, “подправленное” секретарем мэрии месье Жюльяком, который написал, что мне пятнадцать. Я еще не знал, что мне с собой делать. А пока мои математические способности подали Марселену Дюпра мысль доверить мне бухгалтерию “Прелестного уголка”, и я ходил туда два раза в неделю. Я читал все, что попадалось под руку — от средневековых фаблио до таких вещей, как “Огонь” Барбюса и “На Западном фронте без перемен” Ремарка. Эти книги мне подарил дядя, хотя он редко руководил моим чтением, доверяя “обязательному народному образованию”, но больше всего, кажется, тому, что вызывало, вызывает и будет вызывать споры — наследственным чертам характера, особенно тем, что “присущи нашей семье”, как он говорил.

Он уже несколько лет как оставил службу, но Марселен Дюпра настоятельно советовал ему, принимая посетителей, надевать старую форму сельского почтальона. Хозяин “Прелестного угол-

ка” обладал острым чутьем в области того, что сегодня именуют “связями с общественностью”.

— Понимаешь, Амбруаз, у тебя теперь есть легенда, и ты должен ее поддерживать. Знаю, что тебе на нее наплевать, но ты должен это делать ради наших мест. Клиенты всегда меня спрашивают: “А этот знаменитый почтальон Флёри со своими воздушными змеями еще здесь? Можно его увидеть?” В конце концов, ты ведь продаешь свои летучие игрушки и этим живешь. Значит, надо держать марку. Когда-нибудь люди станут говорить “Почтальон Флёри”, как говорят “Таможенник Руссо”[3]. Когда я говорю с клиентами, я не снимаю кухонного колпака и куртки, потому что меня хотят видеть именно таким.

Хотя Марселен был старый друг, предлагаемые им уловки дяде совсем не нравились. Произошло несколько бурных споров. Хозяин “Прелестного уголка” считал себя в некотором роде национальной гордостью и признавал равными себе только Пуэна во Вьене, Пика в Валансе и Дюмена в Солье. У Марселена была представительная фигура, чуть полысевшая голова, светлые глаза голубовато-стального оттенка. Маленькие уси-

[3] Примечания: 3

Анри *Руссо*, по прозвищу *Таможенник* (1844–1910) — французский художник.

ки придавали ему суховатый вид. В его манере держаться чувствовалось что-то военное; возможно, это осталось у него от тех лет, которые он провел в окопах Первой мировой. В тридцатые годы Франция еще не ограничивала свое величие кулинарными достижениями, и Марселен Дюпра считал себя непризнанным.

— Единственный, кто меня понимает, это Эдуар Эррио[4]. Как-то он мне сказал перед уходом: “Каждый раз, когда я здесь бываю, у меня делается спокойнее на душе. Не знаю, что нам готовит будущее, но уверен, «Прелестный уголок» выдержит все. Только, Марселен, с орденом Почетного легиона тебе придется немного подождать. Франция еще наслаждается избытком культурных ценностей, из-за этого ценностям более скромным не уделяется должного внимания”. Вот что мне сказал Эррио. Так что доставь мне удовольствие, Амбруаз. В этой местности только ты да я пользуемся известностью. Уверяю тебя, если ты станешь время от времени надевать для своей клиентуры форму почтальона, то будешь выглядеть куда лучше, чем в своем мужицком вельвете.

---

[4] Примечания: 4

Эдуар Эррио (1872–1957) — французский политический деятель. Лидер партии радикалов, премьер-министр Франции.

В конце концов дядя начинал смеяться. Я всегда был счастлив, когда на его лице появлялись добрые морщинки — такие веселые.

— Ну и Марселен! Тяжело быть великим человеком! Что ж! Он не совсем не прав, а чтобы сделать мирное искусство воздушных змеев более популярным, можно слегка пожертвовать самолюбием.

Думаю все же, что дядя без удовольствия надевал при случае свою старую форму, отправляясь с детьми на луг — двое-трое ребят часто приходили после школы в Ла-Мотт посмотреть на “испытания”.

Как я уже говорил, Амбруаза Флёри избрали почетным президентом общества “Воздушные змеи Франции”, причем, бог знает почему, он во время мюнхенских событий[5] подал в отставку. Я так и не понял, почему убежденный пацифист так горевал и негодовал, когда в Мюнхене был спасен мир — пусть даже некоторые квалифицировали его как “позорный мир”. Вероятно, все те же вечные проделки проклятой “исторической памяти” Флёри.

---

[5] Примечания: 5

Имеется в виду Мюнхенское соглашение 1938 г. между Францией, Великобританией, нацистской Германией и Италией Муссолини о передаче Чехословакией Германии Судетской области.

Моя память тоже не отпускала меня. Каждое лето я возвращался в лес воспоминаний. Я расспросил местных жителей и знал, что то была не галлюцинация, как мне уже начинало казаться. Элизабет де Броницкая действительно существовала; ее родители были владельцами “Гусиной усадьбы”, расположенной у дороги из Кло в Клери, мимо ее ограды я каждый день ходил в школу. Они уже несколько лет не приезжали летом в Нормандию. Дядя рассказал мне, что письма им пересылали в Польшу: их поместье находилось на берегу Балтийского моря, недалеко от вольного города Гданьска, в те годы более известного под названием Данциг. Никто не знал, вернутся ли они когда-нибудь в “Гусиную усадьбу”.

— Это не первый и не последний воздушный змей, которого ты теряешь в своей жизни, Людо, — говорил дядя, когда видел, как я возвращаюсь из леса с корзинкой земляники — к сожалению, полной.

Я ни на что больше не надеялся, но, хотя эта игра и выглядела слишком детской для четырнадцатилетнего мальчика, меня поддерживал пример моего взрослого дяди: он сохранил в душе ту долю наивности, которая трансформируется в мудрость только при неудачном старении.

Около четырех лет я не видел ту, кого называл “своей маленькой полькой”, но я абсолютно ничего не забыл. У нее было лицо с такими тонкими чертами, что его хотелось коснуться ладонью; гармоничная живость каждого ее движения позволила мне получить отличную оценку на экзамене по философии на степень бакалавра. Я выбрал на устном экзамене эстетику, и экзаменатор, видимо измученный рабочим днем, сказал мне:

— Я задам вам только один вопрос и прошу ответить мне одним словом. Что характеризует грацию?

Я подумал о маленькой польке, о ее шее, ее руках, о полете ее волос и ответил без колебания:

— Движение.

Я получил “девятнадцать”. Я сдал экзамен благодаря любви.

Кроме Жанно Кайе, который иногда смотрел на меня с легкой печалью, — однажды он сказал с завистью: “У тебя по крайней мере кто-то есть”, — я ни с кем не дружил. Я стал почти так же безразличен ко всему окружающему, как Маньяры. Иногда я встречал их на дороге, когда они ехали на рынок со своими ящиками, — отца, сына и обеих дочерей, трясущихся на телеге. Каждый раз

я здоровался с ними, а они мне не отвечали.

В начале июля 1935 года я сидел на траве рядом со своей корзинкой земляники. Я читал стихи Эредиа, который мне и сейчас кажется совершенно несправедливо забытым. Передо мной была светлая прогалина между буками — луч света катался там по земле, как сладострастный кот. Время от времени с соседнего болотца взлетало несколько синиц.

Я поднял глаза. Она была здесь, передо мной — девушка, с которой четыре прошедших года обошлись с благоговением, отдававшим должное моей памяти. Я застыл, почувствовав в груди толчок, от которого у меня перехватило дыхание. Потом волнение прошло, и я спокойно отложил книгу. Она вернулась с небольшим опозданием, вот и все.

— Кажется, ты ждешь меня четыре года… — Она засмеялась. — И ты даже не забыл сахар!

— Я никогда ничего не забываю.

— А я забываю очень легко. Я не помню даже, как тебя зовут.

Я не мешал ей играть роль. Раз она знала, что я повсюду искал ее, она должна была знать, кто я.

— Подожди, дай подумать… Ах да, Людовик. Людо. Ты сын знаменитого почтальона Амбруаза

Флёри.

— Племянник.

Я протянул ей корзинку земляники. Она съела одну ягодку, села рядом и взяла мою книгу.

— Боже мой, Жозе-Мариа де Эредиа! Но это так старо! Читал бы лучше Рембо и Аполлинера.

Оставалось только одно. Я прочел наизусть:

Его любимая в Анжу, что так нежна,

Чарует волшебством несбыточного сна.

Смятенною тоской душа его полна,

Звучащею струной пленяется она.

Неверный – в песне, что для пахаря сложил,

Он голосом тоску свою избыл.

Она казалась польщенной и довольной собой.

— Наши садовники рассказали мне, что ты у них спрашивал, вернусь ли я. Действительно безумная любовь.

Я понял, что, если не буду защищаться, я пропал.

— Знаешь, иногда лучший способ забыть кого-то — это снова его увидеть.

— Ух ты! Не обижайся. Я шучу. Правду говорят,

что вы все такие?

— Какие “такие”?

— Что вы не забываете?

— Мой дядя Амбруаз говорит, что у Флёри такая хорошая память, что некоторые из нас от этого умерли.

— Как можно умереть от памяти? Это глупости.

— Он тоже так думает, поэтому он стал сельским почтальоном и ненавидит войну. Теперь он интересуется только воздушными змеями. В небе они очень красивы, только надо держать их за веревочку, а то если они вырвутся и упадут, то останется просто бумага и деревяшки.

— Объясни, пожалуйста, как можно умереть от памяти.

— Это довольно сложно.

— Я не совсем идиотка. Может быть, пойму.

— Я только хочу сказать, что это довольно трудно объяснить. Кажется, Флёри стали жертвами обязательного народного образования.

— Жертвами чего?!

— Обязательного народного образования. Они выучили слишком много прекрасных вещей, и слишком хорошо их запомнили, и поверили в них полностью, и передавали их от отца к сыну бла-

годаря наследственным чертам характера, и…

Я чувствовал себя не на высоте и хотел добавить, что во всем этом есть частица безумия, которую называют также священной искрой, но под этим устремленным на меня голубым строгим взглядом путался еще больше и только упрямо повторял:

— Им объяснили слишком много прекрасных вещей, в которые они поверили. Ради них они даже пожертвовали жизнью. Поэтому дядя стал пацифистом и защитником гуманности.

Она покачала головой и сказала: “Пф-ф!”

— Я ничего не понимаю в этой твоей истории. Это ни на что не похоже, что твой дядя тебе рассказывает.

Тогда мне пришла мысль, которая показалась мне очень ловкой.

— Приходи к нам в Ла-Мотт, он тебе сам объяснит.

— Я не собираюсь терять время на сказки. Я читаю Рильке и Томаса Манна, а не Эредиа. Кроме того, ты с ним живешь, а он, кажется, не смог объяснить тебе, что он хочет сказать.

— Надо быть французом, чтобы понять.

Она рассердилась:

— Дьявол! Потому что у французов память луч-

ше, чем у поляков?

Я начинал терять голову. Это была вовсе не та беседа, на которую я надеялся после трагической четырехлетней разлуки. С другой стороны, мне ни в коем случае не хотелось выглядеть жалким, хоть я и не читал ни Рильке, ни Томаса Манна.

— Речь идет об исторической памяти, — сказал я. — Существует много вещей, которые французы помнят и не могут забыть всю жизнь, кроме людей, у которых в памяти бывают провалы. Я тебе уже объяснял, что это результат обязательного народного образования. Не понимаю, что тебе тут непонятно.

Она встала и посмотрела на меня с жалостью:

— Так ты считаешь, что только у вас, французов, есть эта “историческая память”? А у нас, поляков, ее нет? Никогда не видала такого осла. Только за последние пять веков у Броницких насчитывается сто шестьдесят убитых, причем почти все погибли как герои, и у нас есть документы, которые это доказывают. Прощай. Больше ты меня не увидишь. Или нет, увидишь. Мне тебя жалко. Ты приходишь сюда четыре года и ждешь меня, и, вместо того чтобы признаться, что ты в меня безумно влюблен — как все остальные, — ты плохо говоришь о моей стране. Во-первых, что ты

знаешь о Польше? Ну давай, я слушаю.

Она скрестила руки на груди и ждала.

Все это так отличалось от того, на что я надеялся и что представлял себе, когда мечтал о ней, что слезы навернулись мне на глаза. Во всем виноват мой старый сумасшедший дядя, он забил мне голову вещами, которые ему лучше бы использовать для своих бумажных хлопушек. Я сделал такое усилие, чтобы не разреветься, что она вдруг забеспокоилась:

— Что с тобой? Ты позеленел.

— Я люблю тебя, — пробормотал я.

— Это не причина, чтобы зеленеть, во всяком случае пока. Ты должен узнать меня получше. До свидания. До скорой встречи. Но только никогда не давай нам, полякам, уроков исторической памяти. Обещаешь?

— Клянусь тебе, я не хотел… Я очень хорошо думаю о Польше. Это страна, известная…

— Чем?

Я замолчал. Я с ужасом обнаружил, что единственное, что приходит мне на ум по поводу Польши, это выражение “пьян как поляк”. Она засмеялась:

— Ну ладно. Четыре года — это неплохо. Конечно, бывает и лучше, но на это нужно время. —

Высказав эту неопровержимую истину с самым серьезным видом, она меня оставила — белая быстрая фигурка, мелькнувшая за буками, среди света и тени.

Я дотащился до Ла-Мотт и лег лицом к стене. У меня было чувство, что моя жизнь кончена. Я не мог понять, как и почему, вместо того чтобы кричать ей о своей любви, я втянулся в этот бессмысленный спор о Франции, Польше, об их исторической памяти, которая интересует меня как прошлогодний снег. Все это дядина вина с этими его “Жоресами” с радужными крыльями и “Мальчишкой Арколем”[6], от которого теперь, как объяснил дядя, осталось только название моста, справедливо это или нет.

Вечером он поднялся ко мне:

— Что с тобой?

— Она вернулась.

Он ласково улыбнулся.

— Бьюсь об заклад, что она теперь совсем другая, — сказал он. — Гораздо надежнее, когда

---

[6] Примечания: 6

Во время Июльской революции 1830 г., в Париже, когда королевские войска держали под обстрелом Гревский мост, обороняя ратушу, молодой человек из толпы восставших бросился с другого берега вперед, воскликнув: “Если я погибну, запомните, что меня зовут д'Арколь”. Он был убит, но успел увлечь за собой народ, и ратуша была взята. В его честь мост был переименован в Аркольский. По другой версии, мост назван так в честь победы Наполеона в битве при Арколе.

делаешь своих воздушных змеев сам, с помощью красивых красок, бечевки и бумаги.

Глава V

На следующий день, около четырех часов, когда я уже начал думать, что все кончено и мне придется сделать самое нечеловеческое усилие на свете, а именно забыть, перед нашим домом остановилась огромная синяя открытая машина. Корректный шофер в серой форме объявил нам, что я приглашен к чаю в “усадьбу”. Я поспешно начистил башмаки, надел свой единственный костюм, из которого вырос, и сел рядом с шофером — он оказался англичанином. Он сообщил мне, что Станислав де Броницкий, отец “барышни”, — финансовый гений; его жена была одной из самых известных актрис в Варшаве и, оставив театр, утешается тем, что дома постоянно делает сцены.

— У них огромные владения в Польше и замок, где господин граф принимает глав государств и знаменитостей со всего света. Да, это большой человек, можешь мне поверить, *my boy*[7]. Если он тобой заинтересуется, тебе не придется провести всю жизнь на почте.

---

[7] Примечания: 7
Мой мальчик *(англ.)*.

“Гусиная усадьба” представляла собой большое двухэтажное деревянное строение, украшенное верандами с резными балюстрадами, башенками и решетчатыми балконами. Она не походила ни на что вокруг. Это была точная копия дома Остророгов, родственников Броницких, расположенного на Босфоре, в Стамбуле. Дом стоял в глубине парка, так что сквозь ограду виднелись только аллеи. В кафе “Улитка” на улице Май в Клери продавались открытки с изображением этой усадьбы. Она была построена в 1902 году отцом Станислава де Броницкого в честь друга, Пьера Лоти[8], и тот потом часто в ней бывал. От времени и влажного климата доски покрылись темным налетом, который Броницкий запрещал удалять из уважения к подлинности. Мой дядя хорошо знал усадьбу и часто говорил мне о ней. Когда он еще работал почтальоном, он ходил туда почти каждый день, так как Броницкие получали больше корреспонденции, чем все остальные жители Клери.

— Богачи не знают, что уж и придумать, — ворчал он. — Соорудили турецкий дом в Нормандии!.. Ручаюсь, что в Турции они построили норманд-

[8] Примечания: 8
Пьер Лоти (1850–1923) — французский писатель.

скую усадьбу.

Начинался июль, и парк был во всей красе. Я знал природу в ее первозданной простоте; никогда еще я не видел ее столь ухоженной. Цветы имели такой сытый вид, как будто только что вышли из “Прелестного уголка” Марселена Дюпра.

— У них тут пять садовников работают полный день, — сказал шофер.

Он оставил меня одного у веранды.

Я снял берет, послюнил и пригладил волосы и взбежал по ступенькам. Как только я позвонил и мне открыла обезумевшая горничная, я понял, что попал как нельзя более некстати. Белокурая дама, одетая, как мне показалось, в переплетение голубых и розовых лент, рыдая, полулежала в кресле; озабоченный доктор Гардье, держа в руке часы в виде большой луковицы, щупал ей пульс. Человек скорее маленький, но крепкого сложения, в халате, блестящем, как серебряная кольчуга, ходил взад и вперед по гостиной; за ним ходил, не отставая, дворецкий с подносом, уставленным напитками. У Стаса де Броницкого были густые светлые кудри, как у ребенка, и баки до середины щеки. Можно было бы сказать, что его лицу недостает благородства, если бы это качество поддавалось определению невооружен-

ным глазом, без помощи внушающих доверие документов. На этом круглом лице полные щеки цветом напоминали ветчину; легко можно было представить их обладателя мясником, склонившимся над разделкой туши. Еле заметный рисунок усиков или, скорее, пушок украшал недовольный, куриной гузкой, рот, придавая графу постоянно раздраженный вид, — правда, в момент моего появления раздражение, видимо, действительно имело место.

Большие глаза линяло-голубого оттенка, слегка навыкате. Их неподвижный блеск отчасти напоминал бутылки на подносе дворецкого и, должно быть, имел отношение к содержимому этих бутылок. Лила спокойно сидела в углу, дожидаясь, чтобы миниатюрный пудель встал на задние лапки ради кусочка сахару. Персонаж хищного вида, весь в черном, сидел за письменным столом, склонившись над грудой бумаг, которые, казалось, рыл своим носом — такой он был острый и длинный.

Я застенчиво ждал с беретом в руке, пока кто-нибудь обратит на меня внимание. Лила, сначала бросившая на меня рассеянный взгляд, наконец вознаградила пуделя, подошла ко мне и взяла меня за руку. Именно в эту минуту красивая дама

разразилась еще более отчаянными рыданиями, к чему все окружающие отнеслись с полным безразличием, и Лила сказала мне:

— Ничего страшного, это опять из-за хлопка.

Так как мой взгляд, видимо, выражал крайнюю степень непонимания, она добавила вместо объяснения:

— Папа опять впутался в хлопок. Он не может удержаться. — И добавила, слегка пожимая плечами: — С кофе было гораздо лучше.

В то время я не знал, что Станислав де Броницкий выигрывал и терял на бирже состояния с такой скоростью, что никто не мог с уверенностью сказать, разорен он или богат.

Станиславу де Броницкому — для его друзей по азартным играм и скачкам и для дам из “Шабане” и “Сфинкса” Стасу — было тогда сорок пять лет. Меня всегда удивлял и немного смущал контраст между его массивным, тяжелым лицом и такими мелкими чертами, что, по выражению графини де Ноай[9], “приходилось искать”. Было также что-то нелепое в его детских белокурых кудрявых волосах, розовом цвете лица и фарфорово-голубых глазах — вся семья Броницких, кроме сына

---

[9] Примечания: 9
Анна *де Ноай* (1876–1933) — французская поэтесса.

Тадеуша, казалась белокуро-розово-голубой. Этот спекулянт и игрок, который бросал деньги на игорные столы так же легко, как его предки посылали своих солдат на поля сражений, не проиграл только одного: своих дворянских грамот. Он принадлежал к одной из четырех или пяти ветвей высшей аристократии Польши, такой как Сапеги, Радзивиллы и Чарториские, в течение долгого времени делившие между собой Польшу, пока страна не перешла в другие руки и не подверглась другим разделам. Я заметил, что его глаза порой слегка вращались в орбитах, как если бы им передалось движение всех тех шариков, за которыми они следили при игре в рулетку.

Сначала Лила подвела меня к отцу, но так как он, поднеся руку ко лбу и возведя взгляд к потолку, откуда, по-видимому, на него свалилась катастрофа, не обратил на меня ни малейшего внимания, она подтащила меня к госпоже де Броницкой. Дама перестала плакать, бросила на меня взгляд, взмахнув таким количеством ресниц, какого я еще не встречал у человеческого существа, с рыданиями отняла от губ платок и спросила тонким голоском, еще исполненным муки:

— А этот откуда взялся?

— Я его встретила в лесу, — сказала Лила.

— В лесу? Боже, какой ужас! Надеюсь, он не бешеный. Сейчас у всех животных бешенство. Я читала в газете. Укушенным приходится проходить очень мучительный курс лечения… Надо быть осторожными…

Она наклонилась, взяла пуделя и прижала к себе, глядя на меня с подозрением.

— Прошу вас, мама, успокойтесь, — сказала Лила.

Так я встретился в первый раз с семьей Броницких в ее естественном состоянии — в разгар драмы. Геня де Броницкая (я узнал позже, что "де" исчезало, когда семья возвращалась в Польшу, где эта частица не употребляется, чтобы вновь возникнуть во Франции, где Броницкие были менее известны) обладала красотой, о которой некогда говорилось, что она "производит опустошения". Это выражение теперь вышло из моды — видимо, количество опустошений, которые мир перенес за последнее время, его обесценило. Очень тонкая (с почтительной оговоркой относительно бедер и груди), она была из тех женщин, которые уже не знают, что делать, настолько они красивы.

Меня окончательно отстранили движением

платка, и Лила, по-прежнему держа меня за руку, повела меня через коридор к лестнице. Между большим парадным холлом, где разыгрывалась хлопковая драма, и чердаком было три этажа, но, кажется, во время этого короткого подъема я узнал больше подробностей относительно некоторых странных вещей, которые происходят между мужчинами и женщинами, чем за всю предыдущую жизнь. Едва мы поднялись на несколько ступенек, как Лила уведомила меня, что первый муж Гени покончил с собой в ночь свадьбы, перед тем как войти в супружескую спальню.

— Он нервничал, — объяснила мне Лила, по-прежнему крепко держа меня за руку, боясь, наверно, что я убегу.

Второй муж, напротив, погиб от избытка уверенности в себе.

— От изнеможения, — сообщила Лила, глядя мне прямо в глаза, как бы желая меня предостеречь, а я спрашивал себя, что она хочет этим сказать. — Моя мать была самой великой актрисой Польши. Нужен был специальный слуга, чтобы получать цветы, которые ей все время присылали. Ее содержали король Альфонс Тринадцатый и король Румынии Кароль. Но она

любила только одного человека в жизни, я не могу тебе сказать его имя, это секрет…

— Рудольфо Валентино, — сказал голос.

Мы только что вошли на чердак, и, обернувшись в ту сторону, откуда раздалась эта реплика, произнесенная саркастическим тоном, я увидел мальчика, сидевшего скрестив ноги на полу под окном мансарды, с открытым атласом на коленях, рядом с глобусом. У него был профиль орленка, нос доминировал на лице, как бы чувствуя себя хозяином. Волосы черные, глаза карие, и хотя он был старше меня всего на год или на два, его тонкие губы уже дышали иронией — было даже непонятно, улыбается ли он, или такой рисунок рта у него от рождения.

— Внимательно слушай, что тебе говорит моя сестра, потому что во всем этом никогда нет ни слова правды, а это развивает воображение. У Лилы такая потребность лгать, что на нее нельзя сердиться. Это призвание. У меня склад ума научный и рациональный, что совершенно уникально в этой семье. Меня зовут Тад.

Он встал, и мы пожали друг другу руки. В глубине чердака висел красный занавес, и за ним кто-то играл на рояле.

Лила вовсе не казалась смущенной словами

брата и наблюдала за мной с лукавым выражением.

— Ты мне веришь или нет? — спросила она меня.

Я не колебался:

— Верю.

Она с торжеством взглянула на брата и уселась в большое ветхое кресло.

— Ну, вижу, это уже любовь, — констатировал Тад. — В этих случаях рассудку сказать нечего. Я живу в обществе совершенно сумасшедшей матери, отца, который может проиграть Польшу в карты, и сестры, считающей правду своим личным врагом. Давно вы знакомы?

Я собирался ответить, но он поднял руку:

— Погоди, погоди… Со вчерашнего дня?

Я кивнул.

Признание, что я видел Лилу один раз четыре года назад и с тех пор не переставал о ней думать, только вызвало бы какую-нибудь убийственную реплику.

— Так я и думал, — сказал Тад. — Вчера она потеряла своего пуделя Мирлитона и поспешила найти ему замену.

— Мирлитон вернулся сегодня утром, — объявила Лила.

Эти фехтовальные выпады явно вошли у них в привычку.

— Ну что ж, надеюсь, теперь она тебя не отошлет. Если она будет тебя дурачить, приходи ко мне. Я очень силен насчет того, что дважды два четыре. Но если хочешь добрый совет — спасайся!

Он вернулся в свой угол, снова сел на пол и погрузился в атлас. Лила, откинув голову на спинку кресла, безразлично глядела в пространство. Я немного поколебался, потом подошел к ней и сел на подушку у ее ног. Она подняла колени к подбородку и задумчиво смотрела на меня, как бы спрашивая себя, какую выгоду можно извлечь из своего нового приобретения. Я опустил голову под этим взглядом, в то время как Тад, нахмурив брови, обводил пальцем на глобусе какой-то изгиб Нигера, Волги или Ориноко. Иногда я поднимал глаза, встречал задумчивый взгляд Лилы и снова их опускал, боясь услышать: “Нет, ты мне все-таки не подходишь, я ошиблась”. Я чувствовал, что моя жизнь делает поворот и что у Земли совсем другой центр тяжести, совсем не тот, о котором говорили в школе. Я разрывался между желанием остаться здесь, у ее ног, до конца жизни и желанием бежать. Я до сих пор не знаю,

удалась ли моя жизнь оттого, что я не убежал, или я загубил ее, потому что остался.

Лила засмеялась и прикоснулась к моему носу кончиками пальцев.

— Мой бедный мальчик, у тебя совершенно безумный вид, — сказала она. — Тад, он меня видел два раза за четыре года и уже потерял голову. Но в конце концов, что во мне такого? Почему они все в меня влюбляются? Они на меня смотрят, и сразу с ними делается невозможно разумно разговаривать. Они застывают и глядят на меня, время от времени бекая и мекая.

Тад, не отнимая пальца от глобуса, чтобы не затеряться в пустыне Гоби или в Сахаре, которую исследовал, и не умереть от жажды, бросил на сестру холодный взгляд. В шестнадцать лет Тад Броницкий обладал таким знанием вселенной, что казалось, ему остается всего лишь внести несколько мелких поправок в географию и историю нашей планеты.

— Девочка страдает манией величия, — сказал он.

Все это время рояль за занавесом в глубине чердака продолжал играть; вероятно, невидимый музыкант чувствовал себя за тысячу миль отсюда, увлекаемый мелодией к тем далям, куда

не могли проникнуть ни наши голоса, ни любой другой отзвук событий этого мира. Затем музыка прекратилась, занавес приоткрылся, и я увидел очень кроткое лицо под взлохмаченной шевелюрой и глаза, которые как бы еще следили за звуками, улетевшими в неизвестные дали. Кроме этого, было длинное тело подростка лет пятнадцати — шестнадцати, сутулого и как будто придавленного своим ростом. Сначала я думал, что он меня рассматривает, но Бруно видел вас тем меньше, чем более внимательно, как вам казалось, смотрел на вас, причем материальная реальность мира — этот "предмет первой необходимости", как говорил Тад, — вызывала у него безразличие, смешанное с удивлением.

— Вот это Бруно, — возвестила Лила, в чьих словах слышались известная нежность и гордость собственницы. — Когда-нибудь он получит в консерватории первую премию за игру на рояле. Он мне обещал. Он будет знаменитым. Впрочем, через несколько лет мы все будем знаменитыми. Тад будет великим путешественником, Бруно будут аплодировать во всех концертных залах, я буду второй Гарбо, а ты…

С минуту она изучала меня. Я покраснел.

— Ну ничего, — сказала она.

Я опустил голову. Должно быть, я тщетно пытался скрыть свое унижение, потому что Тад вскочил, подошел к сестре, и, насколько я понял, они обрушили друг на друга град польских ругательств, совершенно забыв о моем присутствии, благодаря чему я смог немного успокоиться. В этот момент месье Жюльен, официант из “Прелестного уголка”, пришел на чердак в сопровождении горничной, неся два подноса, уставленных сладостями, тарелками, чашками и чайниками. Скатерть разостлали и чай нам подали на полу, что я сначала принял за польский обычай. В действительности же это делалось, как объяснил мне Тад, “чтобы внести немного простоты в этот дом с его невыносимыми привычками к роскоши”.

— Кроме того, я марксист, — добавил он (я слышал это слово в первый раз, и оно показалось мне относящимся к обычаю садиться на пол для еды).

За чаем я узнал, что Тад вовсе не собирается становиться путешественником, как требует его сестра, а что он поставил перед собой цель “помочь людям изменить мир”, — говоря это, он сделал жест по направлению к глобусу у окна. Бруно был сыном умершего итальянского дворецкого, который служил Броницким в Польше. Обнаружив у ребенка необыкновенные способ-

ности к музыке, граф усыновил его, дал ему свою фамилию и помогал сделаться “новым Рубинштейном”.

— Еще одно капиталовложение, — бросил Тад. — Отец рассчитывает стать его импресарио и заработать много денег.

Я узнал также, что вся семья собирается в конце лета уехать из Нормандии.

— Во всяком случае, если папу отпустят кредиторы и если он не продал наши земли в Польше, — заметила Лила. — Но все это не важно. Мама опять нас выручит. Она всегда находит очень богатого любовника, который в последний момент спасает дело. Три года назад это был Василий Захаров, самый крупный поставщик оружия в мире, а в прошлом году — господин Гульбенкян, его называют “господин пять процентов”, потому что он получает пять процентов со всех доходов английских нефтяных компаний на Аравийском полуострове. Мама обожает отца, и каждый раз, как он разоряется и грозит покончить с собой, она… в общем… как сказать?..

— Она продается, — кратко заключил Тад.

Я еще никогда не слышал, чтобы дети так говорили о своих родителях, и, видимо, моя растерянность была заметна, потому что Тад дружески

хлопнул меня по плечу:

— Ну-ну, ты покраснел как мак. Ну да, что ты хочешь, мы, Броницкие, немного декаденты. Декаданс — знаешь, что это такое?

Я молча кивнул.

Но я напрасно рылся в знаменитой “исторической памяти” Флёри — этого слова там не было.

Глава VI

Я вернулся домой с решимостью стать “кем-то”, причем в кратчайшие сроки, предпочтительно до отъезда моих новых друзей. Это привело к сильной лихорадке, и несколько дней мне пришлось пролежать в постели. В бреду я обнаружил у себя способность к завоеванию галактик и сорвал с уст Лилы поцелуй в знак благодарности. Помню, что по возвращении с одной особенно враждебной планеты после экспедиции, во время которой я взял в плен сто тысяч нубийцев (я не знал, что такое “нубиец”, но это слово казалось мне удивительно подходящим для межзвездных разбойников), я надел, чтобы торжественно преподнести Лиле мои новые владения, наряд, разукрашенный таким количеством драгоценных камней, что среди самых ярких звезд внезапно поднялась паника при виде ослепительного сияния, исходящего с Земли, занимавшей до сих пор очень скромное место в ряду небесных светил.

Моя болезнь закончилась самым приятным образом. В комнате было очень темно: ставни закрыли и занавески задернули, так как боялись,

что после нескольких дней недомогания у меня может начаться корь, а в то время при лечении кори принято было держать больного в темноте, оберегая глаза. Доктор Гардье проявлял тем большее беспокойство, что мне было уже четырнадцать лет и корь запаздывала. Было около полудня, судя по свету, который залил комнату, когда открылась дверь и появилась Лила в сопровождении шофера, мистера Джонса, неся огромную корзину фруктов. За ней шел мой дядя, не переставая предостерегать мадемуазель относительно риска заразиться опасной болезнью. Лила помедлила минуту в дверях, и, несмотря на крайнее волнение, я не мог не почувствовать продуманности позы, которую она приняла в луче света, играя своими волосами. Хотя этот визит имел прямое отношение ко мне, прежде всего здесь присутствовал театральный элемент, игра во влюбленную девушку, которая склоняется над постелью умирающего; это хотя и не полностью исключало любовь и смерть, однако оттесняло их на задний план. Пока шофер ставил на стол корзину с экзотическими фруктами, Лила постояла еще несколько мгновений в той же позе, затем быстро пересекла комнату, наклонилась надо мной и коснулась поцелуем моей щеки, несмотря

на повторное напоминание дяди о разрушительном и пагубном могуществе микробов, возможно поселившихся в моем теле.

— Ты ведь не собираешься умереть от болезни? — спросила она, как бы ожидая от меня какого-то совершенно иного и замечательного способа покинуть землю.

— Не трогай меня, ты можешь заразиться.

Она села на кровать.

— Зачем тогда любить, если боишься заразиться?

Жаркая волна хлынула мне в голову. Дядя разглаживал усы. Мистер Джонс нес караул возле экзотической корзинки, где плоды личи, папайи и гуайявы напоминали скорее о роскоши Парижа, чем о тропических пейзажах. Амбруаз Флёри высказал в избранных выражениях признательность, которую, по его словам, только моя слабость мешала мне выразить. Лила раздвинула занавески, распахнула ставни и вся стала светом, склонившись надо мной в потоке своих волос; в них свободно играло солнце, знающее толк в хороших вещах.

— Я не хочу, чтобы ты был болен, я не люблю болезни, надеюсь, что это не войдет у тебя в привычку. Время от времени можешь себе

позволить небольшой насморк, но не больше. Больных и без тебя достаточно. Есть даже такие, которые умирают, и совсем не от любви, а от какой-нибудь ужасной гадости. Я понимаю, когда умирают от любви, потому что иногда она так сильна, что жизнь не может этого выдержать, она взрывается. Ты увидишь, я дам тебе книги, где это описывается.

Дядя, помня о славянских обычаях, предлагал чашку чаю. Мистер Джонс бросал деликатные взгляды на часы и "позволял себе напомнить, что барышню ждут на урок музыки". Но Лила не торопилась уходить: ей было приятно видеть мои глаза, полные немого обожания, — она царила, я был ее царством. Сидя на краю кровати, нежно склонившись ко мне, она позволяла себя любить. Что касается меня, то я полностью пришел в себя только после ее отъезда и больше думал про эти благоухающие полчаса, проникнутые первым в моей жизни дуновением женственности и первым проявлением телесной близости, когда они прошли, чем пока продолжались. После того как Лила ушла, я подождал минут пятнадцать, а потом встал с постели, пятясь, чтобы дядя не заметил моего возбуждения. Это продолжалось целый день. Я оделся и весь вечер шагал по по-

лям, но ничего не помогало, пока в ту ночь во сне благожелательная природа сама не пришла мне на помощь.

Лазурно-голубой “паккард” с откидным верхом приезжал за мной каждый день, и дядя начал ворчать:

— Эти люди приглашают тебя, чтобы показать, что у них нет предрассудков, что у них широкие взгляды и они позволяют своей дочери дружить с деревенским мальчиком. На днях я встретил госпожу Броницкую в Клери. Знаешь, что она делала? Она навещала бедняков, как в Средневековье. Ты умный мальчик, но не замахивайся слишком высоко. Хорошо, что они уезжают, а то бы ты в конце концов приобрел дурные привычки.

Я отодвинул тарелку.

— В любом случае я не хочу быть почтовым служащим, — сказал я. — Я хочу быть кем-то совсем другим. Я совершенно не знаю, что хочу делать, потому что это должно быть нечто грандиозное. Может даже, этого еще не существует и мне придется это изобрести.

Я говорил громко и уверенно и гордо поднимал голову. Я не думал о Лиле. Я и сам не знал, что во всем, что я говорил, в этом стремлении превзойти

себя замешана молодая девушка, ее дыхание на моих губах и ее рука на моей щеке.

Я снова взялся за суп.

Дядя казался довольным. Он слегка щурился и разглаживал усы, чтобы скрыть улыбку.

Глава VII

В нескольких километрах от Ла-Мотт, за прудом Маз, был овраг, окруженный ясенями и березами. Здешний лес, некогда использовавшийся для кольберовского флота, заглох; там, где раньше стучал топор, теперь росли во множестве красные дубы, окруженные зарослями кустарника и папоротника. Именно у этого оврага дядя помог мне построить “вигвам” рядом с источником, обессилевшим и умолкшим от старости. Благодаря какой-то игре воздушных потоков бумажные змеи, если их запускали на краю оврага, поднимались в воздух с легкостью, для которой у дяди имелось научное объяснение, но мне казалось, что это проявление дружеской благожелательности неба по отношению ко мне. Недели за две до отъезда Броницких я стоял тут, задрав голову к последнему творению Амбруаза Флёри под названием “Цитадель” — это была маленькая крепость, рассеченная пополам, с толпой маленьких человечков внутри, которые трепетали в воздухе, как бы устремляясь внутрь. Раскручивая бечевку, я давал змею больше свободы в небе,

где он был в своей стихии; и вдруг меня кто-то толкнул, ударил, и, не выпуская катушку из рук, я оказался на земле, а противник навалился на меня всей тяжестью. Я очень быстро заметил, что у него нет ни сил, ни сноровки, соответствующих его воинственным намерениям, и, хотя у меня был свободен только один кулак, легко с ним справился. Он храбро дрался, беспорядочно молотя кулаками, а когда я уселся ему на грудь, прижимая к земле одну его руку коленом, а другую — своей свободной рукой, он попытался ударить меня головой. Это не дало никакого результата, но удивило меня, потому что впервые я внушал кому-то такие сильные чувства. У него были тонкие черты лица, почти как у девушки, и длинные белокурые волосы. Он отбивался с энергией, которая не могла компенсировать узости его плеч и слабости рук. Наконец он изнемог и застыл неподвижно, набираясь сил, потом снова начал дрыгаться, а я старался не дать ему встать, не выпуская своего змея.

— Что тебе от меня нужно? Какая муха тебя укусила?

Он попытался ударить меня головой в живот, но только стукнулся затылком о камень.

— Откуда ты взялся?

Он не отвечал. Этот голубой взгляд, уставившийся на меня с каким-то светлым бешенством, начинал действовать мне на нервы.

— Что я тебе сделал?

Молчание. У него шла носом кровь. Я не знал, что мне делать со своей победой, и, как всегда, когда чувствовал себя более сильным, хотел пощадить его и даже ему помочь. Я отпрыгнул и отступил.

Он полежал еще минуту, потом встал.

— Завтра в это же время, — сказал он.

С этими словами он повернулся ко мне спиной и пошел прочь.

— Эй, слушай! — крикнул я. — Что я тебе сделал?

Он остановился. Его белая рубашка и красивые брюки гольф были измазаны землей.

— Завтра в то же время, — повторил он, и я в первый раз заметил его гортанный иностранный акцент. — Если не придешь, будешь трус.

— Я тебя спрашиваю: что я тебе сделал?

Он ничего не ответил и удалился, держа одну руку в кармане и согнув другую, прижав локоть к телу, — эта поза показалась мне необыкновенно элегантной. Я следил за ним глазами, пока он не исчез среди папоротников, потом вернул свою

Цитадель на землю и весь остаток дня ломал голову, пытаясь понять причину нападения мальчика, которого никогда раньше не видел. Я рассказал дяде, что произошло, и он предположил, что забияка намеревался завладеть нашим воздушным змеем, покоренный красотой этого шедевра.

— Нет, я думаю, он злился на меня.

— Но ты ведь ему ничего не сделал?

— Может быть, я ему что-то сделал, не зная того.

Я в самом деле начинал чувствовать за собой какую-то неведомую мне вину. Но сколько ни ломал голову, ничего не мог вспомнить; я мог себя упрекнуть только в том, что несколько дней назад послушался Лилу и выпустил во время мессы ужа, что подействовало на публику в высшей степени удовлетворительным образом. Я с нетерпением ждал часа встречи со своим противником, чтобы заставить его сказать, чем вызван его мстительный гнев и какое зло я ему причинил.

На следующий день он появился, едва я подошел к “вигваму”. Думаю, он поджидал меня в зарослях ежевики на краю оврага. На нем была куртка в белую и голубую полоску, то есть

блейзер, как я узнал, когда привык к хорошему обществу, и белые фланелевые брюки. На этот раз он, вместо того чтобы прыгнуть на меня, выставил вперед ногу и, сжав кулаки, принял позицию английского бокса. Это произвело на меня впечатление. Я ничего не понимал в боксе, но видел точно такую же стойку на фотографии чемпиона Марселя Тиля. Он сделал ко мне шаг, потом другой, вращая кулаками, как будто заранее наслаждался сокрушительным ударом, которым поразит меня. Оказавшись совсем близко, он начал подпрыгивать и пританцовывать вокруг меня, иногда прижимая кулак к щеке, то подступая вплотную, то немного отпрыгивая назад или вбок. Так он пританцовывал некоторое время, потом кинулся на меня и наткнулся на мой кулак, который угодил ему прямо в лицо. Он сел, потом сразу же встал и снова начал пританцовывать, иногда выбрасывая руку вперед и нанося мне удар-другой, которых я почти не чувствовал. Наконец мне это надоело, и я влепил ему тыльной стороной руки хорошую нормандскую оплеуху. Наверное, я, сам того не желая, сильно его ударил, потому что он снова упал, и теперь рот у него был в крови. Я еще никогда не видел такого хрупкого парнишку. Он хотел подняться,

но я прижал его к земле:

— Слушай, ты объяснишь, в чем дело?

Он молчал и с вызовом глядел мне прямо в глаза. Мне было досадно. Я не мог его проучить: он действительно был слишком слаб. Оставалось только взять его измором. Так что я продержал его на земле около получаса, но так ничего и не добился. Он молчал. Не мог же я, в самом деле, просидеть на нем целый день. Я боялся его покалечить. У него были мужество и воля, у этого олуха. Когда я наконец отпустил его, он встал, поправил свою одежду и длинные светлые волосы и повернулся ко мне:

— Завтра в это же время.

— Иди к черту.

Я снова спросил свою совесть и, не найдя в чем себя упрекнуть, решил, что мой упорный противник принимает меня за кого-то другого.

Во второй половине дня меня оторвал от чтения томика Рембо, который мне дала Лила, знакомый гудок “паккарда” перед домом, и я быстро выбежал на улицу. Мистер Джонс подмигнул мне, и я услышал традиционное и дружески насмешливое: “Месье приглашают к чаю”.

Я бегом поднялся к себе, чтобы умыться, надел чистую рубашку, смочил волосы и, сочтя резуль-

тат малоудовлетворительным, взял в мастерской клей, которым воспользовался как помадой. Затем я с серьезным видом уселся на заднем сиденье, с пледом на коленях, но, к большой досаде мистера Джонса, выпрыгнул из машины, которая уже тронулась, и снова побежал в свою комнату: я забыл начистить башмаки.

Глава VIII

В салоне Броницких толпилось много народу, и первым, кого я увидел, был мой загадочный противник: он был с Лилой и не проявил никакой враждебности, когда моя подруга взяла его под руку и подвела ко мне.

— Это мой кузен Ханс, — сказала она.

— Очень рад. — Он слегка поклонился. — Полагаю, мы уже встречались и у нас еще будет возможность снова увидеться.

Он удалился с беспечным видом.

— Что такое? — удивилась Лила. — Ты странно выглядишь. Надеюсь, вы будете друзьями. По крайней мере, вас объединяет одно: он тоже меня любит.

Госпожа Броницкая лежала с мигренью, и Лила с легкостью играла роль хозяйки дома, знакомя меня с гостями:

— Это наш друг Людо, племянник знаменитого Амбруаза Флёри.

Большинство находившихся здесь влиятельных парижан ничего не знали о моем дяде, но делали вид, что понимают, дабы не быть пойман-

ными на каком-нибудь вопиющем невежестве. Все они были одеты с ошеломляющей элегантностью. Целая коллекция драгоценностей, шляп, жилетов, костюмов и гетр — такое я видел только на клиентах “Прелестного уголка”. Мне было неловко среди них в моих стоптанных башмаках, пиджаке с лоснящимися рукавами и с вылезающим из кармана краем берета. Я храбро боролся с ощущением приниженности, представляя себе того или иного гостя — в этих брюках с жесткой складкой, клетчатом пиджаке и с желтым галстуком — в воздухе, привязанным за веревочку, конец которой я держу в руке и дергаю туда-сюда. Так я в первый раз использовал воображение с целью самозащиты, и ничто в жизни не пригодилось мне так, как это. Разумеется, я был далек даже и от зачатка общественной позиции, но в этом воздушном параде присутствовал тем не менее если не революционный, то, во всяком случае, подрывной элемент. Дородный мужчина по имени Устрич, чье безбородое и в избытке снабженное жиром лицо было украшено кукольным носом и пухлыми губами, узнав, в свою очередь, от Лилы, что я племянник “знаменитого Амбруаза Флёри”, сказал, пожимая мне руку:

— Поздравляю вас. Франция будет нуждаться в

таких людях, как ваш дядя.

Я заметил на лице Лилы лукавый проблеск, который уже хорошо знал.

— Да, — сказала она, — возможно, что при следующем правительстве его назначат на пост министра связи.

— Большой человек! Большой человек! — поспешил заявить господин Устрич, слегка наклоняя туловище к близлежащему пирожному.

У меня вдруг возникло желание спасти пирожное от ожидающей его участи. Среди всех этих шикарных людей я чувствовал себя стертым в порошок, и мне казалось, что единственная возможность утвердить себя в глазах Лилы — это какой-то геройский поступок.

Я деликатно вынул пирожное из пухлой руки господина Устрича и поднес его к губам. Мне это дорого стоило, мое сердце билось очень сильно. Я еще не мог ни сравняться со своим предком Флёри, погибшим на баррикадах в 1870-м, ни войти во главе войск в Берлин, взяв в плен Гитлера, чтобы поразить Лилу, но все же мог показать ей, из какого теста я сделан.

Когда господин Устрич увидел, как пирожное исчезает у меня во рту, на его лице появилось выражение такого изумления, что я вдруг понял всю

дерзость своего поступка. Ни жив ни мертв, так как еще не обладал силой характера настоящих революционеров, я повернулся к Лиле. Я увидел на ее лице выражение нежного удивления. Она взяла меня за руку, увела за ширму и обняла:

— Знаешь, это очень по-польски, то, что ты сделал. Мы народ отчаянный. Ты был бы хорошим уланом при Наполеоне, а потом стал бы маршалом. Я уверена, что ты добьешься многого в жизни. Я тебе помогу.

Я решил испытать ее. Я хотел знать, любит ли она меня ради меня самого или только из-за подвигов, которые я собирался совершить ради нее.

— Послушай, когда я вырасту, я надеюсь получить хорошее место служащего почтового ведомства.

Она покачала головой и погладила меня по щеке почти материнским жестом.

— Ты плохо меня знаешь, — сказала она, как будто я говорил о ее жизни, а не о своей. — Пойдем.

В тот день у Броницких присутствовали некоторые из самых известных людей большого света того времени, но их имена были мне так же неизвестны, как им — имя моего дяди. Только один

из них проявил ко мне дружеский интерес. Это был знаменитый летчик Корнильон-Молинье, продемонстрировавший большое мужество во время своего неудачного перелета из Парижа в Австралию, который он пытался осуществить вместе с англичанином Молиссоном. “Ла газетт” отозвалась на неудачу перелета следующим комментарием: “Никогда не полететь Молиссону с Молинье!” Этот маленький южанин с томными глазами, украшенными длинными, почти женскими ресницами, сказал с юмором, когда Лила представила меня, не преминув добавить: “Он племянник знаменитого Амбруаза Флёри”:

— После моей неудачи ваш дядя подарил мне одного из своих воздушных змеев, видимо решив обратить меня в свою веру…

Обойдя таким образом салон, я смог наконец присоединиться к другим молодым людям в соседней комнате и сесть за стол, где нас обслуживал официант в белых перчатках. Я едва прикасался к сладостям, мороженому, крему и экзотическим фруктам, которые подавались на серебряных блюдах с гербом Броницких — позолоченной волчицей. Я чувствовал себя тем более скованно в этой атмосфере роскоши и элегантности, что напротив сидел двоюродный брат Лилы,

мой хрупкий и храбрый лесной враг. Ханс фон Шведе держался очень прямо, положив ногу на ногу, и, поднося к губам чашку, прижимал локоть к боку. В его лице — у него были почти такие же светлые и длинные волосы, как у Лилы, — была тонкость, которую в тот период моей жизни я еще не умел назвать аристократической, не зная связи этого термина с эстетикой. Он не проявлял ко мне враждебности и ни разу не попытался отыграться, посмеявшись над разницей в нашей одежде — его блейзером с посеребренными пуговицами и брюками из белой фланели и моим старым, слишком узким костюмом, который подходил хуже некуда для общества, в котором я находился. Он меня просто не замечал, и я утешался, отыскивая на его лице неоспоримые доказательства своего существования: слегка припухшую губу и синяк под глазом. Он рассеянно ковырял ложечкой свой смородиновый шербет, придавая ему форму розы. Тад бросал холодные взгляды на гостей “раута” — это слово доживало последние годы во французском языке. Его тонкие губы выражали то, что многие годы спустя я научился квалифицировать как “иронию террориста” — намек на нее я встретил потом в чертах знаменитой гудоновской статуи Вольтера.

Свесив одну руку через спинку стула, он созерцал столы, за которыми гости Броницких воплощали в совершенстве тот “хороший тон” тридцатых годов, когда Лазурный Берег еще не существовал летом, поскольку его отели открывались только на зимний сезон, а Кабур еще не приобрел “очарования старины”, облагораживающего дурной вкус прошлого. Что касается Бруно, то он спокойно сидел среди нас, по-прежнему немного сутулый, немного рассеянный, с растрепанными кудрями, где уже виднелось несколько седых нитей, несмотря на его шестнадцать лет. Есть такие кроткие лица, которые кажутся созданными для зрелости и готовы встретить снегопад еще весной. Мальчики встали все втроем, когда подошла Лила; она усадила меня рядом с собой. Помню, что я все время чувствовал, как мне коротки брюки: из-под них над носками виднелись голые лодыжки. Так все мы встретились в первый раз в тот знаменательный день, в конце июля 1935 года, и все эти сладости, печенье и груши “Прекрасная Елена” никогда уже не растают и не зачерствеют в моей памяти.

— Смотрите, — говорил Тад, — как отчаянно модельеры, портные, гримеры и парикмахеры борются за полную безликость, вульгарность души

и интеллектуальное ничтожество этих сливок общества. И их пение соответствует их оперению, потому что пусть меня повесят, если они говорят о чем-нибудь, кроме биржи, бегов и приемов, в то время как в Испании начинается гражданская война, Муссолини применяет газ против эфиопов, а Гитлер требует Австрию и Судеты… Этот очень худой господин, украшенный лысиной, чья голова напоминала бы страусиное яйцо, если бы Эль Греко не облагородил своей кистью точно такую же в “Похоронах графа Оргаса”, вовсе не испанский гранд, а ростовщик, который дает деньги моему отцу под двадцать процентов… Человек в сером сюртуке и жилете — адвокат, который имеет доступ ко всем министрам, используя как визитную карточку свою жену. Что до наших дорогих родителей, делается страшно при мысли, что с ними стало бы, если бы их так хорошо не прикрывало генеалогическое древо. Отец потерял бы свой аристократический вид, став похожим на мясника, а мать, если бы она не могла больше платить мадемуазель Шанель, парикмахеру Антуану, массажисту Жюльену, специалистке по гриму Фернандо и жиголо Нино, начала бы походить на близорукую горничную, которая не знает, куда девала утюг…

Лила ела эклер.

— Тад — анархист, — объяснила она мне.

— Это означает, что он избранная натура, — заметил Ханс.

Я с удовольствием отметил, что у него немецкий акцент. Поскольку Франция и Германия всегда были врагами, я чувствовал, что, какова бы ни была причина его нападения, я хорошо сделал, что проучил его.

Бруно казался огорченным.

— Мне кажется, Тад, у тебя не меньше предрассудков, чем у тех, кому ты их приписываешь. Можно так же смотреть и на природу — находить, что у птиц глупый вид, что собаки гнусны, потому что вылизывают друг другу зад, и нет никого глупее пчел, потому что они делают мед для других. Остановись. Такой взгляд на вещи со временем перерастает в жизненный принцип. Если все перекашивать, то все будешь видеть кривым.

Тад повернулся ко мне:

— Вы слышали, мой юный друг, голос сочной груши, призвание которой — быть съеденной. Это то, что называют словом “идеалист”.

— Я хотела бы знать, почему ты вдруг говоришь “вы” нашему другу? — спросила Лила.

— Потому что он еще не мой друг, если даже

когда-нибудь им и станет. В семнадцать лет я больше не бросаюсь очертя голову ни в дружбу, ни во что другое. Хотя я и поляк, быть сорвиголовой — не мое призвание. Это было хорошо для наших предков — улан с их сраной святой наивностью.

— Прошу тебя не употреблять подобных выражений в присутствии девушки, — бросил ему Ханс.

— А вот и пробуждение прусского юнкера, — вздохнул Тад. — Кстати, кто это тебя так разукрасил? Дуэль?

— Они подрались из-за моих прекрасных глаз, — объявила Лила. — Оба безумно влюблены в меня, и, вместо того чтобы понять, что это братство, которое должно их объединять, они дерутся. Но это у них пройдет, когда они поймут, что я люблю их обоих и что, таким образом, ревновать не к кому.

Я еще не произнес ни слова. Однако я чувствовал, что настал момент так или иначе проявить себя, ибо я не имел права забывать, что я племянник Амбруаза Флёри и должен быть его достоин. Я ничего не знал об искусстве блистать в обществе, но страстно желал тут же на глазах у Лилы продемонстрировать какое-нибудь свое неоспо-

римое превосходство, которое бы всех посрамило. Если бы на свете существовала справедливость, я получил бы в эту минуту дар летать в облаках, или оказался лицом к лицу со львом, чья судьба была бы плачевна, или завоевал титул чемпиона во всех весовых категориях на ринге, перед которым сидела бы Лила. Но все, что я мог сделать, это спросить:

— Какой будет квадратный корень из 273 678?

Должен сказать, что мне удалось по крайней мере удивить их. Трое юношей внимательно на меня посмотрели, потом обменялись взглядами. Лила была в восторге. Она испытывала священный ужас перед математикой, так как находила, что у цифр неприятная манера утверждать, что дважды два — четыре, в чем она видела что-то противное самому польскому духу.

— Ну, раз вы не знаете, я вам скажу, — заявил я. — Он равняется 523,14242!

— Я полагаю, что вы выучили это наизусть, перед тем как прийти сюда, — презрительно произнес Ханс. — Вот что я называю принимать меры. Впрочем, я ничего не имею против шутов, которые разрезают женщин на куски и достают кроликов из шляпы, это способ не хуже других зарабатывать на жизнь… если есть необходимость.

— Тогда выберите число сами, — ответил я, — и я сразу же скажу вам квадратный корень. Или перемножу любые цифры. Или прочтите мне колонку из ста цифр, и я повторю ее в том порядке, в каком вы прочли.

— Какой будет квадратный корень из 7 198 489? — спросил Тад.

Мне понадобилось на несколько секунд больше обычного, потому что я волновался, а это был вопрос жизни и смерти.

— 2683, — объявил я.

Ханс пожал плечами:

— К чему это? Ведь проверить нельзя.

Но Тад вынул из кармана блокнот и карандаш и сделал подсчет.

— Правильно, — сказал он.

Лила захлопала в ладоши.

— Я ведь вам говорила, что он гений, — объявила она. — Это и так было очевидно, без этих совершенно излишних упражнений в устном счете. Я не выбираю первого встречного.

— Надо бы все-таки рассмотреть это более внимательно, — пробормотал Тад. — Признаюсь, я заинтересован. Может быть, он согласится подвергнуться некоторым дополнительным испытаниям…

Это было трудно, но я справился без единой ошибки. В течение получаса я повторял по памяти списки цифр, которые мне читали, извлекал квадратные корни из бесконечных чисел и перемножал такие длинные цифры, что результаты могли бы заставить побледнеть от зависти звездные пространства. В конце концов мне не только удалось убедить своих слушателей в том, что моя подруга тут же назвала моим “даром”, но Лила в придачу встала из-за стола, пошла к отцу и сообщила ему, что я вундеркинд в математике, заслуживающий его внимания. Граф Броницкий тут же пришел за мной; он, видимо, решил, что где-то в глубине моего мозга скрывается приспособление, при помощи которого можно будет выигрывать в рулетку, баккара и на бирже. Этот человек глубоко верил в чудеса в денежной форме. Так и вышло, что меня пригласили встать посреди гостиной перед публикой, среди которой находились некоторые из известнейших деловых людей того времени — их неотразимо притягивали цифры. Никогда еще я не считал в уме с такой отчаянной волей к победе. Конечно, никто в этой семье не называл меня плебеем и не давал мне почувствовать мое низкое общественное положение. Семья Броницких принадлежала

к такой старой аристократии, что они уже питали к народу чуть печальное ностальгическое влечение, какое можно испытывать только по отношению к вещам несбыточным. Но представьте себе пятнадцатилетнего мальчика, выросшего в нормандской деревне, в брюках, которые ему малы, и вылинявшей рубашке, с беретом в кармане, в окружении пятидесяти дам и мужчин, одетых с роскошью, говорившей, как мне казалось, об их принадлежности к высшему свету, “единственная возможность проникнуть в который — это его разрушить” (по словам Равашоля[10], в ту пору мне неизвестным). Только так можно понять, с каким трепетным жаром, с каким волнением я вступил в этот бой во имя чести. Мне пришлось прожить довольно долго, прежде чем оказаться в мире, где выражение “бой во имя чести” вызывает не больше эмоций, чем какой-либо нелепый плюмаж былых времен, едва достойный насмешки; что ж, это означает только, что мир ушел в одну сторону, а я — в другую, и не мне решать, кто ошибся тропинкой.

Стоя на сверкающем паркете, выдвинув ногу вперед, скрестив руки на груди, с пылающими

[10] Примечания: 10

Равашоль (1859–1892) — французский анархист, зачинщик и исполнитель многочисленных терактов; казнен на гильотине.

щеками, я умножал, делил, извлекал квадратные корни из огромных чисел, называл на память сотню телефонных номеров, которые мне читали по справочнику, высоко держа голову под картечью цифр, пока обеспокоенная Лила не пришла мне на помощь, схватив меня за руку и бросив присутствующим дрожащим от гнева голосом:

— Хватит! Вы его замучили.

Она увела меня в помещение за буфетом, где слуга Броницких суетился возле новых порций дорогих блюд, мороженого и шербетов, только что доставленных из “Прелестного уголка”. Не знаю почему, но, хотя я вышел из своей битвы победителем, мне было грустно, я чувствовал себя униженным. Тад, который появился вместе с Бруно, отодвинув бархатную портьеру, отделявшую нас от высшего общества, объяснил мне мою растерянность.

— Прошу тебя извинить нас, — сказал он. — Моя сестричка должна была бы знать, что отец не упустит такого случая развлечь общество. Ты обладаешь довольно необычным талантом. Постарайся не стать цирковой собачкой.

— Не обращай на Тада внимания, — сказала Лила, которая, к моему ужасу, курила сигарету. — Как все очень умные мальчики, он не выносит

гениальности. Это зависть. В самом деле, мой дорогой брат, с твоим складом ума тебе бы банщиком работать — ты так любишь окатывать холодным душем!

Тад поцеловал ее в лоб:

— Я тебя люблю. Жаль, что ты мне сестра!

— Но я только ее кузен, так что, может быть, у меня есть шанс! — заявил некто, чей германский акцент я сразу же узнал.

Ханс был здесь с бутылкой портвейна в руке. Я с трудом выходил из состояния мозгового и нервного напряжения, но вид этого красивого, тонкого и белого лица помог мне полностью прийти в себя. Я уже знал: или он, или я, и, так как он выпил и стал смотреть на меня с вызовом, я пожелал немедленной войны между Францией и Германией, чтобы нас разделила сама судьба. Я ненавидел эту подчеркнутую элегантность, эту выправку — рука в кармане, локоть прижат к телу — тевтонского хвастуна, происходившего, возможно, из балтийских баронов, с которым я справился одной левой.

— Отличный номер, — сказал он мне. — У вас большое будущее.

— Не говори ему “вы”, — запротестовала Лила. — Мы все будем друзьями.

— Вас ждет прекрасная карьера, господин Флёри, — повторил Ханс, — так как будущее, несомненно, принадлежит цифрам. С тех пор как исчезло рыцарство, мир научился считать, и ситуация только усугубляется. Мы еще увидим исчезновение всего, что не может быть сведено к цифрам, например чести.

Тад наблюдал за нами с улыбкой. Брат Лилы обладал почти физическим даром беспечности — он как бы пытался замаскировать то, что в нем было необычного и страстного, принимая равнодушный и немного усталый вид. Я чувствовал, что у него на языке вертится убийственная реплика, но, как я сам понял во время двух наших “стычек”, Ханс был мальчиком, которого хотелось пощадить. В четырнадцать лет он был самым молодым из нас и самым хрупким. Тем не менее он готовился к военной карьере, как все фон Шведе. Я узнал от Лилы, что между его участью и моей есть некоторое сходство, хотя тогда мне не пришло бы в голову сказать “участь” по отношению к Флёри — единственное слово, которое я слышал, когда речь шла о моих родных, было “судьба”. Его отец был убит во время Первой мировой войны, а мать, как и моя, умерла вскоре после его рождения; он воспитывался у тетки

в замке Хемниц, в Восточной Пруссии, всего в нескольких километрах от поместья Броницких в Польше.

Пока мы обменивались более или менее любезными репликами, Бруно держался в стороне, выстукивая по краю стола воображаемую мелодию.

— Поехали кататься на лодке, — предложила Лила. — Собирается дождь. Может быть, будет буря, молнии… Происшествие!

Она подняла глаза к небу, но над нами, как это случается слишком часто, был только потолок.

— О Боже, — воскликнула она, — пошли нам хорошую грозу или вулкан, если это в Твоей власти, чтобы положить конец этой нормандской безмятежности!

Тад мягко взял ее под руку:

— Сестричка, хотя в мире достаточно вулканов с экзотическими названиями, пламя, которое зреет в Европе, гораздо опаснее, и его порождают не недра земли, а люди!

Когда мы дошли до пруда, упало несколько капель дождя. Пруд был творением известного английского ландшафтного архитектора-пейзажиста Сандерса, создавшего в Европе бесчисленные цветочные апофеозы. Отец Лилы потратил

миллионы на украшение поместья в надежде продать его в пять-шесть раз дороже какому-нибудь ослепленному нуворишу. Броницкие постоянно находились на грани “окончательной” финансовой катастрофы, как говорил не без некоторой надежды Тад; пышность их образа жизни скрывала кризисы и почти безвыходные положения, которые можно замаскировать только внешними признаками богатства.

Мы взялись за весла. Лила томно возлежала на подушках. Упало несколько капель дождя, свидетельствовавших о милости неба, избавившего нас от ливня. В облаках ощущалась тяжесть, которая обрушилась бы на нас при порыве ветра, но ветер не спешил дуть. Птицы лениво отдыхали перед дождем. Очень далеко слышался шум поезда, но он не вызывал волнения, так как это был всего лишь поезд Париж — Довиль, не напоминающий о дальних путешествиях. Приходилось грести осторожно, чтобы не повредить водяные лилии. От воды славно пахло свежестью и тиной, и насекомые падали в воду там, где надо, и от них разбегались маленькие круги. В это время не было моих любимых стрекоз. Иногда подлетал шутки ради большой глупый шмель. Лила в белом платье, полулежа в окружении своих

гребцов, напевала польскую балладу, обратив взор к небу, — небу везло! Я был самым сильным гребцом, но она не обращала на это никакого внимания; впрочем, я должен был подчиняться ритму остальных. Приходилось уклоняться от ухоженных веток, а то с них упало бы несколько цветков. Имелся, конечно, и маленький мостик изумительного рисунка, увитый белыми цветами, специально выписанными из Азии. Но это был единственный явно искусственный штрих, остальные растительные массивы, тщательно продуманные, выглядели естественно.

Лила перестала петь. Она играла своими волосами, и ее глаза, такие голубые, что казалось, отнимали часть синевы у неба, приобрели выражение серьезности, означавшее ее преклонение перед мечтой.

— Я не уверена, что хотела бы стать второй Гретой Гарбо, я не хочу быть второй ни в чем. Не знаю еще, что я буду делать, но я буду единственной. Конечно, сейчас не та эпоха, когда женщина может изменить карту мира, но надо действительно быть мужчиной, жалким мужчиной, чтобы хотеть изменить карту мира. Я не буду актрисой, потому что актриса становится другой только на один вечер, а я хочу меняться всегда,

с утра до вечера, нет ничего скучнее, чем быть только самой собой, произведением искусства, которое создали обстоятельства… Я ненавижу все неизменное…

Я греб, благоговейно слушая, как Лила “мечтает о себе”, по выражению Тада: Лила одна переплывает Атлантический океан, как Ален Жербо; Лила пишет романы, которые переводятся на все языки; Лила становится адвокатом и спасает человеческие жизни чудесами красноречия… Эта белокурая девушка, лежащая на восточных подушках, даже не подозревала, что уже была для меня более необыкновенным и волнующим созданием, чем все те, о которых она говорила, не зная и не понимая себя настоящую.

Дурманящий запах стоячей воды поднимался вокруг нас при каждом взмахе весел, пушистые травы ласкали мое лицо; иногда между кустов показывались искусственные дали чащи, так прекрасно сделанной, что надо было смотреть очень холодными глазами, чтобы помнить, что это всего-навсего английский парк.

— Я еще могу все испортить, — говорила Лила, — я для этого достаточно молода. Когда люди стареют, у них меньше шансов все испортить, потому что на это уже нет времени и можно

спокойно жить, довольствуясь тем, что уже испортил. Это называют “умственным покоем”. Но когда тебе шестнадцать лет и можно еще все испробовать и ничего не добиться, это обычно называют “иметь будущее”…

Ее голос дрогнул.

— Послушайте, я не хочу вас пугать, но иногда мне кажется, что у меня ни к чему нет таланта…

Мы запротестовали. Я говорю “мы”, но это в основном были Тад и Бруно, которые предсказывали ей чудесное будущее. Она станет новой мадам Кюри или даже еще лучше, совсем в другой области, которую, может быть, еще не открыли. Что касается меня, то я надеялся, хотя и с некоторым стыдом, что Лила права: если у нее ни к чему нет таланта, то у меня есть шанс. Но Лила была безутешна, и слеза медленно скользнула по ее щеке и остановилась как раз там, где могла заблестеть. Разумеется, она ее не стерла.

— Я так хотела бы тоже стать кем-то, — прошептала она. — Я окружена гениями. У ног Бруно будут толпы, никто не сомневается, что Тад будет более великим путешественником, чем Свен Гедин[11], и даже у Людо удивительная память…

---

[11] Примечания: 11

Свен Гедин (1865–1952) — шведский путешественник, журналист, писатель.

Я проглотил это “даже у Людо” без большого труда. У меня была веская причина чувствовать себя удовлетворенным: Ханс молчал. Он отвернулся, и я не видел его лица, но втайне торжествовал. Я плохо представлял себе, как он сможет объяснить Лиле, что его тоже ждет блестящее будущее и что в немецкую военную академию он поступает из любви к польке. Я чуял, что здесь я держусь за нужный конец веревочки, как у нас говорят, и не собирался его выпускать. Я даже позволил себе роскошь немного пожалеть соперника. Этот век не благоприятствовал тевтонским рыцарям. Впрочем, надо признать, что понравиться женщине становилось все труднее: Америка была уже открыта, источники Нила тоже, Линдберг совершил перелет через Атлантический океан и Ли Мэллори поднялся на Эверест.

Мы все пятеро были еще близки к наивности детства — быть может, самому плодотворному времени, которое жизнь дарит нам, а потом отнимает.

Глава IX

На следующий день Стас Броницкий посетил моего дядю. Он прибыл торжественно, потому что это был не такой человек, который допустил бы бестактность, переодевшись и приняв скромный вид для визита к людям маленьким. Голубой “паккард” сиял; шофер, мистер Джонс, одновременно распахнул дверцу и снял фуражку с торжественностью, красноречиво говорящей о достоинстве как хозяина, так и слуги, и кавалерист финансов, как его называли на бирже, явился во всем великолепии своего гардероба: костюм цвета розового дерева, галстук цветов лучшего лондонского клуба, перчатки оттенка свежего масла, трость, гвоздика в бутоньерке и неизменное озабоченное выражение лица человека, чьи самые хитроумные расчеты предательски разрушают биржа, баккара и рулетка.

Мы как раз закусывали, и наш посетитель, кинув на колбасу, деревенский хлеб и кусок масла заинтересованный взгляд, был приглашен присоединиться к нам, что он и сделал немедленно, элегантно орудуя большим кухонным ножом

и выпив несколько стаканов нашего терпкого вина почти не поперхнувшись. Затем он сделал дяде неожиданное предложение. Я являюсь, заявил он с польским акцентом, в котором я узнавал певучие гласные и немного обрывистые согласные Лилы, — так вот, я являюсь гением в области устного счета и памяти: о моем будущем следует всячески позаботиться. Он предложил направлять меня и постепенно посвятить в секреты биржевых операций, ибо преступно было бы не обращать внимания на мои таланты и, быть может, дать им заглохнуть из-за отсутствия среды, благоприятной для их развития. В настоящее время, поскольку мой юный возраст не позволяет мне готовиться к экзамену на финансово-экономический факультет, а тем более самостоятельно прокладывать себе путь в той сфере деятельности, где математический гений должен сочетаться со зрелостью ума и необходимыми знаниями, он предлагает мне каждое лето выполнять при нем функции секретаря.

— Вы понимаете, месье, ваш племянник и я, мы обладаем в некотором роде способностями, дополняющими друг друга. У меня в высшей степени развито умение предвидеть биржевые колебания, а у Людовика — способность немед-

ленно переводить на язык конкретных цифр мои предвидения и теории. В Варшаве, Париже и Лондоне я располагаю специальными бюро, но мы проводим лето здесь, и я не могу весь день не отходить от телефона. Вчера ваш племянник продемонстрировал такую скорость счета и такую память, которые позволят мне выиграть драгоценное время в той области, где, как совершенно справедливо говорят, время — деньги. Если вы согласны, мой шофер будет каждое утро заезжать за ним и вечером привозить его обратно. Он будет получать сто франков в месяц, часть которых сможет выгодно помещать, как я ему укажу.

Я был настолько потрясен перспективой проводить целый день с Лилой, что чуть ли не усмотрел здесь влияние воздушного змея “Альбатрос”, накануне улетевшего в небо и, быть может, снискавшего для меня эту милость. Что касается дяди, то он зажег трубку и задумчиво глядел на поляка. Наконец он подтолкнул к нему колбасу и бутылку; Стас Броницкий завладел ими и на этот раз откусил прямо от батона колбасы, уже не заботясь об элегантности. Затем, с полным ртом, дохнул на нас чесноком, и мы услышали настоящий крик души:

— Наверное, вы считаете, что я слишком занят

финансами, и, так как вы сами увлекаетесь вещами крылатыми и возвышенными, это, разумеется, должно казаться вам чересчур приземленным. Но вы должны знать, господин Флёри, что я веду настоящий бой во имя чести. Мои предки победили всех врагов, которые пытались нас покорить, а я собираюсь победить деньги, этого нового захватчика и естественного врага аристократии, на его собственной территории. Не думайте, что я стремлюсь отстаивать мои былые привилегии, но я не пойду на уступку деньгам и…

Он оборвал свою речь и, высоко подняв брови от удивления, внезапно уставился на какую-то точку в пространстве. Это были последние дни Народного фронта, и хотя мой дядя и говорит, что не принадлежит ни к какой партии, под влиянием исторического момента он соорудил “Леона Блюма”[12] из бумаги, бечевки и картона, с управляемым хвостом. Он был очень хорош в небе со своей черной шляпой и красноречиво поднятыми руками, но сейчас висел вниз головой у балки рядом с “Мюссе” с лирой, без особого

[12] Примечания: 12

Леон Блюм (1872–1950) — французский политический деятель, один из лидеров социалистического движения; в 1936–1937 и 1938 гг. — глава правительства Народного фронта. Во время оккупации Франции арестован и отправлен в Бухенвальд.

соблюдения хронологии.

— Что это такое? — спросил Стас Броницкий, откладывая колбасу.

— Это моя историческая серия, — сказал Амбруаз Флёри.

— Похоже на Леона Блюма.

— Я держусь в курсе событий, вот и все, — объяснил дядя.

Броницкий сделал неопределенный жест рукой и отвернулся.

— Хорошо, не важно. Так вот, как я вам говорил, таланты вашего племянника могут быть для меня очень полезны, так как нет машины, которая способна была бы считать так быстро. В финансовой сфере, как в фехтовании, главное — быстрота. Нужно опередить других.

Он бросил еще один беспокойный взгляд в сторону Леона Блюма, взял платок и вытер лоб. В его небесно-голубых глазах был отчаянный отблеск, как у рыцаря в поисках святого Грааля, которого обстоятельства заставили заложить коня, доспехи и копье.

Мне понадобилось время, чтобы обнаружить, что финансовый гений Броницкого был самым настоящим. В самом деле, он одним из первых разработал финансовую систему, которая затем

вошла в обиход и благодаря которой банки оказывали ему поддержку: он столько им задолжал, что они не могли себе позволить довести его до банкротства.

Мой опекун проявил осторожность. Без малейшего намека на иронию, как всегда, когда он иронизировал по-настоящему, дядя сообщил моему будущему покровителю, что мой жизненный путь в общем определен и рассчитан на большие высоты:

— Хорошее скромное место почтальона с обеспеченной пенсией, вот что я имею в виду для него.

— Но, боже мой! Месье Флёри, у вашего племянника гениальная память! — прогремел Стас Броницкий, ударив кулаком по столу. — И все, чего вы для него хотите, — это место мелкого чиновника?

— Месье, — ответил мой дядя, — сейчас наступают такие времена, когда, может быть, самая лучшая роль выпадет на долю мелких чиновников. Они смогут сказать: “Я, по крайней мере, ничего не сделал!”

Тем не менее они условились, что в летние месяцы я буду поступать в распоряжение Броницких в качестве “счетовода”. На этом дядя и

мистер Джонс, взяв графа под локотки, ибо колбаса сделала свое дело — о двух бутылках вина здесь приличествует скромно умолчать, — проводили его к автомобилю. Садясь за руль, невозмутимый мистер Джонс, которого я до сих пор принимал за воплощение британской флегмы и корректности, повернулся к моему опекуну и с очень сильным английским акцентом, но на таком французском, который неоспоримо свидетельствовал о занятиях совсем иного свойства, нежели работа личного шофера, произнес:

— Бедный фраер. Никогда не видал такого обормота. Так и просится ощипать.

На этом, надев перчатки и вновь обретя свой невозмутимый вид, он тронул с места “паккард”, ослепив нас неожиданным проявлением лингвистических способностей.

— Ну вот, — сказал дядя, — ты наконец вышел в люди. Нашел могущественного покровителя. Прошу тебя только об одном…

Он серьезно посмотрел на меня, и, хорошо его зная, я уже смеялся.

— Никогда не давай ему в долг.

Глава X

Три следующих года, с 1935 по 1938-й, в моей жизни было только два сезона: лето, когда Броницкие с наступлением июня возвращались из Польши, и зима, начинавшаяся с их отъезда в конце августа и продолжавшаяся до их возвращения. Бесконечные месяцы, во время которых я не видел Лилу, были полностью посвящены воспоминаниям, и я думаю, отсутствие моей подруги окончательно лишило меня способности забывать. Она редко мне писала, но ее письма были длинными и напоминали страницы дневника. Тад, когда я получал от него весточку, сообщал, что его сестра “продолжает мечтать о себе, в настоящий момент она собирается ухаживать за прокаженными”. Конечно, в ее письмах были слова нежности и даже любви, но они производили на меня странно-безличное, чисто литературное впечатление, так что я совсем не удивился, когда в одном из них Лила сообщила, что предыдущие послания были отрывками из более полного произведения, над которым она работает. Тем не менее, когда Броницкие возвращались в Нор-

мандию, она бросалась ко мне с распростертыми объятиями и покрывала меня поцелуями, смеясь, а иногда даже слегка плача. Мне хватало этих нескольких мгновений, чтобы почувствовать, что жизнь сдержала все свои обещания и что для сомнений места нет. Что касается моих обязанностей “секретаря-математика”, как прозвал меня Подловский — человек на побегушках у моего нанимателя, гладковыбритый, причесанный на прямой пробор, с лицом, состоящим из одного подбородка, с влажными руками, всегда готовый к поклонам, — то работа, которую я выполнял, вовсе не была увлекательной. Когда Броницкий принимал какого-нибудь банкира, маклера или ловкого спекулянта и они предавались хитрым подсчетам процентов, роста цен или маржи прибыли, я присутствовал при беседе, жонглировал миллионами и миллионами, составлял огромные состояния, подсчитывая банковские начисления и займы, затем увеличивая сегодняшний курс акций, которые могли бы быть куплены, на сумму вероятной прибыли, которую можно будет извлечь из них завтра, вычисляя, что столько-то тонн сахара или кофе дадут такую-то сумму в фунтах стерлингов, франках и долларах, если только акции будут расти в цене

в соответствии с предчувствиями гениального “кавалериста финансов”, и в результате так быстро привык к миллионам, что с тех пор никогда не чувствовал себя бедным. Занимаясь этими операциями высокого полета, я ждал появления Лилы за чуть приоткрытой дверью: она всегда показывалась, чтобы заставить меня потерять голову и сделать какую-нибудь грубую ошибку, разоряя одним махом ее отца, заставляя курс хлопковых акций падать до предела, деля, вместо того чтобы умножить, что вызывало полную растерянность “кавалериста” и хохот его дочери. Когда я немного привык к этим выходкам, целью которых — насколько же излишней! — было проверить прочность ее власти надо мною, и мне удавалось не сбиться и избежать ошибки, она делала разочарованную гримаску и уходила не без гнева. Тогда мне казалось, что меня постигла огромная потеря, более страшная, чем все биржевые неудачи.

Мы встречались каждый день около пяти часов на другом конце парка, за прудом, в шалаше, куда садовник бросал цветы, “пережившие себя”, как выражалась Лила; потерявшие краски и свежесть, они изливали здесь свое последнее благоухание. Ноги вязли в лепестках, в красном,

голубом, желтом, зеленом и лиловом, и в травах, которые называют сорняками, потому что они живут как им хочется. В эти часы Лила, научившись играть на гитаре, “мечтала о себе” с песней на устах. Сидя в цветах, подобрав на коленях юбку, она говорила мне о своих будущих триумфальных турне по Америке, об обожании толпы и в своих фантазиях была так убедительна, или, скорее, я так ею восхищался, что все эти цветы у ее ног казались мне данью ее восторженных поклонников. Я видел ее бедра, я сгорал от желания, не смел ничего, не двигался; я просто тихо умирал. Она пела неверным голосом какую-нибудь песню, слова которой написала сама, а музыку — Бруно, а потом, испуганная своим старым врагом — действительностью, отказывавшей ее голосовым связкам в божественных звуках, которых Лила от них требовала, бросала гитару и начинала плакать.

— У меня нет ни к чему никакого таланта, вот и все.

Я утешал ее. Ничто не доставляло мне большего удовольствия, чем эти минуты разочарования, ибо они позволяли мне обнимать ее, касаться рукой груди, а губами — губ. И вот настал день, когда, потеряв голову, позволив своим губам

действовать по их безумному вдохновению и не встретив сопротивления, я услышал голос Лилы, которого не знал, голос, с которым не мог сравниться никакой музыкальный гений. Я стоял на коленях, а голос опьянял меня и уносил куда-то выше всего, что я знал до сих пор в жизни о счастье и самом себе. Крик прозвучал так громко, что я, никогда до этой минуты не бывший верующим, почувствовал себя так, как если бы наконец воздал Богу должное. Потом она неподвижно лежала на своем ложе из цветов, забыв руки на моей голове.

— Людо, о, Людо, что мы сделали?

Все, что я мог сказать и что было чистой правдой, это:

— Не знаю.

— Как ты мог?

И я произнес фразу в высшей степени комическую, если подумать обо всех возможных способах приобщения к вере:

— Это не я, это Бог.

Она приподнялась, села и вытерла слезы.

— Лила, не плачь, я не хотел огорчить тебя.

Она вздохнула и отстранила меня рукой:

— Дурак. Я плачу, потому что это было потрясающе. — Она строго посмотрела на меня: — Где ты

этому научился?

— Чему?

— Черт, — сказала она. — Никогда не видела такого идиота.

— Лила…

— Замолчи.

Она легла на спину. Я лег рядом с ней. Я взял ее руку. Она отняла ее.

— Ну вот, — сказала она. — Я стала проституткой.

— Боже мой! Что ты говоришь?!

— Шлюха. Я стала шлюхой.

Я заметил, что она говорила это с глубоким удовлетворением в голосе.

— Что ж, наконец мне удалось стать кем-то!

— Лила, послушай…

— У меня нет никаких способностей к пению!

— Есть, только…

— Да, только. Молчи. Я шлюха. Ну что ж, можно стать самой известной, самой знаменитой шлюхой в мире. Дамой с камелиями, но без туберкулеза. Мне больше нечего терять. Теперь все в моей жизни решено. У меня больше нет выбора.

Хотя я привык к скачкам ее воображения, мне стало страшно. Это был почти суеверный ужас. Мне казалось, что жизнь слушает нас и записы-

вает. Я вскочил.

— Я тебе запрещаю говорить такие глупости! — закричал я. — У жизни есть уши. И потом, я ведь только…

Она сказала “ах!” и положила руку на мои губы:

— Людо! Я тебе запрещаю говорить о таких вещах. Это чудовищно! Чу-до-вищ-но! Уходи! Я больше не хочу тебя видеть. Никогда. Нет, останься. Все равно уже слишком поздно.

Однажды, возвращаясь с нашего ежедневного свидания в шалаше, я встретил Тада, который ждал меня в холле.

— Слушай, Людо…

— Да?

— Ты давно спишь с моей сестрой?

Я молчал. На стене уланский полковник Ян Броницкий, герой Сан-Доминго и Сомосьерры, поднимал над моей головой саблю.

— Не делай такого лица, старик. Если ты воображаешь, что я собираюсь говорить тебе о чести Броницких, то ты просто недоделанный. Я только хочу избавить вас от бед. Бьюсь об заклад, что ни один из вас даже не знает о существовании цикла.

— Какого цикла?

— Ну вот, так я и думал. Есть период — примерно за неделю до месячных и с неделю после, когда женщина не может забеременеть. Тогда ничем не рискуешь. Так что, раз ты так силен в математике, помни это, и не делайте глупостей, вы оба. Я не хочу, чтобы пришлось обращаться к какой-нибудь крестьянке с ее вязальными спицами. Слишком много девчонок от этого умирает. Это все, что я хотел тебе сказать, и больше я никогда не буду говорить с тобой об этом.

Он хлопнул меня по плечу и хотел уйти. Я не мог так отпустить его. Я хотел оправдаться.

— Мы любим друг друга, — сказал я ему.

Он внимательно посмотрел на меня, с каким-то почти научным интересом:

— Чувствуешь себя виноватым, потому что спишь с моей сестрой? Этого чувства может хватить тебе на две тысячи лет. Ты счастлив — да или нет?

Сказать “да” казалось мне настолько недостаточно, что я молчал.

— Ну вот, нет другого оправдания жизни и смерти. Ты можешь провести всю жизнь в библиотеках и не найдешь другого ответа.

Он ушел своей беспечной походкой, насвистывая. Я еще слышу эти несколько нот “Аппасси-

онаты”.

Бруно избегал меня. Напрасно я говорил себе, что мне не в чем себя упрекнуть и что если Лила выбрала меня, то это так же не зависело от моей воли, как если бы божья коровка села мне на руку: меня преследовало горе, которое я видел на его лице, когда наши взгляды сталкивались. Он проводил целые дни за роялем, и когда музыка прекращалась, тишина казалась мне самым трагическим из всех произведений Шопена, какие я знал.

Глава XI

Мои труды при Броницком не ограничивались его финансовыми операциями. Я помогал ему также в поисках способа, который дал бы ему возможность одержать решительную и окончательную победу над казино, — он мечтал предпринять решающую атаку против этой крепости. Стас водружал рулетку на стол для бриджа и кидал шарик, вплоть до возгласа “Ставки сделаны!” для вящего реализма, причем мне казалось, что этот его крик исходит из темной глубины души, которую называют подсознанием. Единственным вкладом, который я мог внести в отчаянный поиск “системы”, было запоминание наизусть порядка выходящих номеров и последующее повторение их по десять — двадцать раз, с тем чтобы Стас мог уловить в них подмигиванье судьбы; при этом я наблюдал на его обрамленном баками лице умирание мечты. Через несколько часов этой погони за несбыточным он вытирал лоб и бормотал:

— Мой дорогой Людовик, я переоценил ваши силы. Мы продолжим завтра. Отдыхайте, чтобы

быть в наилучшей форме.

Мое сочувствие и желание помочь так усилились, что я начал жульничать. Я знал, что граф ищет в называемых мною цифрах номера и комбинации номеров, которые повторялись бы в определенном порядке. Не отдавая себе отчета в последствиях, какие может иметь моя добрая воля, нашедшая себе очень плохое применение, я стал перегруппировывать выходящие номера, подобно тому как участники спиритических сеансов не могут удержаться от подталкивания стола для сохранения иллюзии. Заставив меня повторить несколько раз подряд номера, сгруппированные мной по сериям, Стас вдруг принял вид, который я не могу назвать иначе как безумным, застыл на минуту в неподвижности с карандашом в руке, весь внимание, как если бы слышал некую божественную музыку; затем, предложив мне хриплым от волнения голосом начать сначала, что я и сделал с теми же благими намерениями, со страшной силой ударил кулаком по столу и прогремел голосом своих предков, когда они бросались в атаку с саблями наголо:

– *Kurwa mać!*[13] Они у меня в руках, эти него-

---

[13] Примечания: 13
Мать твою! *(польск.)*

дяи! Я их заставлю заплатить!

Он вскочил, вышел из кабинета, и в своем неведении я почувствовал себя счастливым, сделав доброе дело.

В этот вечер Броницкий проиграл в казино в Довиле миллион.

На следующее утро я был с Лилой, когда граф вернулся домой. Подловский предупредил нас о бедствии часом раньше, добавив: “Он опять будет стреляться!” Лила, которая пила чай с медовыми тартинками, не казалась чересчур взволнованной.

— Отец не мог проиграть такую сумму. Если он ее проиграл, значит, это были не его деньги. Так что он потерял только свои долги. Он должен чувствовать облегчение.

У этих поляков действительно была восхитительная стойкость, позволившая их стране пережить все катастрофы. В то время как я ожидал увидеть Геню Броницкую в сильнейшем истерическом припадке, со звонками врачам и обмороками, в ее лучших театральных традициях, она сошла в столовую в розовом пеньюаре, с пуделем под мышкой, поцеловала дочь в лоб, дружески поздоровалась со мной, приказала подать себе чай и объявила:

— Я спрятала револьвер в мой сейф. Он не должен его найти — он неделю будет на нас дуться. Не знаю, занял ли он эти деньги у Потоцких, Сапег или Радзивиллов, но, в конце концов, долг в игре — долг чести, они должны это понимать; кто бы его ни платил, главное, чтобы польская аристократия оставалась верной своим традициям.

Тад, зевая, спустился по лестнице, в халате, с газетой в руке.

— Что происходит? У мамы такой спокойный вид, что я опасаюсь худшего.

— Отец опять разорился, — сказала Лила.

— Это означает, что он опять кого-то разорил.

— Сегодня ночью он проиграл в Довиле миллион.

— Видно, подгреб все остатки, — проворчал Тад.

Горничная только что принесла горячие рогалики, когда появился Стас Броницкий. У него был дикий вид. Безукоризненный мистер Джонс нес за ним пальто, а у выбритого до синевы Подловского, человека на все руки, челюсти и подбородок казались вдвое больше обычного.

Броницкий молча осмотрел нас всех:

— Может кто-нибудь здесь одолжить мне сто тысяч франков?

Его взгляд остановился на мне. Тад и Лила разразились смехом. Даже славный Бруно с трудом скрыл свою веселость.

— Сядьте, друг мой, и выпейте чашку чаю, — сказала Геня.

— Ну хорошо, десять тысяч?

— Стас, прошу вас, — сказала графиня.

— Пять тысяч! — завопил Броницкий.

— Мари, подогрейте нам еще чаю и рогаликов, — сказала Геня.

— Тысячу франков, черт подери! — проорал в отчаянии Броницкий.

Арчи Джонс засунул руку под френч и сделал шаг вперед, осторожно держа клетчатое пальто графа.

— Если сударь мне позволит… Сто франков? Fifty-fifty, разумеется.

Броницкий секунду поколебался, потом выхватил билет из руки своего шофера и выбежал из комнаты. Подловский воздел в бессилии руки и последовал за ним. Арчи Джонс вежливо нам поклонился и удалился в свою очередь.

— Ну вот, — сказала Генуся со вздохом, — англичане действительно единственные, на кого можно положиться.

Впоследствии мне довелось часто слышать эту

фразу при совсем иных обстоятельствах.

Глава XII

Не знаю, кто дал моему нанимателю сумму, проигранную в результате “системы”, в которой я был столь невинно виноват: князья Сапеги, князья Радзивиллы или графы Потоцкие, — но в течение последующих дней усадьба была заполонена польскими джентльменами, при крайней своей изысканности сыпавшими последними площадными ругательствами. Такие выражения, как “этот недоделанный Броницкий”, “этот говнюк”, “этот сукин сын”, сыпались со всех сторон и едва не срывались с уст уланского полковника Яна Броницкого на уже упоминавшемся портрете. Самые страшные польские проклятия обрушились на несчастную жертву рулетки, встречавшую этот шквал с величайшим хладнокровием, как и подобает гражданину страны, привыкшей возрождаться из пепла. Его доводы были несокрушимы: ему не хватило еще одного миллиона, которого требовала “система”, чтобы сорвать банк. Так что если кто-нибудь ссудит ему два миллиона, то он вновь пойдет в бой и на следующий день его хулители первыми будут

кричать победное “ура!” в его честь. Но, видимо, на этот раз даже самые доблестные из польских патриотов спустили флаг и потеряли веру в победу. Броницкий проводил со своим “человеком на все руки” длительные совещания, на которые меня приглашали, хотя в подсчетах больше не было нужды, так как единственной вытекающей из всего этого цифрой был огромный дурацкий ноль. Решено было продать семейные драгоценности, которые Броницкий пришел просить у жены. Он получил отказ. Лила, которая присутствовала при этой сцене, удобно устроившись в кресле и поедая засахаренные каштаны (“раз мы будем бедными, надо пользоваться жизнью”), рассказала мне, смеясь, что ее мать выдвинула довод, что, поскольку вышеуказанные бриллианты и жемчуг были ей подарены герцогом д’Авилой в бытность его испанским послом в Варшаве, с ее стороны было бы бесчестно расстаться с ними ради мужа.

— В нашей семье снова, как всегда, думают прежде всего о чести, — прокомментировал Тад.

Последнему из улан осталась только одна линия обороны: возвращение в свои польские поместья, которые были неприступны для противника, так как являлись исторической ценностью,

ревностно хранимой режимом полковников, пришедшим на смену режиму маршала Пилсудского. Замок и земли расположены были в устье Вислы, в "польском коридоре", отделяющем Восточную Пруссию от остальной части Германии. Гитлер требовал ее возвращения и уже установил в вольном городе Данциге нацистское правительство. Декретом 1935 года владение было объявлено неотчуждаемым, и Броницкие получали крупную субсидию на его содержание.

Я был в ужасе. Одна только мысль о том, чтобы потерять Лилу, по своей жестокости казалась мне несовместимой с какими бы то ни было представлениями о человечности. Месяцы или даже годы, которые мне придется провести вдали от нее, открывали мне существование величины, не имевшей ничего общего с теми, какие я мог вычислить. Дядя, видевший, как я чахну по мере приближения рокового часа, попытался объяснить мне, что в литературе есть примеры любви, пережившей годы разлуки, у индивидуумов, особо глубоко пораженных этим недугом.

— Лучше б они уехали совсем. Тебе исполнилось семнадцать, ты должен строить свою жизнь, нельзя жить только женщиной. Уже несколько лет ты живешь только ею и ради нее, и даже "эти

сумасшедшие Флёри", как нас называют, должны иметь немножко разума, или, как говорится по-французски, должны уметь "вразумить себя", хотя я первый признаю, что от этого выражения разит отказом от своих убеждений, компромиссом и покорностью, и если бы все французы "вразумляли себя", то уже давно Франции пришел бы конец. Истина в том, что не нужно ни слишком много разума, ни слишком мало безумия, однако я признаю, что "не слишком много и не слишком мало" — это, быть может, хороший рецепт для "Прелестного уголка" и Марселена, когда он стоит у плиты, но иногда надо уметь терять голову. Черт, я тебе говорю обратное тому, что хотел сказать. Лучше перенести удар и покончить с этим, и даже если ты обречен любить эту девушку всю жизнь, пусть уж она уедет навсегда, от этого она станет только прекраснее.

Я чинил его "Синюю птицу", которая накануне сломала себе шею.

— Что же вы все-таки пытаетесь мне сказать, дядя? Вы советуете мне "сохранить здравый смысл" или "сохранить смысл жизни"?

Он опустил голову:

— Хорошо, молчу. Я не могу давать тебе советы. Я любил только одну женщину в своей жизни, и

так как ничего не получилось…

— Почему не получилось? Она вас не любила?

— Не получилось, потому что я ее так и не встретил. Я хорошо ее себе представлял, представлял каждый день в течение тридцати лет, но она не появилась. Воображение иногда может сыграть с нами свинскую шутку. Это касается женщин, идей и стран. Ты любишь идею, она кажется тебе самой прекрасной из всех, а потом, когда она материализуется, она оказывается совсем на себя не похожа или даже прямо-таки полным дерьмом. Или ты так любишь свою страну, что в конце концов не перестаешь ее выносить, потому что она не может быть настолько хороша…

Он засмеялся.

— И тогда ты делаешь из своей жизни, своих идей и своей мечты… воздушных змеев.

Нам оставалось всего несколько дней, и на прощание мы ходили смотреть на лес, пруды и старые тропинки, которые больше не увидим вместе. Конец лета был мягким, как будто из нежности по отношению к нам. Казалось, самому солнцу жаль покидать нас.

— Я бы так хотела что-то сделать из своей жизни, — говорила мне Лила, как если бы меня не было рядом.

— Это только потому, что ты недостаточно меня любишь.

— В том-то и дело, что я люблю тебя, Людо. Но именно это и ужасно. Ужасно потому, что мне этого мало, потому что я еще продолжаю “мечтать о себе”. Мне всего восемнадцать лет, а я уже не умею любить. Иначе я бы не думала постоянно о том, что сделать со своей жизнью, я бы полностью забыла себя. Я бы даже не мечтала о счастье. Если бы я действительно умела любить, меня бы не было, был бы только ты. Настоящая любовь — это когда для тебя существует только любимый. И вот…

Ее лицо приняло трагическое выражение.

— Мне всего восемнадцать лет, а я уже не люблю! — воскликнула она и разразилась рыданиями.

Я не особенно волновался. Я знал, что за несколько дней она отказалась сначала от занятий медициной, а потом — архитектурой, чтобы поступить в Школу драматического искусства в Варшаве и сразу стать национальной гордостью польского театра. Я начинал понимать ее и знал, что моя обязанность — оценивать в качестве знатока искренность ее голоса, ее горя и ее растерянности. Она почти спрашивала меня,

отстраняя прядь волос рукой, что мне до сих пор кажется самым красивым женским жестом, и следя за мной уголком голубого глаза: “Ты не находишь, что это у меня выходит талантливо?” И я был готов на любые жертвы, лишь бы спасти в ее глазах высшую красоту романтизма. В конце концов, я имел дело с девушкой, чей кумир Шопен, больной туберкулезом, ради прихоти Жорж Санд отправился умирать во влажный климат зимней Майорки, и которая часто напоминала мне с горящими надеждой глазами, что Гельдерлин сошел с ума от любви, а два величайших русских поэта Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли, первый в тридцать семь лет, а второй в двадцать семь, и что фон Клейст покончил с собой вместе со своей возлюбленной. Все это, говорил я себе, смешивая на этот раз славян и немцев, — польские истории.

Я взял ее за руку и попытался успокоить, чувствуя на своих губах нечто, начинавшее сильно напоминать лукавую улыбку дяди Амбруаза.

— Может быть, дело в том, что ты меня не любишь, — повторил я. — Тогда, разумеется, это не то, чего ты ждала. Но все еще будет. Может быть, это будет Бруно. Или Ханс, ты его скоро увидишь, ведь говорят, немецкая армия действует на поль-

ской границе. Или ты встретишь кого-нибудь другого, кого полюбишь по-настоящему.

Она замотала головой, в слезах:

— Нет, я люблю именно тебя, Людо! Я действительно люблю тебя. Но не может быть, чтобы любовь была только тем, что я чувствую. Или же я ничтожество. У меня мелкая душа, я поверхностна, не способна к глубине, величию, потрясению!

Я вспомнил дядины советы и, в некотором роде взяв твердой рукой веревочку моего прекрасного воздушного змея, чтобы помешать ему затеряться в этой славянской буре, притянул ее к себе; мои губы прижались к ее губам, и моей последней сознательной мыслью было: если то, что дает мне Лила, не есть “настоящая, большая любовь”, как она сейчас крикнула мне, — ну что ж, тогда жизнь еще более щедра на красоту, радость и счастье, чем мне представлялось.

В тот же вечер она уехала в Париж — непреднамеренно, но и не без улыбки я как бы смешиваю с грамматической точки зрения слова “она” и “жизнь”, — где ее ждали родители и где припертые к стенке Радзивиллы, Сапеги, Потоцкие и Замойские патриотично отказались от преследований, чтобы не чернить одно из самых

известных в Польше имен (в то время как менее заботящиеся о чести государственные деятели предавали себя позору и склонялись в Мюнхене перед нацистской сволочью). Один раз я ходил в “Гусиную усадьбу” — Тад и Бруно занимались упаковкой картин, скульптур и всякими “мелочами”, в числе которых была выплата жалованья садовникам и слугам, представлявшая иногда сложную проблему. Портрет полковника Яна Броницкого в Сомосьерре, уже снятый со стены, ждал укладки в ящик и возвращения на родную землю. Подловский бродил из комнаты в комнату, отбирая мебель, которая будет продана для уплаты жалований и долга в “Прелестном уголке”: Марселен Дюпра отказывался его забыть. Поставщики из Клери также не расположены были смягчиться и старались завладеть всем, что могло возместить им убытки. Все уладилось через несколько недель, когда Генуся согласилась наконец расстаться с одним бриллиантовым “подарком”, и много мебели, в том числе рояль и глобус, осталось на месте, в надежде на возвращение в замок, но пока что Бруно был в отчаянии при мысли, что рискует потерять в этом деле свой “Стейнвей”. Что касается Тада, более занятого политическими событиями, чем материальными

заботами, то он встретил меня с кипой газет на коленях.

— Наверно, мы сюда больше не вернемся, — сказал он мне, — но это ничего, потому что я думаю, что скоро миллионы людей больше никуда не вернутся.

— Войны не будет, — уверенно сказал я, поскольку готов был на все, чтобы увидеть Лилу. — Следующим летом я приеду к вам в Польшу.

— Если еще будет Польша, — сказал Тад. — Теперь, когда Гитлер знает всю меру нашей трусости, он больше не остановится.

Бруно складывал свои партитуры в ящик.

— Пропал рояль, — сказал он мне.

— Святой эгоизм, — проворчал Тад. — Посмотри на этого типа! Мир может рухнуть, а для него единственное, что имеет значение, — это еще немножко музыки.

— Франция и Англия этого не допустят, — сказал я, и Тад, видимо, был прав, говоря о священном эгоизме, потому что я внезапно ясно понял: под тем, чего "Франция и Англия не допустят", я подразумевал окончательную разлуку с Лилой.

Тад с отвращением бросил газеты на пол. И посмотрел на меня с почти такой же досадой.

— Да, "песни отчаяния — самые прекрасные пес-

ни”. Можно было бы также добавить: “Счастливы те, кто погиб в справедливой войне, счастливы спелые колосья и убранные хлеба”. Еще бы, поэзия придет на смену музыке, и неотразимая сила культуры сметет Гитлера… Как бы не так! Всему крышка, дети мои.

Он еще посмотрел на меня, и его губы сморщились.

— Добро пожаловать следующим летом в Гродек, — сказал он. — Может быть, я ошибаюсь. Вероятно, я недооцениваю всемогущество любви. Возможно, есть неизвестные мне боги, которые хотят, чтобы ничто не помешало встрече любовников. Ах, черт! Черт! Как вы могли так капитулировать?

Я сообщил ему, что дядя, несмотря на пацифизм и неприятие войны по моральным соображениям, отказался из-за Мюнхенского соглашения от звания почетного президента “Воздушных змеев Франции”.

— Что в этом удивительного? — бросил он мне. — Именно это и называется “отказ по моральным соображениям”. В общем, кто знает, это может тянуться еще два-три года. Ну, до будущего года, Людо.

— До будущего года.

Мы обнялись, и они проводили меня до террасы. Я вновь вижу их обоих, с поднятыми руками, машущими мне вслед. Я был уверен, что Тад ошибается, и немного жалел его. Он страстно любил все человечество, но, в сущности, у него никого не было. Он верил в несчастье, потому что был один. Для надежды нужны двое. Все законы больших чисел основаны на этой уверенности.

Глава XIII

Именно зимой 1938–1939-го моя память проявила себя таким образом, что оправдались худшие предчувствия месье Эрбье, некогда предупреждавшего дядю, что “этот мальчик, кажется, абсолютно лишен способности забывать”. Не знаю, было ли это то же самое, что у всех Флёри, потому что на сей раз речь шла не о свободе, не о правах человека и не о Франции, которая была еще на своем месте и по внешнему виду не требовала никаких особенных усилий памяти. Меня не покидала Лила. Я снова взялся за бухгалтерскую работу в “Прелестном уголке” и подрабатывал еще на нескольких предприятиях округи, чтобы отложить деньги на поездку в Польшу. Работал я и на ферме, но в течение всего этого времени присутствие рядом со мной Лилы имело такую физическую реальность, что дядя, без шуток, даже ставил на стол третий прибор для той, которая отсутствовала так весомо. Он советовался с доктором Гардье — тот упомянул о навязчивых идеях и посоветовал бегать и играть в спортивные игры. Я не был удивлен непониманием медика,

но меня огорчило отношение опекуна, хотя я знал, что он опасается абсолютной верности, уже причинившей нашим родственникам столько несчастий. Мы несколько раз повздорили. Он утверждал, что путешествие в Польшу, которое я планировал летом, принесет мне худшее из разочарований и что, кстати, даже само выражение “первая любовь”, по определению, означает нечто, имеющее конец. Однако мне казалось, что порой дядя смотрит на меня не без гордости.

— В общем, если тебе не хватит денег на поездку, — сказал он наконец, — я тебе дам. И надо, чтобы ты купил себе что-то из одежки, потому что не может быть и речи о том, чтобы приехать к этим людям одетым как бродяга.

В течение зимы Лила написала мне несколько писем: они становились все короче и в конце концов превратились в открытки; это было понятно — скоро мы должны быть вместе, и сама краткость ее записок: “Мы все тебя ждем”, “Я так счастлива, что ты наконец увидишь Польшу”, “Мы думаем о тебе”, “Вот и июнь!” — казалось, сокращала время и подталкивала месяцы и недели. А потом, до самого моего отъезда, было долгое молчание, как будто чтобы еще сократить последние недели ожидания.

Я сел на поезд в Клери 20 июня. Дядя провожал меня на вокзал. И пока мы катили бок о бок на велосипедах, он сказал только:

— Посмотришь белый свет.

Свет, страны, вся земля были последним, о чем я думал. Мир не участвовал в путешествии. Я думал только о том, чтобы вновь обрести целостность, вновь обрести руки, которых мне не хватало. Когда поезд тронулся и я высунулся из окна, Амбруаз Флёри мне крикнул:

— Надеюсь, ты не упадешь со слишком большой высоты и я не получу тебя обратно всего изломанного и помятого, как наш старый “Мореход”. Помнишь?

— Вы же знаете, я никогда ничего не помню! — крикнул я ему, и так, смеясь, мы расстались.

Глава XIV

Я никогда еще не вылезал из своей нормандской дыры. О мире я не знал ничего, кроме географии, а об истории — только то, что узнал из учебников, или глядя на имена моего отца и его брата Робера на памятнике погибшим в Клери, или же слушая дядю, когда тот объяснял мне значение своих воздушных змеев. Мне не приходило на ум думать об истории в настоящем времени. Что касается политики и тех, кто ее делает, я знал только лица Эдуара Эррио, Андре Тардье, Эдуара Даладье, Пьера Лаваля, Пьера-Этьена Фландена или Альбера Сарро[14], которых мне случалось

---

[14] Примечания: 14

Андре Тардье (1876–1945) — один из лидеров французских правых между двумя мировыми войнами; премьер-министр Франции (1929–1930, 1932). *Эдуар Даладье* (1884–1970) — лидер французской партии радикалов; премьер-министр Франции в 1933, 1934, 1938–1940 гг. *Пьер Лаваль* (1883–1945) — французский политик, премьер-министр Франции (1931–1932, 1935–1936). Активный деятель коллаборационного правительства Виши во время Второй мировой войны и его глава с 1942 г. *Пьер-Этьен Фланден* (1889–1958) — политический деятель правого толка, премьер-министр Франции (1934–1935). Поддержал действия маршала Петена по выходу Франции из войны и заключению союза с Германией. Занимал пост министра иностранных дел в правительстве Виши. *Альбер Сарро* (1872–1962) — политический деятель, занимавший высокие посты в правительстве Франции, премьер-министр в 1933 и 1936 гг.

видеть, когда я выходил из маленькой конторы Марселена Дюпра в “Прелестном уголке”. Разумеется, я знал, что Италия — фашистская страна, но когда порой замечал на стене надпись: “Долой фашизм!”, то спрашивал себя, зачем она здесь, ведь мы во Франции. Гражданская война в Испании, о которой мне так часто рассказывал Тад, казалась мне делом далеким: другие люди, другие нравы, и кроме того, как всем известно, у испанцев в какой-то мере кровожадность в крови. Я был возмущен Мюнхенским соглашением в прошлом году, особенно потому, что Ханс был немец, и, таким образом, я, как мне казалось, терял очко в соперничестве, делавшем нас противниками. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что Франция никогда не покинет Польшу, или, точнее, Лилу. Сегодня, наверное, трудно себе представить такое невежество у молодого человека восемнадцати лет, но в то время Франция еще была великой страной, страной спокойной силы, престижа, и так была уверена в своей “миссии разума”, что, по моему мнению, сама могла справиться со своими проблемами, и я полагал, что это избавляет французов от всех хлопот. Не могу даже сказать, что такое отношение объяснялось отсутствием у меня информации. Наоборот:

обязательное народное образование слишком хорошо научило меня, что свободе, достоинству и правам человека не может угрожать опасность, пока наша страна остается верна себе, — это было для меня несомненно, принимая во внимание все, что мне преподали. Отзвуки происходящего у наших соседей, так близко, конечно, но все же за пределами наших границ, вызывали у меня лишь удивление, смешанное с пренебрежением, и утверждали в моих глазах наше превосходство; впрочем, как мой дядя, так и Марселен Дюпра и все мои школьные учителя согласно утверждали, что у диктаторского режима нет никаких шансов на длительное существование, так как он не пользуется поддержкой народа. Народ был для Амбруаза Флёри понятием священным, потенциально несущим в себе крах Муссолини, Гитлера и Франко. Никто не рассматривал фашизм и нацизм как народные режимы — такая мысль была бы настоящим отрицанием всего, что составляет основу обязательного народного образования. Решительный пацифизм моего дяди довершил дело. Иногда я ясно чувствовал некоторое несоответствие и противоречивость его позиций: так, он восхищался Леоном Блюмом, когда тот отказался вмешаться в войну в

Испании, однако был взбешен Мюнхенским соглашением. Наконец я сказал себе, что, несмотря на все его старания, он в этом случае оказался жертвой “исторической памяти” Флёри и что даже тридцать пять лет, посвященные мирному труду сельского почтальона, не уберегли его от новых приступов болезни.

Так что я был совсем не подготовлен к виду Европы 1939 года, через которую ехал. На итальянской границе, кишевшей чернорубашечниками с кинжалами и фашистскими эмблемами, у меня конфисковали перочинный ножик не более семи сантиметров длиной. Перроны вокзалов гудели от маршировки военных отрядов; кто-то из соотечественников перевел мне передовицу, в которой Малапарте говорил о “вырождении Франции” и сравнивал ее с продажной девкой. Вскоре после австрийской границы грустного лысого человечка из моего купе попросили выйти из поезда, и он, плача, подчинился. Всюду была свастика: на знаменах, нарукавных повязках, на стенах; на всех плакатах я встречался взглядом с Гитлером. Когда у меня проверяли паспорт и визы и видели, что я еду в Польшу, на меня бросали суровый взгляд и возвращали бумаги холодно, с презрительным видом. Два раза окна замазыва-

ли специальным клеем, а фотоаппараты у всех забрали и не отдавали в течение всего пути: видимо, поезд шел вдоль какой-то “военной зоны”. Эсэсовцы, сидевшие напротив меня от Вены до Братиславы, бросали на мой французский берет веселые взгляды и, выходя, попрощались со мной победным “Зиг хайль!”.

Как только поезд остановился на первой польской станции, атмосфера внезапно полностью изменилась. Казалось, даже мой берет имел другое значение, если не происхождение: пассажиры смотрели на него дружески. Те, кто не говорил по-французски, не упускали возможности выказать мне свою симпатию: хлопали по плечу, жали руку и угощали пивом и едой. По дороге в Варшаву и затем — на другом поезде — вдоль “коридора” я услышал больше возгласов “Да здравствует Франция!”, чем за всю свою жизнь.

Броницкие телеграфировали, что приедут встречать меня на вокзал, и как только контролер предупредил, что мы подъезжаем к Гродеку, я перешел из своего вагона третьего класса в первый класс, откуда готовился выйти с подобающим достоинством. Марселен Дюпра одолжил мне чемодан из настоящей кожи и, напомнив, что, “в конце концов, ты будешь представлять

там Францию", предложил пришить к лацкану пиджака или даже к берету трехцветную эмблему "Прелестного уголка" с тремя звездочками, на что я для виду согласился, но спрятал эмблему в карман, не имея в то время ни малейшего предчувствия, чему в скором времени суждено воплощать последнюю всемирно признанную ценность моей страны. Тогда еще никому не пришло бы на ум, несмотря на известность Марселена Дюпра, считать этого последнего ясновидцем, и то, что мэтр называл "тремя звездами Франции", еще отнюдь не сверкало тем блеском, что сегодня.

Кроме нескольких крестьян с ящиками, в поезде почти никого не осталось, когда он остановился на маленькой станции из красного кирпича в Гродеке; однако там, видимо, ожидали какое-то официальное лицо, так как, сойдя на перрон, я очутился перед военным оркестром из десяти человек. Я увидел также, что крыша вокзала украшена соединенными вместе французскими и польскими флагами, и едва я со своим чемоданом сделал шаг, как оркестр заиграл "Марсельезу", а затем польский гимн, которые я слушал, вытянув руки по швам, быстро сняв берет и одновременно кося глазами, пытаясь увидеть французского

деятеля, которого так встречают. Я увидел Стаса Броницкого с непокрытой головой и шляпой у сердца, слушающего национальный гимн, и Лилу, которая сделала мне знак рукой; Тад опустил глаза и явно с большим трудом удерживался от смеха. Позади них Бруно со своим всегдашним немного потерянным видом глядел на меня с улыбкой, одновременно дружеской и смущенной, — причину этого я понял только тогда, когда маленькая девочка в трехцветных лентах вручила мне букет из синих, белых и красных цветов и старательно выговорила по-французски: “Да здравствует вечная Франция и бессмертная дружба французского и польского народов!” — в чем, как мне показалось, был избыток вечности и бессмертия зараз. Поняв наконец, что объектом этой почти официальной встречи являюсь я, после мгновения паники, ибо это был первый раз, когда я представлял Францию за рубежом, я храбро ответил по-польски:

— Niech zyje Polska! Да здравствует Польша!

Девочка разрыдалась, оркестранты нарушили свои ряды и подошли пожать мне руку, Стас Броницкий заключил меня в объятия, Лила кинулась мне на шею, Бруно поцеловал меня и отступил, и когда патриотический энтузиазм

присутствующих утих, Тад взял меня за локоть и шепнул на ухо:

— Ну вот, можно подумать, что победа уже за нами!

В его шутке было такое отчаяние, что я в своем новом качестве представителя Франции возмутился, высвободил руку и ответил:

— Мой дорогой Тад, есть такая вещь, как цинизм, и есть история Франции и Польши. Они несовместимы друг с другом.

— Кроме того, войны не будет, — вмешался Броницкий. — Гитлеровский режим вот-вот рухнет.

— Кажется, я помню, что Черчилль сказал по этому поводу перед английским парламентом во время Мюнхена, — проворчал Тад. — Он сказал: “Вы выбирали между позором и войной. Вы выбрали позор, и вы получите войну”.

Я держал руку Лилы в своей.

— Ну что ж, мы ее выиграем, — сказал я и в благодарность получил поцелуй в щеку.

Я почти чувствовал тяжесть венца Франции на голове. Когда я вспоминал, что Марселен Дюпра посмел предложить мне отправиться в Польшу с эмблемой “Прелестного уголка” на груди, я жалел, что не дал ему пару оплеух. Принимая у себя в ресторане всех видных лиц Третьей республи-

ки, этот поваришка утратил понятие о величии своей страны и о том, что она значит в глазах мира. По дороге со станции к замку, в старом “форде”, которым управлял сам Броницкий, — голубым “паккардом” завладели кредиторы из Клери, — рука об руку с Лилой, я рассказывал последние французские новости. Никогда еще нация не чувствовала такой уверенности в себе. Лай Гитлера вызывал смех. Вся страна, спокойно убежденная в своей силе, как бы приобрела новое качество, которое некогда называлось “английской флегмой”.

— Президент Лебрен сделал шутливый жест, который, говорят, вывел Гитлера из себя. Он осмотрел плантацию роз, которую наши солдаты вырастили на линии Мажино[15].

Лила сидела рядом со мной, и этот профиль, такой чистый на фоне массы светлых волос, этот взгляд, как бы рассеивающий все сомнения, вызывали у меня уверенность в победе — в данном случае не иллюзорной, ибо эту мою победу никто не мог и не сможет оспорить. Так что в моей жизни есть по крайней мере одно, в чем я не ошибся.

---

[15] Примечания: 15

Линия Мажино — система французских укреплений на границе с Германией. Названа по имени военного министра Андре Мажино.

— Ханс сказал мне, что командующие немецкой армией ждут только случая, чтобы избавиться от Гитлера, — сказала она.

Так я узнал, что Ханс в замке. К чертовой матери, подумал я внезапно и даже не устыдился этого падения после своих возвышенных мыслей, или, точнее, этой непреодолимой вспышки народного гнева.

— Не знаю, избавится ли немецкая армия от Гитлера, но я знаю, кто избавится от немецкой армии, — объявил я.

Кажется, в роли такого избавителя я представлял себя. Не знаю, было ли это похмелье от оказанного мне патриотического приема, или рука Лилы в моей заставила меня потерять голову.

— Мы готовы, — добавил я, укрываясь из скромности за множественным числом.

Тад молчал, тонко улыбаясь, отчего его профиль казался еще более орлиным. Я с трудом переносил его саркастическое молчание. Бруно попытался немного разрядить атмосферу.

— А как поживает Амбруаз Флёри со своими воздушными змеями? — спросил он. — Я о нем часто думаю. Это настоящий пацифист.

— Дядя так и не оправился после войны четырнадцатого года, — объяснил я. — Это человек

другого поколения, поколения, испытавшего слишком много ужасов. Он не доверяет высоким порывам и думает, что люди должны удерживать даже самые благородные свои идеи на прочной веревке. Без этого, по его мнению, миллионы человеческих жизней будут потрачены на то, что он называет “погоней за синевой”. Он чувствует себя хорошо только в обществе своих воздушных змеев. Но мы, молодые французы, мы не довольствуемся картонными мечтами, ни даже просто мечтами. Мы вооружены и готовы защищать не только наши мечты, но и нашу реальность, и эта реальность называется свободой, достоинством и правами человека…

Лила мягко вынула свою руку из моей. Не знаю, была ли она смущена моим патриотическим пылом и моими разглагольствованиями или немного недовольна, что я как бы забыл о ней. Но я не забыл — это о ней я говорил.

Глава XV

Замок Броницких походил на крепость; когда-то он и был крепостью. Он находился в нескольких сотнях метров от Балтийского моря и не более чем в десяти километрах от немецкой границы. Вокруг был парк, сосновый лес и песок. Ров еще существовал, но вместо прежнего подъемного моста построили широкую лестницу и просторную террасу. Стены и старые башни были источены историей и морским ветром; как только я вошел в первый зал, я оказался среди такого количества доспехов, орифламм, щитов, аркебуз, алебард и эмблем, что почувствовал себя голым.

Я сделал всего несколько шагов в этой обстановке аукциона, когда увидел Ханса, сидящего в кресле с ковровой обивкой у мраморного стола. На нем был свитер, брюки для верховой езды, сапоги, и он читал английский иллюстрированный журнал. Мы поздоровались издали. Я не понимал его присутствия здесь, зная, что он учится в военной академии в *Preussen*[16] и что напряжение между Польшей и Германией возрастает с каж-

[16] Примечания: 16
Пруссия *(нем.).*

дой неделей. Лила мне объяснила, что “бедняжка” выздоравливает после пневмонии в имении своего дяди, Георга фон Тиле, по другую сторону границы, которую время от времени пересекает верхом по тропинкам, известным с детства, чтобы навестить своих польских кузенов, — для меня это означало просто, что он по-прежнему влюблен в свою кузину.

Я нашел, что Лила изменилась. Ей исполнилось двадцать лет, но, как сказал мне Тад, она продолжала “мечтать о себе”.

— Я хочу что-то сделать в жизни, — повторяла она мне.

Один раз я не удержался от ответа:

— Подожди хотя бы, пока я уеду!

Не знаю, откуда я взял, что любовь может быть единственной целью и смыслом существования. Наверное, я унаследовал от дяди это полное отсутствие честолюбия. Возможно также, что я полюбил слишком рано, слишком молодым, полюбил всем своим существом, и во мне не осталось места ни для чего другого. Бывали моменты просветления, когда я видел, как далека моя жалкая прозаическая банальность от того, чего может ожидать эта мечтательная белокурая головка, лежащая на моей груди с закрытыми

глазами и улыбкой на губах, грезящая о неизвестной славной дороге в будущее. Я чувствовал, что она находит в самой моей простоватости что-то успокоительное, но нелегко привыкнуть к мысли, что женщина привязана к вам, потому что вы удерживаете ее на земле, не давая воспарить слишком высоко. После целого дня, проведенного в “мечтах о себе” в лесу, как она мне говорила, она приходила в мою комнату, как если бы я был для нее смиренным ответом на все задаваемые ею себе вопросы.

— Люби меня, Людо. Это все, чего я заслуживаю. Видно, я буду одной из тех женщин, которые годятся только на то, чтобы быть любимыми. Когда я слышу, как мужской голос позади меня бормочет: “Как хороша!” — это как если бы мне говорили, что вся моя жизнь будет заключаться в зеркале. И так как у меня ни к чему нет таланта… — она прикоснулась к кончику моего носа, — кроме тебя… Я никогда не буду мадам Кюри. В этом году я запишусь на медицинский факультет. Если повезет, может, я когда-нибудь кого-нибудь вылечу.

В ее грусти я понимал только одно: ей меня недостаточно. Сидя под большими соснами на берегу Балтийского моря, Лила “мечтала о се-

бе”, с травинкой в зубах, а мне казалось, что эта травинка — я и что меня в любой момент могут пустить по ветру. Она сердилась, когда я шептал: “Ты вся моя жизнь”, и я не знал, возмущает ли ее банальность выражения или ничтожность такой единицы измерения.

— Послушай, Людо. И до тебя были люди, которые любили.

— Да, я знаю, у меня есть предшественники.

Сейчас мне кажется, что у моей подруги было смутное желание, которое она не могла выразить словами: желание не быть сведенной только к своей женственности. Как я мог понять в моем возрасте и так мало зная о мире, в котором жил, что слово “женственность” может быть для женщин тюрьмой? Тад мне говорил:

— Политически моя сестра безграмотна, но ее “мечты о себе” — мечты не осознающей себя революционерки.

В середине июля Тада арестовала полиция, увезла в Варшаву и допрашивала несколько дней. Его подозревали в том, что он писал “подрывные” статьи в одной из запрещенных газет, которые тогда распространялись в Польше. Его выпустили с извинениями по приказанию высших властей: не важно, виновен он или нет, нельзя, чтобы

историческое имя Броницких было замешано в подобном деле.

Слухи о войне с каждым днем становились все громче, как постоянное ворчание грома на горизонте; когда я гулял по улицам Гродека, незнакомые люди пожимали мне руку, замечая на лацкане моего пиджака маленькую трехцветную нашивку, из которой я выщипал нитку за ниткой слова “Прелестный уголок”, но никто в Польше не верил, что через неполных двадцать лет Германия будет напрашиваться на новое поражение. Только Тад был уверен в неизбежности мирового конфликта, и я чувствовал, что он разрывается между своим отвращением к войне и надеждой, что из руин старого мира родится новый. Мне было неловко, когда и он, знавший мою наивность и невежество, с тревогой спрашивал:

— Ты действительно думаешь, что французская армия так сильна, как у нас говорят? — Он тут же спохватывался, улыбаясь: — Конечно, ты ничего об этом не знаешь. Никто ничего не знает. Это и называется “тонкостями” истории.

Из нашего убежища на берегу Балтийского моря, где мы встречались, когда этому благоприятствовало солнце, ничто не казалось дальше, чем конец света, от которого нас отделяло всего

несколько недель. И тем не менее я ощущал у своей подруги нервозность, даже ужас, о причине которых расспрашивал ее напрасно: она качала головой, прижималась ко мне с расширенными глазами и бьющимся сердцем:

— Я боюсь, Людо. Я боюсь.

— Чего? — И я добавлял, как подобало: — Я здесь.

Особо чувствительные люди порой способны к прозрениям, и однажды Лила прошептала мне странно спокойным голосом:

— Будет землетрясение.

— Почему ты так говоришь?

— Будет землетрясение, Людо. Я в этом уверена.

— В этом районе никогда не было землетрясений. Это научный факт.

Ничто не давало мне столько спокойной силы и веры в себя, чем эти минуты, когда Лила обращала ко мне умоляющий взгляд.

— Не знаю, что со мной… — Она прикладывала руку к груди. — У меня здесь не сердце, а трясущийся заяц.

Я винил во всем море, слишком холодное купание, морские туманы. И потом, я же был рядом.

Все казалось таким мирным. Старые северные

сосны держались за руки над нашими головами. Карканье ворон не означало ничего, кроме близости гнезда и наступления вечера.

Профиль Лилы на фоне белокурых волос очерчивал перед моими глазами линию судьбы более убедительную, чем все крики ненависти и угрозы войны. Она подняла ко мне серьезный взгляд:

— Кажется, я тебе наконец скажу, Людо.

— Что?

— Я люблю тебя.

Я не сразу пришел в себя.

— Что с тобой?

— Ничего. Но ты была права. Случилось землетрясение.

Тад, который не расставался с радиоприемником, грустно наблюдал за нами.

— Торопитесь. Вы переживаете, быть может, последнюю любовную историю в мире.

Но очень быстро наша молодость брала свое. В замке был настоящий музей исторических костюмов, занимавший три комнаты так называемого памятного крыла замка; его шкафы и витрины были полны нарядов высокочтимого прошлого; я натягивал уланскую форму; Тад давал себя уговорить и надевал костюм kosyniery, крестьян, которые шли за Костюшко, вооружен-

ные только косами, против царской армии; Лила появлялась в сверкающем золотой вышивкой платье, принадлежавшем какой-то царственной прабабке; Бруно, переодетый Шопеном, садился за рояль, и моя подруга, хохоча от этого маскарада, увлекала нас по очереди в полонез, который доброжелательно отражали высокие зеркала, знавшие другие времена, другие нравы. Ничто не казалось надежнее, чем мир на земле, когда он воплощался в лице моей подруги. Пока я тяжело скакал по паркету с Лилой в объятиях, все было здесь, настоящее и будущее: вот так храбрый нормандский улан летит высоко над землей вместе с королевой, чье имя еще неизвестно истории Польши, королевой, мало заботящейся о сердечных делах в эти последние дни июля 1939 года.

Затем мы уходили из “памятного крыла” погулять по аллеям парка; Тад и Бруно скромно удалялись, и мы оставались одни. В конце аллеи начинался лес, что-то шептавший то голосом сосен, то голосом моря; среди его огромных зарослей вереска были уголки земли и скал, куда, казалось, никогда не заглядывало время. Я любил эти заповедные места, погруженные в некие тайные мечтания о других геологических эпохах. Песок еще хранил с прошедших дней следы наших тел.

Лила переводила дыхание; я закрывал глаза на ее плече. Но вскоре красно-синий уланский мундир смешивался в вереске с королевским платьем, и не было больше ни моря, ни леса, ни земли; каждое объятие охраняло жизнь от всех опасностей и всех ошибок, как бы очищая ее от обмана и притворства. Когда сознание возвращалось, я чувствовал, как мое сердце медленно входит в гавань со спокойствием больших парусников после долгих лет странствий. И когда после ласки моя рука, отнятая от груди Лилы, касалась камня или коры дерева, они не казались мне жесткими. Иногда я пытался любить с открытыми глазами, но всегда закрывал их, потому что зрение отвлекало меня и заслоняло мои чувства. Лила немного отстранялась и смотрела на меня взглядом, не лишенным суровости.

— Ханс красивее тебя, а Бруно гораздо талантливее. Я себя спрашиваю, почему я предпочитаю всем тебя.

— Я тоже, — говорил я.

Она смеялась.

— Я никогда ничего не пойму в женщинах, — говорила она.

Глава XVI

Мне казалось, что Бруно меня избегает. Меня мучило выражение горя на его лице. Обычно он проводил за роялем пять-шесть часов в день, и иногда я подолгу стоял под его окном и слушал. Но с некоторых пор наступила тишина. Я поднялся в музыкальную гостиную — рояль исчез. Тогда мне пришла явно безумная, но соответствовавшая моему представлению о любовном огорчении мысль, что Бруно бросил свой рояль в море.

В тот же вечер, идя по тропинке в поисках Лилы, я услышал аккорды Шопена, смешивающиеся с шепотом волн. Я сделал несколько шагов по песчаной дорожке, усыпанной зелеными иголками, и вышел на пляж. Слева я увидел рояль под большой сосной, сгорбившейся, как свойственно очень старым деревьям, чьи вершины как бы грезят о прошлом. Бруно сидел за клавиатурой в двадцати шагах от меня; я видел сбоку его профиль, и в морском воздухе лицо его казалось мне призрачно-бледным — предвечерний свет скорее приглушал, чем выделял краски; чайки пронзительно кричали.

Я остановился за деревом — не для того чтобы спрятаться, а потому что все было так совершенно в этой бледной северной морской симфонии, что я боялся нарушить одно из мгновений, которые могут длиться всю жизнь, если иметь хоть немного памяти. Чайка вырывалась из дымки, прочерчивала воздух над водой и улетала, как нота. Только пена шипела, и Балтийское море — всего лишь водное пространство, всего лишь смесь воды и соли — стихало на песке перед роялем, как собака, которая ложится у ног хозяина.

Потом руки Бруно замерли. Я подождал несколько минут и подошел ближе. Под густой спутанной шевелюрой лицо его по-прежнему напоминало птенца, выпавшего из гнезда. Я искал что сказать, потому что всегда приходится прибегать к словам, чтобы помешать молчанию говорить слишком громко, когда почувствовал позади чье-то присутствие. Лила была здесь, босая, на песке, в изумительном прозрачно-кружевном платье, которое, видимо, взяла у матери. Она плакала.

— Бруно, мой милый Бруно, я люблю тебя тоже. Что касается Людо, это может кончиться завтра или продолжаться всю жизнь, это не зависит от меня, это зависит от жизни!

Она подошла к Бруно и поцеловала его в губы.

Я не ревновал. Это был не такой поцелуй.

Я опасался совсем другого соперника, я видел, как на тропинке под соснами он держит за повод двух коней, Хансу опять удалось перейти границу, чтобы побыть с Лилой. Напрасно она объясняла мне, что по воле веков и истории одна из ветвей генеалогического древа Броницких простиралась до Пруссии, — присутствие этого "кузена", кадета военной академии вермахта, казалось мне невыносимым. В том, что он в своем костюме джентльмена-охотника хладнокровно стоит рядом с нами, я усматривал навязчивость и наглость, которые меня выводили из себя. Я сжимал кулаки, и Лила встревожилась:

— Что с тобой? Почему у тебя такой вид?

Я ушел от них и углубился в лес. Я не понимал, как могут Броницкие, каковы бы ни были их родственные связи, терпеть присутствие того, кто, может быть, готовится в рядах немецкой армии захватить священный "коридор". Я только раз слышал, как сам Ханс коснулся этой темы после одной особенно ядовитой речи Гитлера. Мы все сидели в гостиной у камина, где огонь плясал и ревел голосом старого льва, мечтающего о смерти укротителя. Тад только что выключил радио. Ханс смотрел на нас.

— Я знаю, о чем вы думаете, но вы ошибаетесь. Гитлер нам не хозяин, он наш слуга. Армии не составит никакого труда смести его, когда он перестанет быть нам полезен. Мы положим конец всей этой низости. Германию снова возьмут в свои руки те, кто всегда заботился о ее чести.

Тад сидел в кресле, протертом до дыр историческими ягодицами Броницких.

— Мой дорогой Ханс, элита обкакалась. Все кончено. Единственное, что она еще может подарить миру, — так это свое исчезновение.

Лила полулежала в одном из жестких царственных кресел с высокой спинкой, которые, видимо, были местным вариантом стиля Людовика XI.

— Отче наш, сущий на небесах, — прошептала она.

Мы посмотрели на нее с удивлением. Она испытывала по отношению к церкви, религии и священникам чувство, не лишенное христианского сострадания, поскольку, говорила она, “им надо прощать, ибо они не ведают, что творят”.

— Отче наш на небесах, сделай мир женским! Сделай идеи женскими, страны женскими и глав государств — женщинами! Знаете ли вы, дети мои, кто был первый мужчина, заговоривший женским голосом? Иисус.

Тад пожал плечами:

— Мысль, что Иисус был гомосексуалистом, — вымысел нацистов, который не имеет никакой исторической основы.

— Вот настоящее мужское рассуждение, мой дорогой Тад! Я не такая идиотка, чтобы утверждать такое. Я говорю только, что первый человек, заговоривший в истории цивилизации голосом женщины, — Иисус. Я это говорю и доказываю это. Потому что кто тот человек, который первым призвал к жалости, любви, нежности, кротости, прощению, уважению к слабости? Кто первый послал к черту — ну, это я в переносном смысле — жесткость, жестокость, кулаки, кровопролитие? Иисус первый потребовал феминизации мира, и я тоже ее требую. Я вторая после Христа ее требую, вот!

— Второе пришествие! — проворчал Тад. — Этого еще недоставало!

Были дни, когда я почти не видел Лилу. Она исчезала в лесу с толстой тетрадью и карандашами. Я знал, что она пишет дневник, который должен затмить знаменитый в то время дневник Марии Башкирцевой. Тад подарил ей “Историю феминистского движения” Мэри Стенфилд, но слово “феминизм” ей не нравилось.

— Надо придумать что-то не на “изм”, — говорила она.

Я ревновал ее к уединению, к тропинкам, по которым она ходила без меня, к книгам, которые брала с собой и читала, как будто меня нет. Теперь я уже умел смеяться над своей требовательностью и тираническим страхом: я начинал понимать, что даже смыслу жизни надо давать право время от времени покидать нас или даже немного изменять нам с одиночеством, горизонтом и этими высокими цветами, названия которых я не знал и которые теряют свои белые головки при малейшем дуновении ветра. Когда она вот так покидала меня, чтобы “искать себя” (ей случалось за один день переходить от Школы искусства в Париже к занятиям биологией в Англии), я чувствовал себя изгнанным из ее жизни за незначительностью. Тем не менее я начинал приходить к мысли, что недостаточно просто любить, надо уметь любить, и вспоминал совет дяди Амбруаза крепко держать в руках веревочку, чтобы не дать воздушному змею затеряться “в погоне за синевой”. Я мечтал о слишком высоком и слишком далеком. Мне надо было смириться с мыслью, что я — только моя собственная жизнь, а не жизнь Лилы. Никогда еще понятие свободы не

казалось мне таким суровым, требовательным и трудным. Я слишком хорошо знал историю Флёри — “жертв обязательного народного образования”, как говорил дядя, — чтобы не признать тот факт, что свобода во все времена требовала жертв, но мне никогда не приходило на ум, что любовь к женщине может быть также постижением свободы. Я взялся за это постижение храбро и прилежно: я больше не ходил в лес в поисках Лилы и, когда ее отсутствие затягивалось, боролся против охватывавшего меня чувства незначительности и небытия, почти забавляясь, когда казался себе все меньше и меньше, и, чтобы стало совсем смешно, шел посмотреться в зеркало — удостовериться, что я не превратился в карлика.

Надо сказать, что моя проклятая память не облегчала дела. Когда Лила от меня уходила, я видел ее перед собой так ясно, что мне случалось упрекать себя в шпионаже. Может быть, нужно пережить любовь к нескольким женщинам, чтобы научиться любить одну? Ничто не может подготовить нас к первой любви. И когда порой Тад говорил мне: “Ничего, ты в жизни еще будешь любить других женщин”, мне казалось, что нехорошо так говорить о жизни.

В замке было три библиотеки, где стены были

уставлены томами, украшенными золотом и пурпуром. Я часто ходил туда поискать в книгах какой-нибудь смысл жизни помимо Лилы. Но его не было. Я начинал бояться. Я даже не был уверен, что Лила действительно меня любит, что я не просто “ее маленький французский каприз”, как мне сказала однажды госпожа Броницкая. Лила называла нас — Тада, Бруно, Ханса и меня — “четырьмя всадниками анти-Апокалипсиса”, которые все станут благодетелями человечества, — а я не умел даже ездить верхом. Когда она предоставляла меня самому себе, я находил убежище в чтении. Стас Броницкий — я редко видел его в Гродеке, так как его задерживало в Варшаве дело чести (Геня стала, по слухам, любовницей влиятельного государственного деятеля, и супруг не мог оставить ее одну в столице, а то имя Броницких могло пострадать от чрезмерной очевидности этого факта), — найдя меня однажды погруженным в чтение прижизненного издания Монтеня, провозгласил, указывая широким жестом на свои библиофильские сокровища:

— Я провел здесь самые увлекательные и вдохновенные часы юности, и сюда на склоне лет я вернусь для встречи с тем, что было подлинным смыслом моей жизни, — культурой…

— Отец в жизни не прочел ни одной книги, — шепнул мне на ухо Тад. — Но это не мешает чувствовать.

Состояние транса, в которое я погружался, когда отсутствие Лилы затягивалось или когда — предел несчастья! — появлялся Ханс и они уезжали вдвоем на лошадях по лесным дорогам, не оставалось незамеченным для моих друзей. Бруно убеждал меня, что я не должен ревновать, ведь Ханс, нельзя этого не признать, прекрасно ездил верхом. Тад старался не быть саркастичным, что было для него совершенно противоестественно. Один раз он даже рассердился, когда польское радио сообщило о новой концентрации немецких войск вдоль “коридора”:

— Слушай, что это за дурацкие любовные переживания, когда Европе и свободе грозит гибель!

На одной из узких улочек Гродека старый господин с прекрасными седыми усами поздоровался со мной и пригласил меня “в свое скромное жилище”. На стене гостиной висел портрет маршала Фоша[17] во весь рост.

— Да здравствует бессмертная Франция! — ска-

---

[17] Примечания: 17

Фердинан *Фош* (1851–1929) — маршал Франции. В 1918 г. — верховный главнокомандующий союзными войсками, одержавшими победу над Германией.

зал хозяин.

— Да здравствует вечная Польша! — ответил я.

Было что-то смертное в этих заверениях в бессмертии. Возможно, это был единственный момент в Гродеке, когда сомнение задело меня своим тревожным крылом. В доверии, проявляемом поляками к “непобедимой Франции”, что-то внезапно показалось мне более близким к смерти, чем к непобедимости. Но это продолжалось всего минуту, я тут же вновь обрел в “исторической памяти” Флёри уверенность, позволявшую мне возвращаться к Лиле и обнимать ее со спокойной верой человека, спасающего таким образом мир на земле. Сегодня, после того как погибло сорок миллионов, я не буду искать себе никакого оправдания, разве только в наивности, на которой подчас основывается как высшее самопожертвование, так и пагубное ослепление; но ничто, на мой взгляд, не отрицало войну более ощутимо, чем тепло ее губ на моей шее и на моем лице, — эти поцелуи я чувствовал потом всю жизнь. Когда человеку слишком хорошо, он рискует стать от счастья чудовищем. Я сухо отвечал полякам, которые заговаривали со мной на улице при виде моей трехцветной французской эмблемы, и таким образом отгора-

живался от всего, что могло бы бросить тень на наше будущее. Я неохотно отправился с Тадом на подпольное собрание студентов в Хелм, где столкнулись две позиции: одни требовали немедленной мобилизации, а другие утверждали, если я правильно понял, что нужно уметь проиграть военную битву, чтобы выиграть другую, которая положит конец обществу эксплуатации. Очень примитивное знание польского языка не позволяло мне разобраться в этой диалектике, и я слушал вежливо, но немного иронично, скрестив на груди руки, уверенный, что мое спокойное французское присутствие служит ответом на все вопросы.

Глава XVII

Именно по моем возвращении с этого собрания граф Броницкий имел со мной торжественную беседу в большом овальном зале, так называемой княжеской гостиной, где был подписан какой-то победный договор. Он пригласил меня к четырем часам дня, и я ожидал его под картинами, на которых наполеоновских маршалов отделяло всего несколько метров от гетмана Мазепы, позорно спасающегося бегством после своего поражения, и от Ярослава Броницкого, героя, чья знаменитая атака обеспечила победу Собеского[18] над турками в Венском сражении. У Стаса Броницкого в разных концах страны было с полдюжины художников, кистью и маслом увековечивавших самые древние и славные события польской истории. В то время граф проводил крупную коммерческую операцию: он собирался продать за океаном восемь миллионов шкур, заказанных у русских (две трети всего производимого каракуля, голубой норки и длинношерстного меха — рыси, лисицы,

[18] Примечания: 18

Ян III *Собеский* (1629–1696) — король польский и великий князь литовский с 1674 г.

медведя), и получить 400 процентов прибыли. Не знаю, как в его гениальном мозгу зародилась такая идея; сегодня я думаю, что его посетило что-то вроде предчувствия, но оно ошиблось шкурой.

Я проводил несколько часов в день за вычислением возможных прибылей в зависимости от котировок на различных мировых рынках. Для этого предприятия требовалась почти вся пушнина, которую планировалось произвести в Советском Союзе в 1940, 1941 и 1942 годах, и польское правительство оказывало поддержку; по-видимому, речь шла о высокой дипломатии — установить посредством торговли хорошие отношения с СССР, после того как полковник Бек, министр иностранных дел, не сумел прийти к соглашению с гитлеровской Германией. Наверно, никогда еще за всю историю человечества не совершалось более крупной ошибки относительно цены и принадлежности шкур. Еще и теперь можно найти подробности этого дела в польских национальных архивах. Одну из самых страшных фраз, которые мне доводилось услышать, произнес некий знаменитый член *Wildlife Society*[19] после войны: “Можно, по крайней мере,

[19] Примечания: 19
Общество сохранения дикой природы *(англ.).*

радоваться, что десятки миллионов животных избежали истребления".

Я ждал Броницкого добрых полчаса. Я не знал, чего он от меня хочет. Этим утром у нас была длительная деловая встреча, где речь шла только о том, чтобы найти место складирования мехов: следовало обеспечить их охрану, чтобы не наводнить ими рынок и не вызвать падения цен. Был также другой предмет для беспокойства: Германия как будто не оставалась в стороне и, по слухам, готова была в течение последующих пяти лет приобрести все советские шкуры. Во время этого делового совещания Броницкий не сказал мне ни слова по поводу своего несколько торжественного приглашения. "Ждите меня в четыре часа в княжеской гостиной" — вот все, что довольно сухо сказал он мне под конец.

Когда дверь открылась и появился Броницкий, я сразу заметил, что он уже слегка "под парами", как тактично говорят в Польше — pod wplywem. Ему случалось выпивать после еды полбутылки коньяку.

— Думаю, настал момент поговорить с вами откровенно и без обиняков, месье Флёри.

Впервые он сказал мне "месье" и назвал по фамилии, сделав на "Флёри" ударение, которое

показалось мне странным.

— Мне все известно о ваших отношениях с моей дочерью. Вы ее любовник. — Он поднял руку. — Нет, нет, не отрицайте, это бесполезно. Я уверен, что вы молодой человек, имеющий чувство чести и сознание налагаемых им обязательств. Я полагаю, что у вас честные намерения. Я хочу только в этом убедиться.

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Я смог пролепетать только:

— Я действительно хочу жениться на Лиле, сударь.

Остальное, где путалось “счастливейший из людей” и “смысл моей жизни”, выразилось бормотанием.

Броницкий смерил меня взглядом, выпятив подбородок.

— Однако я считал вас человеком чести, месье Флёри, — бросил он мне.

Я не понимал.

— Я полагал, как я вам говорил, что у вас честные намерения. Вижу с сожалением, что они не таковы.

— Но…

— То, что вы спите с моей дочерью, является… как бы сказать?.. Является неким развлечением

без последствий. В нашей семье мы не требуем от наших женщин святости, нам достаточно гордости. Но не может быть и речи о браке моей дочери с вами, месье Флёри. Я уверен, что вас ждет блестящее будущее, но, принимая во внимание имя, которое она носит, у моей дочери есть все возможности выйти за человека королевской крови, и она регулярно получает, как вам известно, приглашения ко двору Англии и ко двору Дании, Люксембурга и Норвегии…

Это была правда. Я сам видел, как эти гравированные карточки раскладываются на мраморном столе в холле. Но речь почти всегда шла о приемах, где приглашенные насчитываются сотнями. Лила объясняла мне: “Это все из-за этого проклятого «коридора». Наш замок находится, так сказать, в центре проблемы, и все эти приглашения скорее политические, чем личные”. А Тад по поводу этих отголосков далекого праздника ворчал: “Затонувший лес…” Это было название стихотворения Вальдена, который рассказывает историю затопленного леса, где каждую ночь продолжают звучать песни исчезнувших птиц.

Я старался подавить гнев и проявить ту английскую выдержку, которой так восхищался в романах Киплинга и Конан Дойла. Меня еще и

сейчас удивляет, сколько мелочности и пустоты было в мечтах о величии Стаса Броницкого. Он стоял передо мной со стаканом виски в руке, высоко подняв брови над голубыми и слегка остекленевшими глазами “человека под парами”. Может быть, в основе всего этого была какая-то смертельная тоска, которую ничто не могло побороть.

— Как угодно, сударь, — сказал я ему.

Я поклонился и вышел из зала. Спускаясь по большой торжественной лестнице — было впечатление, что двигаешься вниз не по мраморным ступеням, а по векам, — я начал страстно желать войны, которая действительно будет концом света и стряхнет всех этих высших обезьян с верхних ветвей их генеалогических древ. Я ничего не сказал Лиле об этом разговоре — хотел избавить ее от стыда и слез; я обсудил его с Тадом, улыбнувшимся той тонкой улыбкой, которая была для него чем-то вроде оружия для безоружного. Три года спустя мы нашли в кармане убитого эсэсовца ставшую знаменитой фотографию участника Сопротивления — со связанными руками, спиной к стене, лицом к расстрельной команде, — и на лице у этого погибающего француза моя память тут же опознала улыбку Тада. Он воздержался от

комментариев, настолько, видимо, позиция отца казалась ему естественной и неизбежной для общества, цепляющегося, как за спасательный круг, за груз прошлого, тянущий его ко дну; но он рассказал сестре. Я узнал, что Лила побежала в кабинет отца и назвала его сутенером; я был тронут, но, на мой взгляд, в рассказе Тада об этой сцене показательно было напоминание Лилы Стасу Броницкому, что, по местным слухам, сам он внебрачный ребенок, сын конюха. Мне не могла не казаться забавной мысль, что моя подруга даже в своем эгалитарном возмущении увидела в "сыне конюха" худшее из оскорблений. Короче, я учился иронии и не знаю, было ли это влияние Тада или с наступлением зрелости я начинал вооружаться для жизни.

В результате этого разговора Лила начала "мечтать о себе" совсем по-иному, чем привела Тада в восторг: она приходила в мою комнату с охапкой "подрывной литературы", которую до сих пор брат напрасно пытался заставить ее читать. Моя кровать была завалена памфлетами, подпольно отпечатанными "учебной группой" Тада; свернувшись под балдахином, где некогда покоились князья, подняв колени к подбородку, она читала Бакунина, Кропоткина и некоего Грамши, ко-

торым безоговорочно восхищался ее брат. Она расспрашивала меня о Народном фронте, известном мне только по воздушному змею “Леон Блюм” — дядя хранил его в углу мастерской. Неожиданно она захотела знать все о гражданской войне в Испании и о Пасионарии, чье имя произносила с живым интересом, потому что при ее новой манере “искать себя”, говорила она мне, здесь могла быть возможность. Она курила сигарету за сигаретой и тушила их с яростной решимостью в серебряных пепельницах, которые я ей протягивал. Я был чувствителен к этому способу успокоить меня, показать мне свою нежность и, быть может, любить меня: я подозревал, что в ее неожиданной революционной вспышке больше игры чувств, чем какой бы то ни было убежденности. Кончалось все тем, что мы скидывали книги и памфлеты на ковер и искали прибежища в страсти, гораздо менее теоретической. Я знал также, что мое упрощенное представление о вещах (я представлял себя сельским почтальоном, возвращающимся каждый вечер к Лиле и нашим многочисленным детям) происходит от той самой комической наивности, которая некогда заставляла наших светских посетителей так смеяться над “чокнутым почтальоном”

и его инфантильными воздушными змеями. Я узнавал в этом присутствие какой-то изначальной и неискоренимой жилки предков, совсем не соответствовавшей тому, чего могла ожидать Лила от человека, с которым свяжет свою судьбу. Однажды ночью я робко спросил у нее:

— А если бы я закончил Политехническую школу первым, тогда…

— Что?

Я замолчал. Речь шла не о том, что я собираюсь сделать со своей жизнью, а что женщина сделает с моей. И я не понимал, что у моей подруги было предчувствие совсем другого “меня” и совсем других “нас” в том мире, чье наступление она неясно ощущала, когда, прячась в моих объятиях, шептала, что “будет землетрясение”.

Эскадроны кавалеристов с саблями и знаменами с песней проехали через Гродек, отправляясь занимать позиции на немецкой границе.

Говорили, что видный офицер французского Генерального штаба приехал для инспекции укреплений Хелма и провозгласил их “достойными в некоторых отношениях нашей линии Мажино”.

Почти каждую неделю Ханс фон Шведе тайно пересекал запретную границу на своем красивом

сером коне, чтобы провести несколько дней с кузенами. Я знал, что он рискует карьерой и даже жизнью, чтобы увидеть Лилу. Он рассказал нам, что караульные стреляли в него, один раз с польской стороны, другой — с немецкой. Я с трудом переносил его присутствие и еще хуже — дружеское отношение к нему Лилы. Они совершали в лесу долгие прогулки верхом. Я не понимал этого аристократического братания во время драки: мне казалось, что это отсутствие принципов. Я шел в музыкальный салон, где Бруно целыми днями упражнялся за роялем. Он готовился к поездке в Англию, так как был приглашен на Шопеновский конкурс в Эдинбурге. Англия тоже старалась в эти гибельные дни оказать Польше поддержку своей спокойной мощью.

— Не понимаю, как Броницкие принимают у себя человека, который вот-вот будет офицером во вражеской армии, — говорил я ему, бросаясь в кресло.

— Стать врагами всегда успеется, старик.

— Ты, Бруно, когда-нибудь помрешь от доброты, терпимости и кротости.

— Ну что ж, в общем, это неплохая смерть.

Мне не суждено было забыть эту минуту. Не суждено забыть эти длинные пальцы на клави-

шах, это нежное лицо под спутанными волосами. Когда судьба сдала свои карты, ничто не предвещало того, что случится: видно, карта Бруно выпала из другой колоды. Судьба иногда играет с закрытыми глазами.

Глава XVIII

Лето начинало выдыхаться. Было все время облачно и туманно; солнце едва появлялось на горизонте; сосны больше молчали, их ветви пропитались морской сыростью. Наступило время безветрия в предвидении бурь равноденствия. Появились бабочки, которых мы раньше не видели, — бархатисто-коричневые и темные, крупнее и тяжелее летних бабочек. Лила лежала в моих объятиях, и никогда еще я не ощущал с такой силой своего присутствия в ее молчании.

— Будет о чем вспомнить, — говорила она.

Во всем времени суток худшим врагом для меня были пять часов вечера, потому что воздух становился слишком холодным и песок слишком влажным. Надо было вставать, расставаться, разделяться надвое. Была еще последняя хорошая минута, когда Лила натягивала на нас одеяло и немного сильнее прижималась ко мне, чтобы было теплее. К половине шестого море сразу старело, его голос казался более ворчливым, более недовольным. Тени накрывали нас взмахами своих туманных крыльев. Последнее объятие, пока

голос Лилы не замрет на ее губах, полуоткрытых и неподвижных; ее расширившиеся глаза застывали; ее сердце медленно успокаивалось у меня на груди. Я был еще настолько глуп, чтобы чувствовать себя при этом творцом, гордым своей силой. Это чванство исчезло, когда я понял, что моя любовь к Лиле не может ни примириться с какими бы то ни было рамками, ни ограничиться сексом и что ощущение нераздельности постоянно растет, в то время как все остальное съеживается.

— Что с тобой будет, когда мы расстанемся, Людо?

— Я сдохну.

— Не говори глупостей.

— Я буду подыхать пятьдесят, восемьдесят лет, не знаю. Флёри живут долго, так что можешь быть спокойна: я буду думать о тебе, даже когда ты меня покинешь.

Я не сомневался, что сохраню ее, и не знал еще, насколько смехотворной была подоплека моей уверенности. В этой вере в собственную мужественность отражалась вся наивная гордыня моих восемнадцати лет. Каждый раз, как я слышал ее стон, я говорил себе, что это моя заслуга и что никто не может сделать лучше. Конечно, это

были последние проявления моей подростковой наивности.

— Не знаю, надо ли мне и дальше быть с тобой, Людо. Я хочу остаться собой.

Я молчал. Пусть она продолжает “искать себя” — она найдет только меня. Вокруг нас сгущалась тьма; крики чаек доносились издалека и походили уже на воспоминания.

— Ты не права, дорогая. Мое будущее обеспечено. Благодаря престижу дяди я почти уверен, что получу хорошее место в почтовом ведомстве в Клери и ты сможешь наконец узнать настоящую жизнь.

Она засмеялась:

— Так, теперь в ход пошла классовая борьба. Дело совсем не в этом, Людо.

— А в чем дело? В Хансе?

— Не будь вульгарным.

— Ты меня любишь? Да или нет?

— Я тебя люблю, но это еще не все. Я не хочу стать твоей половиной. Знаешь это ужасное выражение? “Где моя половина?” “Вы не видели мою половину?” Я хочу, встретив тебя через пять, через десять лет, почувствовать удар в сердце. Но если ты будешь возвращаться домой каждый вечер из года в год, удара в сердце не будет, будут

только звонки в дверь…

Она откинула одеяло и встала. Иногда мне еще случается спрашивать себя, что сталось с этим старым одеялом из Закопане. Я оставил его там, потому что мы должны были вернуться, но мы не вернулись.

Глава XIX

Двадцать седьмого июля, за десять дней до моего отъезда, специальный поезд привез из Варшавы Генусю Броницкую в сопровождении командующего Польскими вооруженными силами — самого маршала Рыдз-Смиглы, человека с выбритым черепом и свирепыми густыми бровями; он проводил все свое время за мольбертом, рисуя тонкие нежные акварели. То был пресловутый “уикенд доверия”, событие, которое восхваляли все газеты: следовало продемонстрировать миру спокойствие, с каким главнокомандующий смотрит в будущее, в то время как из Берлина доносились истерические вопли Гитлера. Фотография маршала, мирно сидящего посреди “коридора” и рисующего свои акварели, была перепечатана с восхищенными комментариями английской и французской прессой. Среди прочих гостей, привезенных Генусей из Варшавы, были: знаменитая ясновидящая, актер, которого нам представили как “величайшего Гамлета всех времен”, и молодой писатель, первый роман которого вот-вот должны были перевести на все

языки мира. Ясновидящую попросили прочесть в хрустальном шаре наше будущее, что она и сделала, но отказалась сообщить результаты, ибо, принимая во внимание нашу молодость, было бы губительно побудить нас к пассивности, открыв нам уже полностью вычерченную для нас дорогу в жизни. Зато она без колебаний предсказала маршалу Рыдз-Смиглы победу польской армии над гитлеровской гидрой, сопроводив это предсказание несколько туманным замечанием: “Но в конце концов все кончится хорошо”. Ханс, приехавший в замок накануне, скромно оставался в своей комнате на протяжении всего “уикенда доверия”, как его называла пресса. Маршал уехал поездом в тот же вечер в компании “величайшего Гамлета всех времен”, после того как по окончании обеда этот последний прочел нам с неподдельной искренностью “Быть или не быть” из знаменитого монолога, что, будучи очень уместным, довольно плохо согласовалось с духом оптимизма, который должен был проявлять каждый. Что касается молодого автора, то он сидел среди нас с отрешенным видом, рассматривая свои ногти и порой улыбаясь чуть снисходительно, когда Генуся пыталась поговорить о литературе: это была священная область,

которую он не собирался опошлять банальностью светских высказываний. Через день он исчез: его выпроводили рано утром после “инцидента”, имевшего место в парной бане для слуг. Конкретное содержание “инцидента” обходили молчанием, но в результате писателю подбили глаз, а между садовником Валентием и госпожой Броницкой состоялся неприятный разговор, во время которого Генуся пробовала объяснить садовнику, что “таланту следует прощать некоторые заблуждения и не сердиться”. Это был несчастный во всех отношениях уикенд, так как обнаружилась пропажа шести золотых тарелок, а также миниатюры Беллини и картины Лонги из маленького голубого салона госпожи Броницкой. Сперва подозрение пало на уехавшую накануне ясновидящую, ибо Генуся не могла решиться обвинить литературу. Можно представить себе мое потрясение, когда в понедельник вечером, открыв шкаф, чтобы взять рубашку, я обнаружил в нем картину Лонги, миниатюру Беллини и шесть золотых тарелок в шляпной картонке. С минуту я стоял не понимая, но украденные вещи действительно были здесь, в моем шкафу, и причина, по которой их сюда положили, внезапно открылась мне молниеносным откровением

ужаса: кто-то хотел меня обесчестить. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти имя единственного врага, способного строить такие козни, — немец! Гнусный, но ловкий способ избавиться от нормандского мужлана, виновного в непростительном преступлении быть любимым Лилой.

Было семь часов. Я выбежал в коридор. Комната Ханса находилась в западном крыле замка и выходила окнами на море. Помню, что, оказавшись перед его дверью, я странным образом вспомнил о “хороших манерах”, которые усвоил, потершись в свете: должен ли я постучать в дверь или нет? Я подумал, что, учитывая обстоятельства, я могу считать себя на вражеской территории и пренебречь условностями. Я нажал тяжелую бронзовую ручку и вошел. Комната была пуста. Как и моя, она была вся благородство и величие — со стенами, украшенными царственными орлами, с мебелью, где каждое пустое сиденье хранило память о каком-нибудь помещичьем заде, и с копьями польских улан, скрещенными над огнем, пылающим в камине. Я услышал шум душа. Я не решился войти в ванную: это не то место, где можно решить дело чести. Я вернулся к двери, открыл ее и снова шумно захлопнул.

Еще несколько секунд, и вошел Ханс. На нем был черный купальный халат с какой-то эмблемой его военной академии на груди. По его белокурым волосам и по лицу струилась вода.

— Негодяй! — бросил я ему. — Это ты.

Он держал руки в карманах своего халата. Эта невозмутимость, это полное отсутствие волнения выдавали человека, для которого предательство было не только привычным делом, но второй натурой.

— Ты украл вещи и положил их в мой шкаф, чтобы обесчестить меня.

Впервые его лицо приобрело намек на какое-то выражение. Что-то вроде иронического изумления, как если бы он удивился при мысли, что для меня мог стоять вопрос чести. В нем отразилось все пренебрежительное превосходство, наследственное, как сифилис, людей, с рождения имеющих право презирать.

— Я мог бы уложить тебя на месте голыми руками, — сказал я ему. — Но этого недостаточно. Жду тебя завтра в одиннадцать вечера в фехтовальном зале.

Я вышел и вернулся к себе, где увидел Марека, камердинера, который пришел забрать мои ботинки: он чистил их утром и вечером. Плотный

парень с напомаженными волосами и чубом, закручивавшимся посреди лба, он был всегда весел, ухаживал за девушками. Убирая мою постель, он, как обычно, разговаривал со мной, прибегая к нескольким несложным словам, которые я, по его мнению, знал. Будучи в Гродеке, я относился подружески к слугам в замке — как и они ко мне, я был всего лишь переодетый крестьянин. Труднее всего победить предрассудки, и благонамеренные предрассудки не менее стойки, чем другие.

Марек взбил подушки, чтобы вернуть им добродушный тучный вид, развернул одеяло и направился к шкафу. Он открыл его и, как бы не обратив никакого внимания на шляпную картонку и ее содержимое — виднелась сверкающая золотая посуда, — взял мою сменную пару обуви. Затем он закрыл шкаф и вышел с моими башмаками в руках.

Теперь мне ничего бы не дало признание госпоже Броницкой о присутствии в моей комнате украденных ценностей, которое я вначале собирался сделать. Марек их видел, и похоже было, что в плане невезения я побил все рекорды.

В восемь часов, когда раздался звонок к ужину, я спустился. Меня обычно сажали справа от графини, из уважения к Франции. Ханс сидел в конце

стола. Мне всегда казалось, что в его лице есть что-то женственное, хотя слово “женоподобный” не подходило. Иногда он смотрел на меня с тенью улыбки. Я был в таком нервном напряжении, что не мог ни пить, ни есть. На столе стояло два больших дубовых канделябра, и игра света и тени то освещала, то затемняла наши лица по воле сквозняка. Тад, которому недавно исполнилось девятнадцать, испытывавший неудобства оттого, что находится на том возрастном распутье, когда мужественность стремится к свершениям, а отрочество еще это воспрещает, говорил о проигранной войне испанских республиканцев против Франко со страстью в голосе, достойной соратников Байрона или Гарибальди. Госпожа Броницкая слушала в замешательстве, играя крошками хлеба на столе. То, что ее сын проявлял такую горячность по отношению к Каталонии, где анархисты плясали на улицах с мумиями вырытых из могилы монашенок, только подтверждало в ее глазах пагубное влияние, которое оказывал на молодежь Пикассо, ибо она не сомневалась, что все ужасы, имевшие место в Испании, более или менее дело его рук. Это началось с сюрреалистов, сказала она нам с видом, который Тад называл “окончательным и бесповоротным”.

Как только ужин кончился, я поцеловал руку Генуси и поднялся к себе. Лила несколько раз взглянула на меня с удивлением, поскольку я еще не научился светскому искусству гримасничать, чтобы скрывать свои чувства, и мне трудно было скрыть свою ярость. Когда я вышел из столовой, она пошла за мной и остановилась у лестницы:

— Что с тобой, Людо?

— Ничего.

— Что я тебе сделала?

— Оставь меня в покое. Есть другие дела, кроме тебя.

Я еще никогда с ней так не говорил. Если бы я был на десять лет старше, я бы плакал от бешенства и унижения. Но я был еще слишком молод: у меня было то понятие о мужественности, которое оставляет слезы женщинам и таким образом лишает мужчину их братской поддержки.

Ее губы слегка вздрогнули. Я сделал ей больно. Мне стало легче. Не так одиноко.

— Извини меня, Лила, у меня тяжело на сердце. Не знаю, есть ли у вас это выражение по-польски.

— Ciezkie serce, — сказала она.

Я поднялся по лестнице. Мне казалось, что я наконец говорил с Лилой на равных. Я обернулся.

Мне почудилось, что у нее немного тревожное выражение лица. Может быть, она боялась меня потерять — у нее действительно было необузданное воображение.

Речь шла не только обо мне: я чувствовал, что оскорблен за весь свой род. Не осталось ни одного Флёри, не запятнанного оскорблением. То, что я являлся для Ханса готовой жертвой, поскольку мое скромное положение могло заставить подозревать меня как естественного виновника, повергало меня в состояние ущемленности и ярости, из-за которого история так часто под метроном ненависти заставляла жертву и палача меняться ролями. Я был во власти лихорадочного возбуждения, и каждая минута казалась мне новым врагом. Время как будто нарочно тянулось медленно, проявляя недоброжелательность ко мне, — старый пыльный аристократ Время, достойный сообщник всех “бывших”.

Думаю, что я обязан Хансу первым настоящим пробуждением у меня общественного сознания.

Глава XX

Без пяти одиннадцать я спустился вниз.

Фехтовальный зал с низким потолком имел пятьдесят метров в длину и десять в ширину. Сквозь штукатурку виднелись кирпичи. Свод был украшен неуместной здесь венецианской люстрой; с одной стороны она была изуродована — там не хватало нескольких ответвлений. Пол покрыт большим потертым карпатским ковром. Доспехи стояли вдоль стен, увешанных пиками и саблями.

Ханс ждал меня на другом конце зала. На нем были белая рубашка и брюки от смокинга. У него в пальцах тлела сигарета — он всегда ходил, держа в руке одну из этих круглых металлических коробок английских сигарет с изображением бородатого моряка. Он был очень спокоен. Конечно, сказал я себе, он знает, что я никогда не держал в руке шпагу. Сам он, как настоящий пруссак, занимался фехтованием с детства.

Я снял куртку и бросил ее на землю. Посмотрел на стены. Я не знал, какое оружие выбрать: мне бы нужна была старая добрая нормандская

дубина. Наконец я взял то, что было под рукой: старую польскую szabelca, саблю, изогнутую по-турецки. Ханс положил коробку “Плейерс” на ковер и пошел в угол потушить сигарету. Я стал под люстрой и ждал, пока он отцеплял со стены другую саблю.

Как часто бывает, когда оказываешься лицом к лицу с человеком, которого давно ненавидишь и которого тысячу раз уничтожал в своем воображении, мой гнев несколько остыл. Действительная сущность противника всегда несколько разочаровывает по сравнению с твоим представлением о нем. И я вдруг понял, что если простою здесь, ничего не предпринимая, еще несколько секунд, то потеряю врага. Мне надо было быстро себя подогреть.

— Только фашист мог придумать такую низость, — сказал я ему. — Ты не можешь смириться с мыслью, что она меня любит. Ты не можешь смириться с тем, что она и я — это на всю жизнь. Как всем фашистам, тебе понадобился свой еврей. Ты взял эти вещи и положил в мой шкаф. Но твой жалкий расчет глуп. Даже если бы я был негодяем, Лила все равно любила бы меня. Ты не знаешь, что это такое — любить кого-нибудь по-настоящему. Это когда не прощаешь ничего и

прощаешь все.

Мне и в голову не могло прийти, что через два года я смогу сказать это о любви к Франции.

Я поднял свое оружие. Я смутно помнил, что надо выдвинуть одну ногу вперед, а другую отставить назад, как в “Скарамуше”, которого я видел в кинотеатре Гродека. Ханс смотрел на меня с интересом. Он смотрел на мою правую ногу, которую я выдвинул вперед, и на левую позади, на саблю, которую я поднял над головой, как топор дровосека. Он держал свою саблю опущенной. Я согнул оба колена и сделал несколько скачков на месте. Я почувствовал, что похож на лягушку. Ханс кусал себе губы, и я понял, что он это делает, чтобы не смеяться. Тогда я издал нечленораздельный крик и кинулся на него. Я был ошеломлен, когда увидел, как из его левой щеки брызнула кровь. Он не двинулся с места и по-прежнему не поднимал свою саблю. Я медленно выпрямлялся, опуская руку. Кровь все сильнее текла по лицу Ханса и заливала его рубашку. Моей первой ясной мыслью было, что я, очевидно, поступил против всех правил дуэли. Мой стыд невежды, которым я вновь стал в своих собственных глазах, был так силен, что перешел в бешенство, и я снова поднял свою саблю, отчаянно крича:

— Вы мне все осточертели!

Ханс поднял саблю одновременно со мной, и в следующую секунду моя szabelca была выбита у меня из рук и взлетела в воздух. Ханс опустил свое оружие и посмотрел на меня, сдвинув брови и сжимая челюсти, не обращая никакого внимания на струящуюся по лицу кровь.

— Идиот! — сказал он. — Проклятый идиот!

Он отбросил свою саблю к стене и повернулся ко мне спиной.

На ковре была кровь.

Ханс поднял коробку “Плейерс” и взял сигарету.

— Напрасно ты поторопился, — сказал он мне. — В любом случае мы скоро встретимся.

Я остался один. И тупо смотрел на следы крови у своих ног. Мне удалось излить свой гнев и возмущение, но вместо них я чувствовал теперь неловкость, от которой мне не удавалось избавиться. В поведении Ханса было достоинство, которое меня беспокоило.

Я понял по-настоящему, что меня смущало, только на следующее утро. Марека задержали с похищенными вещами. Он признался. Он воспользовался присутствием в замке таких малопочтенных в его глазах гостей, как яснови-

дящая и писатель, чтобы обокрасть буфетную и маленькую гостиную госпожи Броницкой; ему помешал вошедший в спальню дворецкий, и он положил коробку в мой шкаф, чтобы забрать ее позже. Но потом ему помешало мое присутствие, и он смог забрать добычу только во время ужина.

Было девять утра, когда Бруно рассказал мне эти новости в столовой, где мы с ним завтракали. Я почувствовал, что цепенею от холода, и забыл, что держу в руке чайник, так что мой чай перелился на скатерть. Никогда еще я не испытывал такой ненависти, и человеком, которого я так страстно ненавидел, был я сам. Я понимал, что, воображая себя жертвой такого низкого коварства со стороны соперника, я сам проявил низость. И все же не могло быть и речи о том, чтобы я пошел к Хансу и принес ему свои извинения. Я предпочитал скорее признать себя мелким человеком, чем унизить себя перед *ними*.

Я не спустился к обеду и около четырех часов дня начал собирать чемодан. Я дошел до того, что почти жалел, что не украл вещи и что меня публично не обвинили в воровстве, это был бы некий агрессивный и почти триумфальный способ порвать со средой, которая не была моей.

Я вышел из своей комнаты только под вечер с намерением уехать как можно скорее. Я не хотел ни видеть, ни благодарить никого, не хотел даже прощаться. Но в коридоре я наткнулся на Тада; он спросил, что я здесь делаю с чемоданом в руке. Он рассказал мне, что с Хансом произошел несчастный случай во время ночной прогулки — в безлунной тьме ветка глубоко порезала ему щеку, — но все-таки какого черта я здесь делаю с чемоданом? Я объяснил ему, что хочу, чтобы меня отвезли на вокзал: в двадцать один десять есть поезд на Варшаву, я собираюсь вернуться во Францию; если вспыхнет война, я не хочу подвергаться риску быть отрезанным от своей страны. В этот момент в другом конце коридора я увидел Ханса, медленно идущего к нам со своей вечной коробкой английских сигарет в руке; его левая щека была прикрыта повязкой. Он остановился рядом с нами, очень бледный, но странно спокойный, бросил взгляд на чемодан, который я держал.

— Я уезжаю сегодня ночью, — сказал он, повернулся на каблуках и удалился.

Глава XXI

Я пробыл в Гродеке еще несколько дней. Сетка дождя затуманила окружающий пейзаж, и небо каркало над нашими головами голосами невидимых ворон. В один из таких ненастных дней, когда мы шли по пляжу, а ветер бросал нам в лицо морские брызги, будущее подало нам знак. Это был еврей, одетый в длинный кафтан, называвшийся по-польски kapota, с высоким черным картузом на голове, который миллионы евреев носили тогда в своих гетто. У него было очень белое лицо и седая борода, и он сидел на километровом столбике на краю Гдыньского шоссе. Возможно, из-за того, что я не ожидал увидеть его здесь, на краю этой пустой дороги, или потому, что в размытом туманном воздухе в его фигуре было что-то призрачное, а может быть, такой вид придавал ему узелок на конце переброшенной через плечо палки, вызывавший у меня в памяти легенду о тысячелетнем странствии, но я вдруг ощутил испуг и беспокойство, чей вещий характер стал мне ясен только гораздо позже; а пока перед нами была одна из самых банальных и,

в общем, самых нормальных комбинаций истории: еврей, дорога и столб. Лила застенчиво сказала ему:

– *Dzien dobry, panu*, добрый день, пан.

Но он не ответил и отвернулся.

— Тад убежден, что мы накануне вторжения, — пробормотала Лила.

— Я в этом ничего не понимаю, но не могу поверить, что может быть война, — сказал я ей.

— Всегда были войны.

— Это было до…

Я хотел сказать: “Это было до того, как я тебя встретил”, но было бы самонадеянно с моей стороны дать такое объяснение природы войн, ненависти и резни. У меня еще не было необходимого веса, чтобы навязывать народам свое понимание событий.

— Современное оружие стало слишком мощным и разрушительным, — сказал я. — Никто не осмелится пустить его в ход, потому что не будет ни победителей, ни побежденных, одни руины…

Я прочитал это в передовице “Тан”, который получали Броницкие.

Я написал Лиле письмо на тридцати страницах, несколько раз переделав его; в конце концов я бросил его в печку, так как это было просто лю-

бовное письмо, мне не удалось придумать ничего большего.

В день моего отъезда, когда туман клубился за окном, как стадо овец, от моего имени с Лилой говорил Бруно.

Мы вошли в гостиную. Я бросил последний взгляд на коллекции бабочек в стеклянных ящиках, занимавшие всю стену. Они напоминали мне воздушных змеев дяди Амбруаза: маленькие обрывки мечты.

Бруно сидел в кресле, листая ноты. Он поднял взгляд и с минуту смотрел на нас, улыбаясь. В его улыбке всегда была одна доброта. Потом он встал и сел за рояль. Уже положив пальцы на клавиши, он повернулся к нам и долго внимательно смотрел на нас, как художник, изучающий свою модель, перед тем как сделать первый штрих карандашом. Он начал играть.

Он импровизировал. Он импровизировал нас. Потому что говорил своей мелодией о Лиле и обо мне, о нашем расставании и о нашей вере. Горе накрывало нас своей черной тенью, а потом все становилось радостным. И мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что Бруно по-братски дарит мне все, что чувствует сам.

Лила убежала, плача. Бруно встал и подошел

ко мне, на фоне больших бледных окон, и обнял меня:

— Я счастлив, что смог поговорить с тобой в последний раз. Что касается меня, то мне действительно ничего больше не остается, кроме музыки… — Он засмеялся. — Разумеется, довольно страшно любить и чувствовать, что все, что ты можешь сделать из своей любви, — еще один концерт. Но все же это дает мне источник вдохновения, который не иссякнет. Мне этого хватит по крайней мере на пятьдесят лет, если пальцы выдержат. Я хорошо представляю себе, как Лила сидит в гостиной в глубокой старости, и вижу, как ей снова делается двадцать лет, когда она слушает, как я говорю о ней.

Он закрыл глаза и на секунду прикрыл их рукой:

— Ладно. Говорят, что есть любовь, которая кончается. Я где-то читал об этом.

Я проводил с Лилой последние часы. Счастье было почти слышно, как если бы слух, расставшись со звуковыми плоскостями, проник наконец в глубины молчания, доселе скрываемые одиночеством. Мгновения дремоты имели ту теплоту, когда мечты смешиваются с реальностью, падение — с воспарением. Я еще чувствую

на своей груди ее профиль, отпечаток которого, конечно, не виден, но мои пальцы легко находят его в тяжелые часы физического недоразумения, когда вместо двух тел остается одно.

Моя память цеплялась к каждому мгновению, копила их; у нас это называется класть в кубышку — здесь было на что прожить целую жизнь.

Глава XXII

Когда я высунулся из окна, подъезжая к Клери, я понял, кто встречает меня на вокзале, как только увидал польского орла, летящего очень высоко над вокзалом, но, присмотревшись внимательнее, заметил, что старому пацифисту удалось придать этой птице, слишком воинственной на его вкус, сходство с красивым двухголовым голубем. Прошло пять недель с тех пор, как мы расстались, но я нашел Амбруаза Флёри озабоченным и постаревшим.

— Ну вот ты и стал светским человеком! Что это такое?

Он дотронулся пальцем до значка яхт-клуба в Гдыне. Мне торжественно вручили его в Гродеке накануне моего отъезда как символ свободного выхода Польши к морю. Никогда еще сомнения и тревога не сопровождались по всей Европе такими массовыми и настойчивыми проявлениями доверия, как в этом августе 1939 года.

— Кажется, вот-вот начнется, — сказал я ему.

— Ничего подобного. Никогда народы не согласятся, чтобы их опять повели на бойню.

Амбруаз Флёри — как всегда, где бы он ни появлялся, его сразу же окружали дети — вернул голубя на землю и взял воздушного змея под мышку. Мы прошли несколько шагов, и дядя открыл дверцу маленького автомобиля.

— Да, — сказал он, видя мое удивление. — Это подарок лорда Хау — помнишь, того, который приезжал к нам когда-то.

Теперь, в шестьдесят три года, он был человеком, уважаемым во всей стране, и его репутация принесла ему орден Академической пальмовой ветви, от которого он, впрочем, отказался.

Как только мы очутились в Ла-Мотт, я побежал в мастерскую. Во время моего отсутствия, потому, конечно, что угроза войны беспокоила его больше, чем он хотел признать, Амбруаз Флёри продолжил свой “гуманистический период” и обогатил его всем, что Франция могла предложить людям, верящим в ее разум. В особенности хорошо, несмотря на их неподвижность, как всегда в закрытом помещении, выглядела серия энциклопедистов, привязанных к балкам.

— Как видишь, я много работал, — сказал мой опекун, не без гордости разглаживая усы. — Время, которое мы сейчас переживаем, заставляет нас порой терять голову, и надо помнить, кто

мы такие.

Но мы не были ни Руссо, ни Дидро, ни Вольтером — мы были Муссолини, Гитлером и Сталиным. Никогда еще воздушные змеи эпохи Просвещения бывшего почтальона Клери не казались мне более смехотворными. Однако я продолжал черпать в своей любви все то ослепление, какое требуется для веры в мудрость людей, а дядя ни минуты не сомневался в том, что войны не будет, как будто его сердце могло самостоятельно восторжествовать над историей.

Однажды ночью, когда я был с Лилой на берегу Балтийского моря, я почувствовал, что меня тянут за руку. Амбруаз Флёри, одетый в длинную рубаху, придававшую его телу полноту, сидел у меня на кровати со свечой в руке. В его глазах было больше скорби, чем может вместить человеческий взгляд.

— Они объявили всеобщую мобилизацию. Но, конечно, мобилизация не война.

— Конечно нет, — сказал я ему и, еще не совсем проснувшись, добавил: — Броницкие должны вернуться во Францию на Рождество.

Дядя поднял свечу, чтобы лучше видеть мое лицо.

— Говорят, что любовь слепа, но что касается

тебя — кто знает, слепота может быть зрячей…

В часы, которые предшествовали вторжению в Польшу, я с беспечной глупостью играл свою роль в балете индюков, разыгрывавшемся по всей стране. Шло соревнование, кто выше поднимет ногу в воображаемом пинке под зад немцам, некий френч-канкан на балу у Сатаны, исполнявшийся от Пиренеев до линии Мажино. Польша выстоит! — вопили газеты и радио, и я знал со счастливой уверенностью, что вокруг Лилы стали стеной самые отважные воины в мире, я вспоминал о кавалерийских батальонах, проходивших через Гродек с песнями, саблями и знаменами. Историческая память поляков, говорил я дяде, — это неисчерпаемый источник мужества, чести и верности; и, поворачивая рычажок нашего старого радиоприемника, я с нетерпением ждал начала военных действий и первых вестей о победе, раздражаясь, когда комментаторы говорили о “последних попытках сохранить мир”. Я провожал на вокзал моих мобилизованных старших товарищей, пел вместе с ними “Марсельезу”, смотрел со слезами на глазах, как иностранцы пожимают друг другу руки на улице, крича: “Да здравствует Польша!”; слушал, как наш старый кюре, отец Ташен, возглашает с кафедры, что

“языческая Германия рухнет, как высохшее гнилое дерево”; ходил любоваться моим школьным учителем, месье Ледюком, который надел свою небесно-голубую форму и прицепил награды, чтобы напомнить молодежи образ непобедимого воина 14–18 годов, залога нашей новой победы. Я почти не видел дядю, запиравшегося у себя в комнате, а когда стучался в его дверь, то слышал: “Оставь меня в покое и иди валять дурака с другими, сопляк!”

Третьего сентября я сидел у пустого камина, почерневшего от былого огня. Я услышал странный треск, доносившийся из мастерской: он совсем не был похож на шум, который я слышал, когда дядя работал. Я встал, чувствуя смутное беспокойство, и перешел двор.

Всюду валялись обломки и лоскуты сломанных воздушных змеев. Амбруаз Флёри держал в руках своего дорогого “Монтеня”; точным ударом он сломал его о колено. Я увидел среди груды сломанных змеев несколько самых удачных из наших произведений, например дядиных любимцев “Жан-Жака Руссо” и “Свободу, озаряющую мир”. Он не пощадил даже работы “наивного периода”, всех этих “Стрекоз” и “Детские Сны”, которые так часто дарили небу свою невинность.

Амбруаз Флёри уже разломал на куски добрую треть коллекции. Я еще никогда не видел на его лице такого отчаяния.

— Война объявлена, — сказал он мне сдавленным голосом.

Он сорвал со стены своего “Жореса” и раздавил его каблуком. Я бросился, схватил дядю в охапку и вытолкал за дверь. Я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Я знал только одно: надо спасти оставшихся воздушных змеев.

Глава XXIII

Первые известия о разгроме Польши повергли меня в состояние шока, о котором я сохранил лишь одно воспоминание. Дядя сидит у меня на кровати, положив руку мне на колено. Радио только что сообщило, что весь район Гродека на берегу Балтийского моря разрушен бомбами. Броненосец “Шлезвиг-Гольштейн” без всякого объявления войны неожиданно открыл по нему огонь из всех орудий. Приводилась одна историческая подробность этого славного деяния немецкого флота: вышеозначенный военный корабль, замаскированный под учебное судно, несколько дней назад просил у польских властей разрешения бросить якорь для “визита вежливости”.

— Не плачь, Людо. Горе скоро будет у миллионов людей. Понятно, что в твоем сердце оно говорит с тобой только одним голосом. Но раз ты так силен в математике, ты должен подумать немного об этом законе больших чисел. Я понимаю, что сейчас ты не способен считать дальше двух. И потом, кто знает…

И он сказал, устремив взгляд в какие-то неведомые глубины надежды, поскольку был одним из сумасшедших Флёри, для которых права человека заключаются в том, чтобы отказать слишком ужасной реальности в праве на существование:

— Может статься, что эта война закончится через несколько дней. Европейцы слишком стары и слишком много страдали, чтобы дать себя принудить продолжать эту подлость. Немецкий народ сметет Гитлера. Надо доверять немецкому народу так же, как другим народам.

Я приподнялся на локте.

— Воздушные змеи всех стран, соединяйтесь! — сказал я.

Амбруаза Флёри не обидел мой сарказм. И я знал лучше, чем кто бы то ни было, что есть вещи, которые нельзя сломать в человеческом сердце, потому что они вне досягаемости.

Я побежал на призывной пункт. Мой пульс бился со скоростью сто двадцать в минуту, и меня признали негодным к службе. Я попытался объяснить, что дело не в каком-то органическом недуге, а в любви и горе, но это лишь сделало взгляд военного врача более строгим. Я бродил по деревне, возмущаясь безмятежностью полей и лесов, и никогда еще природа не казалась мне

такой далекой от человека. Единственные вести о Лиле, доходившие до меня, были вести о подавлении целого народа. От тела растерзанной Польши исходила какая-то волнующая женственность.

В Клери на меня бросали странные взгляды. Согласно молве, меня признали негодным к воинской службе, потому что у меня, как у всех Флёри, с головой не все в порядке. “У них это в роду”. Я начинал понимать, что то, что я чувствую, не является, так сказать, расхожей монетой и что для нормальных людей любовь — не цель жизни, а только ее небольшой барыш.

Наконец наступил момент, когда Амбруаз Флёри, человек, посвятивший жизнь воздушным змеям, серьезно встревожился. Во время ужина под висящей над нашими головами масляной лампой он сказал мне:

— Людо, так продолжаться не может. Люди видят, как ты идешь по улице и разговариваешь с женщиной, которой нет. В конце концов тебя упрячут в сумасшедший дом.

— Хорошо, пусть нас упрячут. Она будет со мной и на воле, и взаперти.

— Черт возьми, — сказал дядя, он в первый раз говорил со мной на языке здравого смысла.

Я думаю, именно для того, чтобы вернуть меня

на землю, он попросил Марселена Дюпра заняться мной. Я так никогда и не узнал, что сказали друг другу эти двое, но хозяин “Прелестного уголка” предложил мне сопровождать его каждое утро во время обходов рынков и ферм и иногда бросал на меня острый взгляд, как бы желая удостовериться, что славная реальность добротных продуктов нормандской земли оказывает на мое состояние желаемый целительный эффект, поскольку по своей природе является мощным противоядием против заблуждений разума.

В эти зимние месяцы 1940 года, когда война ограничивалась действиями отдельных частей и патрулей и “время работало на нас”, надо было занимать столик в ресторане за несколько недель — “выставить свою кандидатуру”, по выражению князя гастрономов Курнонски. Каждый вечер после закрытия Марселен Дюпра с удовлетворением перелистывал толстый том в красной коже, который держал в своем столе, задерживался на странице, только что пополнившейся новой записью какого-нибудь министра или еще не побежденного военачальника, и говорил мне:

— Вот увидишь, малыш, когда-нибудь золотую книгу “Прелестного уголка” будут изучать, чтобы написать историю Третьей республики.

У него не хватало персонала: большую часть его помощников и работников призвали в армию, и их заменили старики, которые согласились из солидарности — можно даже сказать, из патриотизма — в эти трудные для страны дни встряхнуться и взяться в “Прелестном уголке” за работу, оставленную много лет назад. Дюпра удалось даже вновь заполучить месье Жана, сомелье, которому скоро должно было стукнуть восемьдесят шесть.

— Я давно уже больше не держу сомелье, — объяснил он мне. — Сомелье всегда навязчивы, если ты понимаешь, что я хочу сказать, и когда они бросаются к клиенту со своей картой вин, это раздражает. Но Жан знает свое дело и еще вполне способен обслужить зал.

Я приезжал на велосипеде каждое утро в шесть часов, и при виде моего осунувшегося и растерянного лица Марселен ворчал:

— Ну, пошли со мной, это вернет тебя на землю.

Я занимал место в грузовичке и разъезжал по окрестностям и рынкам, где Дюпра производил осмотр овощей: он подносил к уху гороховые стручки, чтобы услышать, “стрекочут ли они, как кузнечики”, то есть потрескивают ли, смот-

рел, бархатиста ли фасоль, выбирал по ее “цвету лица” “черную” фасоль, “итальянскую” или “китайскую” и решал, достойна ли цветная капуста “фигурировать”. Дюпра подавал овощи целиком, “гордыми”, как он говорил, питая отвращение к пюре, как раз входившим в моду, как если бы у Франции было предчувствие того, что ее ожидает.

— Сейчас из всего делают пюре, — брюзжал он. — Пюре из сельдерея, пюре из брокколи, из кресс-салата, лука, гороха, укропа… Франция теряет уважение к овощам. Знаешь, что она предвещает, эта мания пюре, мой маленький Людо? Месиво, вот что она предвещает. Мы все там будем, вот увидишь.

Но более всего королевская требовательность Марселена Дюпра проявлялась у мясников, особенно когда речь шла о его любимых нормандских рубцах. Я видел, как он побледнел от гнева, заподозрив месье Дюлена, которого потом расстреляли в 1943 году, в том, что он продал ему потроха от двух разных быков.

— Дюлен, — ревел он, — если ты еще раз проделаешь со мной такую штуку, ты меня больше не увидишь! Вчера ты мне всучил потроха от двух быков, как же их можно приготовить одинаково!

И мне нужна нога от того же самого быка, заруби себе на носу!

Он потешался, когда видел, как мясник предлагает хозяйке телячью лопатку в форме дыни — все круглое и увязанное, приятное глазу:

— Можешь быть уверен, они подсунули внутрь жиру для весу, и если б могли, то затолкали бы туда рога и копыта!

Это “возвращение на землю” под эгидой Марселена Дюпра мне помогло. Я продолжал видеть Лилу, но не столь явственно. Я даже научился смеяться и шутить с людьми, чтобы скрыть ее присутствие. Доктор Гардье был доволен, хотя дядя подозревал, что я просто научился хитрить.

— Я знаю, что ты не излечился и что у таких, как мы, это неизлечимо, — говорил он мне. — Впрочем, это к лучшему. Есть выздоровления, которые разрушают больше, чем болезнь.

Я старался, как мог. Я должен был держаться, сама Лила требовала этого от меня. Если бы я распустился, то обязательно впал бы в отчаяние, что было самым верным способом потерять ее.

“Прелестный уголок” находился чуть в стороне от перекрестка дорог в Нуази и Кан, напротив первых домов поселка Увьер, в глубине садика, где весной и летом вас встречали магнолии, си-

рень и розы. Всюду были белые голуби, которые “успокаивают клиентов”, как говорил Дюпра. “Мои цены не пугают, но все же вид белого голубя умиротворяет. Одно время я держал сизых голубей, но вид сизого голубя у входа в ресторан смущает клиента”. Касса, где мне часто приходилось бывать, скрывалась от постороннего взора в глубине, из тех же соображений.

— Нехорошо, чтобы с первого шага человек начинал думать о счете. Тут нужен такт.

Иногда он облокачивался о кассу во всей своей незапятнанной белизне (“давно пора менять блузу”) и делился со мной своими размышлениями.

— Я держусь, но все вырождается, все вырождается, — жаловался он. — Теперь огонь им мешает, они жалуются на жару. Кухня без огня все равно что женщина без зада. Огонь — наш общий отец, отец всех поваров Франции. Но некоторые теперь переходят на электричество, да еще с таймером. Это все равно что заниматься любовью, глядя на часы, чтобы знать, когда надо кончать.

Я заметил, что вышитая нашивка на его куртке изменилась. Там, где раньше трехцветными буквами было написано: “Марселен Дюпра. «Прелестный уголок». Франция”, теперь стояло: “Марселен Дюпра. Франция”. Соединить “Пре-

лестный уголок” и “Францию” казалось ему, видимо, плеоназмом.

В кухне на каждой кастрюле были буквы “П. У.” и год римскими цифрами. Недруги Дюпра говорили, что он мнит себя потомком Цезаря. Он не выносил, когда говорили “кухонные помещения”.

— От этого множественного числа воняет постоялым двором. Для меня место, где я работаю, называется кухней. Сегодня все хотят умножить.

У входа висела большая карта Франции с изображением продуктов, прославивших каждую провинцию; для Нормандии он выбрал рубец.

— В конце концов, это то, что создало французов и историю Франции.

Цены кусались. Однажды министр Анатоль де Монзи сказал ему:

— Мой дорогой Марселен, когда дегустируешь ваши блюда — это эротика, но когда смотришь на ваши цены — это порнография!

С первых месяцев “странной войны” послышались критические высказывания в адрес Дюпра. Говорили, что в этом постоянном празднике гастрономии в “Прелестном уголке”, в то время как враг у ворот, есть что-то непристойное. Дюпра презрительно пожимал плечами.

— Пуэн держится во Вьене, Дюмен в Солье, Пик в Валансе, мамаша Бразье в Лионе, а я в Клери, — говорил он. — Сейчас, как никогда, каждый должен отдавать всего себя своему делу.

Казалось, это мнение разделял и Амбруаз Флёри, вновь принявшийся за воздушных змеев с жаром, который смахивал на религозное рвение. Он продолжил свою серию “гуманистов”, и “Рабле”, “Эразмы”, “Монтени” и “Руссо” снова взлетали над нормандскими рощами. Я смотрел на сильные дядины руки, прилаживавшие рейки и крылья, бечевку и бумагу для каркаса, в котором уже просматривались черты какой-нибудь бессмертной личности века Просвещения. “Жан-Жак Руссо” был, видимо, его любимцем: подсчитано, что за свою жизнь Амбруаз Флёри сконструировал их более восьмидесяти.

Я чувствовал, что он прав, и Дюпра тоже. Сейчас, как никогда, каждый должен был отдавать всего себя своему делу. Я улыбался, вспоминая детство, когда Лила на чердаке “Гусиной усадьбы” предсказывала наши жизненные пути согласно дарованиям каждого:

— Тад будет великим исследователем, найдет гробницы скифских воинов и храмы ацтеков, Бруно будет так же знаменит, как Менухин и

Рубинштейн, Ханс захватит власть в Германии и убьет Гитлера, а ты…

Она серьезно смотрела на меня.

— Ты будешь любить меня, — проговорила она, и я еще ощущал на своей щеке поцелуй, которым она сопроводила это открытие смысла моего существования.

Я объявил дяде, что больше не пойду к Дюпра.

— Я поеду в Париж. Там легче получить известия, чем здесь. Может быть, я попытаюсь попасть в Польшу.

— Польши больше нет, — сказал Амбруаз Флёри.

— Тем не менее во Франции формируется новая польская армия. Я уверен, что мне удастся что-то узнать. Я надеюсь.

Дядя опустил глаза:

— Что я могу тебе сказать? Поезжай. Нас всегда ведет надежда. Надежда — живучая тварь.

Когда я вернулся, чтобы попрощаться с ним, мы долго молчали; сидя на своей скамейке в старом кожаном фартуке, с инструментами в руках, он походил на всех старых добрых ремесленников французской истории.

— Можно взять один на память? — спросил я.

— Выбирай.

Я огляделся. Мастерская имела двадцать пять метров в длину и десять в ширину, и при виде сотен воздушных змеев на ум приходило одно слово: россыпи. Они были слишком велики, и их легче было хранить в памяти, чем в чемодане. Я взял один совсем маленький, “Стрекозу” с перламутровыми крыльями.

Глава XXIV

Я приехал в Париж с пятьюстами франками в кармане и долго бродил по чужому мне городу в поисках жилья. Я нашел комнату за пятьдесят франков в месяц над дансингом, на улице Кардинала Лемуана.

— Я уступаю вам в цене из-за шума, — сказал хозяин.

Польские солдаты и офицеры, которым удалось попасть во Францию через Румынию и которых встречали немного свысока, устало отвечали на мои вопросы: среди них нет Броницких, надо обратиться в Генеральный штаб польской армии, которая формируется в Коеткидане. Я ходил туда каждый день — штаб был на улице Сольферино, — меня вежливо выпроваживали. Я предпринял новые шаги через посольства Швеции, Швейцарии и через Красный Крест. Мне пришлось съехать с квартиры, дав хозяину по морде, — он заявил, что с Гитлером надо договориться: “Надо признать, что это вождь, нам нужен такой человек”.

Его жена вызвала полицию, но я успел убежать

раньше и нашел пристанище в меблированной комнате на улице Лепик. Гостиницей пользовались проститутки. Хозяйка была высокая худая женщина, с крашеными черными волосами и с жестким прямым взглядом, который, казалось, прощупывал меня, изучал, даже обыскивал.

Ее звали Жюли Эспиноза.

Я проводил время, лежа в своей комнате, освобождая Польшу и сжимая Лилу в объятиях на берегу Балтийского моря.

Пришел день, когда у меня не стало больше денег, чтобы платить за комнату. Вместо того чтобы вышвырнуть меня вон, хозяйка каждый день приглашала меня поесть с ней на кухне. Она говорила о том о сем, не задавала ни одного вопроса и внимательно наблюдала за мной, гладя своего пекинеса Чонга, маленькую собачку с черной мордочкой и бело-коричневой шерстью, всегда лежавшую у нее на коленях. Я чувствовал себя неловко под этим непреклонным взглядом; ее глаза, казалось, были всегда настороже; ресницы напоминали длинные костлявые пальцы, тянущиеся из глубины веков. Я узнал, что у госпожи Эспиносы есть дочь, которая училась за границей.

— В Хайдельберге, в Германии, — сообщила она

мне почти торжествующим тоном. — Видишь, Людо, я поняла, к чему идет дело. Поняла после Мюнхенского соглашения. У девочки есть диплом, который очень пригодится, когда придут немцы.

— Но…

Я хотел сказать: “Ваша дочь еврейка, как и вы, мадам Жюли”, она не дала мне договорить.

— Да, я знаю, но у нее самые что ни на есть арийские документы, — заявила она, положив руку на Чонга, свернувшегося клубком у нее на коленях. — Я все устроила, и у нее хорошая фамилия. На этот раз они нас так просто не возьмут, можешь мне поверить. Во всяком случае, только не меня. У нас за плечами тысячи лет выучки и опыта. Есть такие, которые забыли или думают, что с этим покончено и что теперь цивилизация — в газетах это называется права человека, — но я их знаю, ваши права человека. Это как с розами. Хорошо пахнет, и больше ничего.

Жюли Эспиноза несколько лет была помощницей хозяйки в “заведениях” Будапешта и Берлина и говорила по-венгерски и по-немецки. Я заметил, что она всегда носит на платье одну и ту же брошку, маленькую золотую ящерицу, которой, видимо, очень дорожит. Когда она была озабоче-

на, ее пальцы всегда играли этой брошкой.

— Ваша ящерица очень красива, — сказал я однажды.

— Красива или некрасива, ящерица — это животное, которое живет с незапамятных времен и умеет, как никто, скользить между камней.

У нее был почти мужской голос, и когда она сердилась, то ругалась как извозчик, — говорят "как извозчик", но я никогда не слышал у себя в деревне, чтобы кто-нибудь употреблял такие слова, — и грубость ее высказываний была такова, что в конце концов это стало смущать саму мадам Жюли. Однажды вечером она замолчала, произнеся скромное "дерьмо сраное" в сопровождении других слов, которые я предпочитаю не приводить из уважения к той, кому я стольким обязан, прервала свою негодующую речь, касающуюся каких-то неприятностей с полицией в гостинице, и начала размышлять:

— Все-таки это странно. Это со мной бывает только по-французски. Никогда такого не бывало на венгерском или немецком. Может, мне не хватало словарного запаса. И потом, в Буде и в Берлине клиенты были другие. Приличные люди. Они часто заходили в смокинге, даже во фраке, после оперы или театра, и целовали руку. А здесь

одно дерьмо.

Она задумалась.

— Нет, так не пойдет, — решительно объявила она. — Я не смогу себе позволить быть вульгарной.

И закончила загадочной фразой, которая, по-видимому, нечаянно у нее вырвалась, так как она еще не полностью доверяла мне:

— Это вопрос жизни и смерти.

Она взяла со стола свою пачку “Голуаз” и вышла, оставив меня в большом недоумении, я не видел, каким образом грубая речь может представлять для нее такую опасность.

Мое недоумение сменилось изумлением, когда эта уже немолодая женщина начала брать уроки хороших манер. Старая барышня, бывшая директриса девичьего пансиона, стала приходить два раза в неделю, чтобы помочь ей приобрести то, что она называла “благовоспитанностью” — слово, вызывавшее в моей памяти худшие воспоминания о моих унижениях в Гродеке: дело с украденными ценностями, отношения с Хансом и торжественную позу Стаса Броницкого, когда этот, выражаясь языком мадам Жюли, сукин сын, полностью соглашаясь на то, чтобы я был любовником его дочери, предложил мне отказаться от

сумасшедшей надежды жениться на Лиле ввиду моего низкого происхождения и недосягаемого величия фамилии Броницких. Мое раздражение усилилось, когда я услышал, как наставница объясняет мадам Жюли, что она понимает под “благовоспитанностью”:

— Видите ли, дело не в том, чтобы приобрести манеры, отличающиеся от манер низших слоев общества. Наоборот, прежде всего это не должно казаться приобретенным. Надо, чтобы это имело естественный вид, в некотором роде врожденный…

Меня возмущала любезная улыбка, с которой мадам Жюли принимала эти наставления, — она, так часто осыпавшая бранью клиента за то, что он “позволял себе”. Она не проявляла ни малейшего нетерпения и подчинялась. Я заставал ее держащей карандаш то зубами, то губами и декламирующей басню Лафонтена, делая перерывы, чтобы проводить очередную пару, что происходило часто, так как каждая из девиц с легкостью принимала по пятнадцать — двадцать клиентов в день.

— Выходит, что у меня простонародный выговор, — объяснила она мне. — Ну да, площадь Пигаль. Эта старая саранча называет это “народ-

ный говор” и прописала мне упражнения, чтобы от него избавиться. Я знаю, что у меня дурацкий вид, но что ты хочешь: раз надо — значит, надо.

— Почему вы так стараетесь, мадам Жюли? Это меня не касается, но…

— Есть причины.

Походка тоже причиняла ей много забот.

— Хожу как мужик, — признавала она.

Она тяжело переваливалась с ноги на ногу, это сопровождалось покачиванием плеч и приподнятых рук с оттопыренными локтями — походка, в которой действительно не было ничего женского, она напоминала движения профессиональных борцов на ринге. Мадемуазель де Фюльбияк очень сокрушалась:

— Вы не можете так ходить в обществе!

В результате я наблюдал хозяйку осторожно перемещающейся из одного конца гостиной в другой с тремя-четырьмя книгами на голове.

— Держитесь прямо, мадам, — приказывала мадемуазель де Фюльбияк, отец которой был морским офицером. — И прошу вас, не держите все время во рту окурок, это выглядит очень некрасиво.

— Вот дерьмо, — говорила мадам Жюли, когда пирамида книг шумно рушилась. И тут же добав-

ляла: — Мне надо отучиться ругаться. Это может вдруг вылезти в самый неподходящий момент. Я столько раз в жизни говорила “дерьмо”, что это стало второй натурой.

У нее была “не наша” внешность, на что несколько раз указывала мадемуазель де Фюльбияк; она казалась мне немного похожей на цыганку. Много лет спустя, когда я приобрел некоторые познания в области искусства, я понял, что черты Жюли Эспинозы напоминали женские лица на византийских мозаиках и изображения на саркофагах в пустыне Сахара. Во всяком случае, это лицо напоминало об очень древних временах.

Однажды, войдя в контору, где клиенты оплачивали комнату, перед тем как подняться наверх с девицей, я обнаружил Жюли сидящей за стойкой с раскрытым учебником истории в руке. Закрыв глаза и держа палец на книжной странице, она читала наизусть, словно зубря урок:

— Таким образом, можно сказать, что адмирал Хорти стал регентом Венгрии вопреки своей воле… Его популярность, значительная уже в… — она заглянула в учебник, — значительная уже в семнадцатом году, после битвы при Отранто, так возросла после того, как он разгромил в де-

вятнадцатом большевистскую революцию Белы Куна, что ему оставалось лишь склониться перед волей народа…

Она заметила мое удивление.

— Ну и что?

— Ничего, мадам Жюли.

— Не обращай внимания.

Она поиграла кончиками пальцев со своей золотой ящерицей, потом смягчилась и спокойно добавила:

— Тренируюсь к приходу немцев.

Уверенный тон, с каким она говорила о немыслимом, то есть о том, что Франция может проиграть войну, вывел меня из себя, и я вышел, хлопнув дверью.

Какое-то время я думал, что мадам Жюли старается ради того, чтобы открыть “первоклассное” заведение, но потом вспомнил, что она еврейка, и не мог понять, как она собирается осуществить этот блистательный замысел, если нацисты выиграют войну, в чем она так уверена.

— Вы собираетесь укрыться в Португалии?

Легкий темный пушок над ее губой презрительно дрогнул.

— Я не из тех, кто скрывается.

Она раздавила свою сигарету, глядя мне прямо

в глаза:

— Но они мою шкуру не получат, это я тебе говорю.

Меня сбивала с толку эта смесь мужества и пораженчества. Кроме того, я был слишком молод, чтобы понять такое стремление выжить. В моем состоянии тревоги и эмоционального голода жизнь не казалась заслуживающей подобной привязанности.

Жюли Эспиноза продолжала наблюдать за мной. Можно было подумать, что она судит меня и готовится вынести приговор.

Однажды мне приснилось, что я стою на крыше, а мадам Жюли — внизу, на тротуаре, подняв глаза и ожидая моего прыжка, чтобы подхватить меня. Наконец настал момент, когда, сидя на кухне напротив нее, я закрыл лицо руками и разразился рыданиями. Потом она слушала меня до двух часов ночи под шум биде, который практически не прекращался в гостинице “Пассаж”.

— Нельзя же быть таким идиотом, — пробормотала она, когда я поделился с ней своим намерением во что бы то ни стало попасть в Польшу. — Просто не могу понять, как это тебя не взяли в армию, раз ты такой идиот.

— Меня признали негодным. У меня сердце

бьется слишком сильно.

— Послушай, малыш. Мне шестьдесят лет, но иногда я чувствую себя так, как будто я жила — или пережила, если предпочитаешь, — пять тысяч лет и даже как будто я была здесь еще раньше, когда мир рождался. И потом, не забывай, как меня зовут. Эспиноза. — Она рассмеялась. — Почти как Спиноза, философ, может быть, ты слышал о нем. Я могла бы даже отбросить “Э” и называться “Спиноза”, так много я знаю.

— Почему вы мне это говорите?

— Потому что скоро дело будет так плохо, наступит такая катастрофа, что твоя болячка в ней растворится. Война будет проиграна, и во Францию придут немцы.

Я поставил свой стакан:

— Франция не может проиграть войну. Это невозможно.

Она полузакрыла глаза над своей сигаретой.

— Для французов нет невозможного, — сказала она.

Мадам Жюли встала с пекинесом под мышкой, взяла сумку с бутылочно-зеленого плюшевого кресла, вынула оттуда пачку купюр и снова села:

— Для начала возьми это. Потом будут еще.

Я смотрел на деньги на столе.

— Ну, чего ты ждешь?

— Послушайте, мадам Жюли, на это можно жить год, а мне не так уж хочется жить.

Она усмехнулась.

— Дитя хочет умереть от любви, — сказала она. — Тогда ты должен поторопиться. Потому что скоро начнут умирать со всех сторон, и не от любви, поверь мне.

Я испытывал горячую симпатию к этой женщине. Может быть, я начинал догадываться, что, говоря о “проститутке” или “сводне” с презрением, люди опускают человеческое достоинство ниже пояса, чтобы легче было забыть о низостях ума.

— Все-таки не понимаю, почему вы мне даете эти деньги.

Она сидела передо мной в сиреневой шерстяной шали на плоской груди, со своим шлемом черных волос, глазами цыганки и длинными пальцами, которые играли маленькой золотой ящерицей, приколотой к корсажу.

— Конечно, ты не понимаешь. Поэтому я объясню. Мне нужен такой парень, как ты. Я собираю небольшую команду.

Так в феврале 1940 года, когда англичане пели: “Мы будем сушить свое белье на линии Зигфри-

да”[20], плакаты кричали: “Мы победим, потому что мы сильнее”, а “Прелестный уголок” звенел тостами за победу, старая сводня готовилась к немецкой оккупации. Не думаю, чтобы в то время еще кому-нибудь пришла мысль организовать то, что позже назовут “сетью Сопротивления”. Мне было поручено установить контакты с некоторыми людьми, в том числе с неким специалистом по подделке документов, после двадцати лет тюрьмы все еще скучавшим по своему ремеслу, и мадам Жюли так убеждала меня хранить тайну, что даже сегодня я едва отваживаюсь написать их имена. Среди них был месье Дампьер, который жил один с канарейкой, — к чести гестапо, надо заметить, что канарейку они помиловали и приютили, после того как в 1942 году месье Дампьер умер от сердечного приступа во время допроса. Там был месье Пажо, позднее известный под именем Валерьен, — через два года его расстреляли вместе с двадцатью другими на холме, носящем то же имя[21]. Там был комиссар полиции Ротар,

[20] Примечания: 20

Линия Зигфрида — система немецких укреплений, на западе Германии, в приграничной полосе от Клеве до Базеля. Известна также как Западный вал.

[21] Примечания: 21

Мон-Валерьен — холм на западной окраине Парижа, где оккупанты расстреливали заложников и участников Сопротивления.

ставший руководителем сети “Альянс”, который пишет о Жюли Эспинозе в своей книге “Годы подполья”: “Этой женщине было присуще полное отсутствие иллюзий, порожденное, без сомнения, долгой практикой ее ремесла. Мне случалось воображать, как бесчестье входит к той, кто так хорошо его знает, и делает ей признания. Оно должно было шептать ей на ухо: «Скоро наступит мой час, Жюли, дорогая. Готовься». Во всяком случае, она умела убеждать, и я помог ей сформировать группу, регулярно собиравшуюся для обсуждения шагов, которые следовало предпринять: от изготовления фальшивых документов до выбора надежных мест, где мы могли бы встречаться или скрываться, когда Париж будет оккупирован, в чем она не сомневалась ни на секунды”.

Однажды после визита к аптекарю на улице Гобен, передавшему мне “лекарства”, — для кого и зачем, я узнал лишь гораздо позже, — я спросил у мадам Эспинозы:

— Вы им платите?

— Нет, мой маленький Людо. Есть вещи, которые не покупаются. — Она кинула на меня странный взгляд, печальный и жесткий. — Это будущие смертники.

Однажды я пожелал узнать также, почему, будучи так уверена, что война проиграна, и считая приход немцев неизбежным, она не пытается бежать в Швейцарию или Португалию.

— Мы об этом уже говорили, и я тебе ответила. Бегство не в моем духе. — Она усмехнулась: — Может, Фюльбияк это и имела в виду, когда говорила, что у меня "дурной тон".

Как-то утром я заметил в углу кухни фотографии португальского диктатора Салазара, адмирала Хорти, правителя Венгрии, и даже Гитлера.

— Я жду одного человека, чтобы он мне их надписал, — объяснила она.

Доверие мадам Жюли не простиралось до того, чтобы сказать мне, какое имя она собирается принять, и когда "специалист" пришел надписывать фотографии, меня попросили выйти.

Она уговорила меня сдать экзамен на водительские права:

— Это может пригодиться.

Хозяйка не могла предугадать только одного: точной даты германского нападения и нашего поражения. Она полагала, что это будет "в первые же теплые дни", и заботилась об участи девиц. Она советовала им брать уроки немецкого, но во

Франции не было ни одной проститутки, которая бы верила, что немцы победят.

Меня удивляло, что она мне так доверяет. Почему она без колебаний полагалась на двадцатилетнего мальчишку без жизненного опыта, что вряд ли было хорошей рекомендацией?

— Может, я и делаю глупость, — признала она. — Ну что я могу сказать? У тебя в глазах что-то от смертника.

— Вот черт! — сказал я.

Она рассмеялась:

— Я тебя напугала, да? Но это не обязательно означает двенадцать пуль. С этим можно даже очень долго прожить. У тебя такой взгляд из-за твоей польки. Не горюй. Ты ее еще увидишь.

— Как вы можете знать, мадам Жюли?

Она ответила не сразу, как бы боясь причинить мне боль:

— Если бы ты ее больше не увидел, это было бы слишком красиво. Все осталось бы как было. В жизни мало что остается неизменным.

Я продолжал ходить два-три раза в неделю в Штаб польской армии во Франции, и наконец сержант, устав от моих расспросов, бросил:

— Ничего в точности не известно, но вероятнее всего, что вся семья Броницких погибла под

бомбами.

Тем не менее я был уверен, что Лила жива. Я даже острее ощущал ее присутствие рядом со мной, словно это было предчувствие.

В начале апреля мадам Жюли на несколько дней исчезла. Она вернулась с повязкой на носу. Когда повязку сняли, оказалось, что нос Жюли Эспинозы утратил горбинку и стал прямым, даже укоротился. Я не задавал ей вопросов, но при виде моего изумления она сказала:

— Нос — первое, на что будут смотреть эти сволочи.

В конце концов я так уверовал в ее правоту, что, когда немцы прорвали фронт под Седаном, я не удивился. Я не удивился и когда через несколько дней она послала меня пригнать из гаража ее “ситроен”. Вернувшись, я зашел к ней в комнату и застал ее сидящей среди чемоданов с рюмкой коньяку в руке; она слушала радио, которое возвещало, что “ничего не потеряно”.

— Хорошенькое “ничего”, — сказала она. Она поставила рюмку, взяла собачку и встала: — Ладно, поехали.

— Куда?

— Мы немного проедем вместе, потому что ты возвращаешься в Нормандию и нам по пути.

Было второе июня, и на дорогах не наблюдалось никаких признаков поражения. В поселках, через которые мы проезжали, все выглядело мирно. Сначала вел я, потом госпожа Эспиноза сама села за руль. На ней было серое пальто, сиреневые шляпа и косынка.

— Где вы будете скрываться, мадам Жюли?

— Я совсем не буду скрываться, дружок. Находят именно тех, кто скрывается. У меня два раза был сифилис, так что нацистами меня не напугаешь.

— Но что же вы собираетесь делать?

Она слегка улыбнулась и не ответила. В нескольких километрах от Верво она остановила машину:

— Ну вот. Здесь мы прощаемся. Это не очень далеко от тебя, так что не заблудишься. — Она обняла меня. — Я дам тебе знать. Скоро понадобятся такие мальчики, как ты. — Она прикоснулась к моей щеке. — Ну, отправляйся.

— Неужели вы опять скажете, что у меня взгляд смертника?

— Скажем так: у тебя есть то, что надо. Когда умеешь, как ты, любить женщину, которой нет рядом, возможно, сумеешь любить и нечто другое… чего тоже не будет, когда нацисты за это возьмутся.

Я вышел из машины и взял свой чемодан. Мне было грустно.

— Скажите хотя бы, куда вы едете!

Машина тронулась. Я стоял посреди дороги, спрашивая себя, что с нею будет. И был немного разочарован тем, что она не доверилась мне напоследок. Видимо, то, что она читала в моих глазах, не было достаточной гарантией. Что ж, тем лучше. Может, я все-таки не смертник. Может, у меня еще есть шанс.

Глава XXV

Меня подобрал на шоссе военный грузовик, и к трем часам дня я был в Клери. Из раскрытых окон неслись звуки радио. Неприятеля собирались остановить на Луаре. Думаю, что даже Жюли Эспиноза не смогла бы остановить неприятеля на Луаре.

Я застал дядю за работой. Едва я вошел, меня поразила смена декораций в мастерской: Амбруаз Флёри был по колено во французской истории в самых воинственных ее проявлениях. Вокруг него грудой лежали Карлы Мартеллы, Людовики, Готфриды Бульонские, Роланды — все, кто во Франции когда-либо показывал зубы врагу, от Карла Великого до маршалов Империи, даже сам Наполеон, о котором дядя раньше говорил: “Надень на него шляпу с полями — и выйдет настоящий Аль Капоне”. С иголкой и ниткой в руке он как раз латал “Жанну д’Арк”, имевшую несчастный вид, так как голуби, которые должны были поднимать ее в небо, болтались где-то сбоку, а меч сломался в результате неудачного приземления. Для старого пацифиста, не одобряющего

военную службу по моральным соображениям, это был переход в другую веру, и я онемел от удивления. Я сомневался, что подобная перемена связана с какими-то новыми заказами, ибо за всю свою историю страна никогда не интересовалась воздушными змеями меньше, чем теперь. Сам Амбруаз Флёри тоже изменился. Он сидел со своей искалеченной “Жанной д’Арк” на коленях, и его старая нормандская физиономия имела в высшей степени свирепый вид. Он не встал со скамьи и едва кивнул мне.

— Ну, что нового? — спросил он, и я остолбенел от этого вопроса, ведь Париж только что объявили “открытым городом”. Мне казалось, что напрашиваются совсем другие вопросы. Но то был еще июнь сорокового, и не настало еще то время, когда французы шли на пытки и на смерть ради того, что существовало только в их представлении.

— Я не смог получить никаких сведений. Я все испробовал. Но уверен, что она жива и вернется.

Амбруаз Флёри одобрительно кивнул:

— Молодец, Людо. Германия выиграла войну, здравый смысл, осторожность и разум воцарятся по всей стране. Чтобы продолжать верить и надеяться, надо быть безумцем. Отсюда я делаю

вывод, что… — он поглядел на меня, — безумцем быть надо.

Возможно, я должен напомнить, что в эти часы капитуляции безумие еще не поразило французов. Был только один безумец, и тот в Лондоне.

Через несколько дней после возвращения я увидел первых немцев. У нас не было денег, и я решил вернуться к Марселену Дюпра, если он меня возьмет. Когда дядя зашел к нему, уже было ясно, что ничто не сможет остановить сокрушительное наступление сил вермахта; он нашел Дюпра с красными глазами около висевшей у входа карты Франции, где каждая провинция была обозначена самой знаменитой ее провизией. Дюпра указывал пальцем на ветчину в Арденнах и говорил:

— Не знаю, куда дойдут немцы, но во что бы то ни стало надо сохранить связь с Перигором. Без трюфелей и гусиной печенки “Прелестный уголок” пропал. Хорошо еще, что Испания сохраняет нейтралитет: только из Испании я получаю шафран, достойный своего названия.

— Думаю, он тоже обезумел, — сказал дядя с уважением.

На дороге перед садом стояли три танка, а у входа, под цветущими магнолиями — бронеавто-

мобиль. Я ждал, что меня окликнут, но немецкие солдаты даже не посмотрели на меня. Я пересек вестибюль; ставни в “ротонде” и на “галереях” были закрыты; два немецких офицера сидели за столиком, склонившись над картой. Марселен Дюпра сидел в тени с месье Жаном, старым восьмидесятилетним сомелье, который пришел, видимо, для того, чтобы оказать моральную поддержку хозяину всеми покинутого “Прелестного уголка”. Дюпра, скрестив руки на груди и высоко подняв голову, но со слегка блуждающим взглядом, говорил громко, как бы желая, чтобы немцы слышали:

— Я считаю, что год обещает быть хорошим; может быть, это будет один из лучших; только бы внезапный дождь не побил виноградники.

— Во всяком случае, начало хорошее, — отвечал месье Жан, улыбаясь всеми своими морщинами. — Франция запомнит урожай сорокового года, чувствую, это и правда будет один из лучших. Я отовсюду получаю хорошие вести. Из Божоле, со всей Бургундии, из Борделе… Никогда еще не было таких хороших вестей. В этом году вино будет крепче, чем за всю историю наших виноградников. Оно все выдержит.

— На памяти французов не было такого июня, —

признавал Дюпра. — Небо, похоже, за нас. Ни облачка. Лилии зацвели, и через три месяца все будет как надо. Есть такие, которые не верят и говорят, что такая хорошая погода не может стоять долго. Но я верю в виноградники. Во Франции всегда так было. В одном проигрывали, в другом выигрывали.

— Конечно, с эльзасскими винами покончено, — сказал месье Жан.

— А карта вин без эльзасского — это национальная катастрофа, — согласился Дюпра, слегка повысив голос. — Заметь, у меня в погребе эльзасских вин достаточно, чтобы продержаться года четыре, даже пять, а потом можно надеяться, что получу новые… Я видел одного человека, он приехал от Пуэна из Вьена; вроде бы там дела обстоят как нельзя лучше, виноградники побили все рекорды. Говорят, они держатся даже на Луаре. Франция — необыкновенная страна, старина Жан. Когда кажется, что все потеряно, вдруг видишь, что главное остается.

Месье Жан поднял руку, чтобы вытереть слезу среди морщин:

— О да. Это я вам говорю, месье Дюпра: когда через несколько лет будут вспоминать сороковой год, то скажут: такого года больше не будет. Я

знаю людей, которые смотрят на свои виноградники и плачут, так они хороши!

Оба офицера по-прежнему изучали карту. Я думал, что это их военная карта Франции. Я ошибся. Это была действительно карта Франции, но в виде меню “Прелестного уголка”: “Мясо на пару с трюфелями «Марселен Дюпра», филе с эстрагоном, кролик в малиновом уксусе по-нормандски, ракушки по-дьепски”. Я знал меню наизусть, вплоть до белых грибов с сидром. Я смотрел на немецких офицеров, и мне вдруг показалось, что война еще не проиграна. Один из офицеров встал и подошел к Дюпра.

— В следующую пятницу генерал, командующий немецкими войсками в Нормандии, а также его превосходительство посол Отто Абец и еще четырнадцать персон желают здесь завтракать, — сказал он. — Его превосходительство Абец часто бывал у вас до войны и шлет свои наилучшие пожелания. Он надеется, что “Прелестный уголок” не посрамит свою репутацию. Господин посол окажет вам в этом отношении любую необходимую помощь. Он поручил нам пожелать вам успешно продолжать свою работу.

Дюпра посмотрел на него в упор:

— Передайте вашему генералу и вашему послу,

что у меня нет персонала, нет свежих продуктов и я не уверен, что смогу продержаться.

— Это приказ высокого командования, месье, — сказал офицер. — В Берлине желают, чтобы все шло как прежде, и мы намереваемся сохранить то, что составляет славу и величие Франции, в первую очередь, разумеется, ее кулинарный гений. Это слова самого фюрера.

Оба офицера щелкнули каблуками перед хозяином "Прелестного уголка" и удалились. Дюпра молчал. Вдруг я увидел, что на его лице появилось странное выражение, смесь ярости, отчаяния и решимости. Я не говорил ни слова. Месье Жан забеспокоился:

— В чем дело, Марселен?

Тогда я услыхал от Марселена Дюпра слова, которые никогда еще не срывались с его уст.

— Дерьмо собачье, — глухо произнес он. — Что они думают, эти суки? Что я наделаю в штаны? У трех поколений Дюпра был девиз: "Я выстою".

Он объявил, что на следующей неделе "Прелестный уголок" снова откроется. Но вокруг нас поражение следовало за поражением: с минуты на минуту ожидалась капитуляция Англии, и были часы, особенно ночью, когда мне казалось, что все пропало. Тогда я вставал и шел к "Гусиной

усадьбе”. Я перелезал через стену и ждал Лилу на каштановой аллее, и каменная скамья, давно уже пустая и холодная в лунном свете, по-дружески принимала нас. Я забирался в дом через одно из больших окон террасы, которое разбил, поднимался на чердак и прикасался к глобусу, проводя пальцем по линиям, намеченным Тадом для будущих исследований. Бруно садился за рояль, и я слушал полонез Шопена — я слышал его так отчетливо, как если бы безразличное молчание наконец сжалилось. Я еще не знал, что и другие французы начинают, как и я, жить памятью и что ушедшее, казалось, навсегда может ожить и проявиться с такой силой.

Глава XXVI

В мастерскую начали поступать заказы. На историю Франции был большой спрос. Власти это одобряли — к прошлому относились дружелюбно. Немцы запретили запускать воздушных змеев на высоту более тридцати метров, опасаясь тайных сигналов самолетам союзников или первым “бандитам”. Нас посетил новый мэр Клери, месье Плантье, который явился, чтобы передать дяде полученный “совет”. В высоких кругах заметили, что среди заслуживших одобрение “исторических работ”, выходивших из мастерской “лучшего мастера Франции” — Амбруаз Флёри получил это звание в 1937 году, — недостает изображения маршала Петена. Дяде предложили, чтобы во время встречи членов общества “Воздушные змеи Франции” в Клери он сам торжественно запустил змея, изображающего маршала. Мероприятие будет широко разрекламировано и пройдет под лозунгом “Сердце, выше!” в целях борьбы с упаднническими настроениями. Дядя дал свое согласие с едва заметным лукавым огоньком в темных глазах. Я так любил эти вспышки

веселости в его взгляде и насмешку, скрытую седыми усами, — как будто луч старого доброго веселья шел из нашего далекого прошлого и на пути к будущему освещал дядино лицо. Он собрал трехметрового змея с изображением маршала Петена, и все прошло бы очень хорошо, если бы муниципалитет презрел дядино предложение пригласить на праздник немецких солдат и офицеров. В состязании принимало участие более ста человек, и первый приз — “Маршал Петен” был, естественно, вне конкурса — присудили сложному воздушному змею некоего монаха-доминиканца, изображавшему распятие с Иисусом, который отделялся от креста и воспарял в небо.

Я так и не узнал, подстроил ли Амбруаз Флёри все заранее, или это было досадное совпадение. Казалось, у него затруднения с запуском змея, чья величина больше соответствовала историческому моменту, чем возможностям воздушных потоков, и один немецкий капрал любезно поспешил к нему на помощь (а возможно, дядя сам попросил его помочь). Наконец “Маршалу Петену” удалось подняться в воздух, но когда он на высоте тридцати метров раскрыл свои руки-крылья, то оказалось, что бечевку держит немецкий капрал, и сфотографировали именно

его. Во время праздника никто не обратил на это внимания, и только когда фотографию должны были опубликовать, цензура обнаружила ее злонамеренность. Ее не опубликовали, но нашлось другое фото, неизвестно кем снятое, и его копировали на подпольных листовках до самого конца оккупации: великолепный “Маршал Петен” летает в небесах, а жизнерадостный немецкий капрал твердой рукой держит бечевку.

Это дело принесло нам некоторые неприятности, и дядя сам думал, что, возможно, слишком явно раскрыл свои намерения. В Нормандии начиналась организация первых групп сети Сопротивления “Надежда” под руководством Жана Сентени, который сам зашел к дяде; несмотря на разницу в возрасте, они отлично поняли друг друга.

В Клери на историю с “Маршалом Петеном” отреагировали по-разному. В “Улитке” и в “Виноградаре” приветствовали “эту старую лису Амбруаза”, подмигивая и хлопая его по плечу. Но некоторые, вспоминая его период “Народного фронта”, когда он запускал над нормандскими рощами “Леона Блюма”, говорили, что когда человек, у которого два брата убиты на Первой мировой, так насмехается над героем Вердена,

он заслуживает хорошего пинка под зад. Помнили и то, что он не одобрял службу в армии по моральным соображениям. В одно прекрасное утро, — я всегда говорю “в одно прекрасное утро”, потому что у слов свой привычный порядок и не немецким танкам его менять, — итак, в одно прекрасное утро к нам ввалился мой бывший приятель Грийо, которому через два года участники Сопротивления перерезали горло, — да простит Бог! Он был с двумя другими молодцами, разделявшими его взгляды, и они все утро перетряхивали наших воздушных змеев, чтобы убедиться, что “этот старый идиот Флёри” не подготовил еще каких-нибудь мерзких штучек. Дядя спрятал весь свой период “Народного фронта” и своего “Жореса” у отца Ташена, кюре Клери, который сначала орал на нас, а потом спрятал змеев в подвал, кроме “Леона Блюма” — его он собственноручно сжег, потому что “какого черта, это уж слишком”. Власти дядю не беспокоили, но он понял, откуда ветер дует, и после долгого раздумья решил, что “надо было действовать иначе”. Встреча в Монтуаре дала ему новый стимул, и воздушный змей, изображавший историческое рукопожатие маршала Петена и Гитлера, был запущен через пять дней после этого события.

“Надо работать по свежим следам”, — сказал мне дядя. Группа добровольцев воспроизвела змея более чем в ста экземплярах, и его часто можно было видеть в небе Франции. Никто не усмотрел в нем ничего дурного, кроме Марселена Дюпра, который заглянул к нам выпить рюмочку и сказал своему другу:

— Ну, старина, когда ты насмехаешься над людьми, это серьезно!

Глава XXVII

В ноябре 1941-го, когда молчание Польши с каждым днем все больше напоминало молчание на бойне, я снова пришел в усадьбу для упражнения памяти. В то утро нас навестили в Ла-Мотт люди Грюбера, начальника гестапо в Клери, так как длинные языки распустили слух, что Амбруаз Флёри сделал воздушного змея в виде лотарингского креста[22], которого собирается запустить так высоко, чтобы его было видно от Клери до Кло и от Жонкьера до Про. Это были выдумки: дядя был слишком уверен в себе, чтобы потерять осторожность; немцы не нашли ничего, что бы не фигурировало во всех разрешенных учебниках по истории Франции. Они заколебались перед “Жанной д’Арк”, влекомой двадцатью голубями, но Амбруаз Флёри, смеясь, сказал им, что нельзя же помешать Жанне вознестись на небо. Он

[22] Примечания: 22

Лотарингский крест — в Средние века герб независимой провинции Лотарингия. После франко-прусской войны, когда Эльзас и северная Лотарингия были аннексированы Германией, служил для французов символом национального реванша. В 1940 г. стал эмблемой движения “Свободная Франция” (с 1942 г. — “Сражающаяся Франция”), возглавляемого генералом де Голлем.

предложил посетителям выпить кальвадоса и показал диплом лучшего ремесленника Франции, полученный при Третьей республике, и поскольку, если б не Третья республика, нацисты не выиграли бы войну, оберштурмбаннфюрер сказал “гут, гут” и удалился.

Было пять часов вечера; я стоял посреди старого пыльного чердака; голые ветки, топорщась, заслоняли слуховые окна; рояль Бруно молчал; напрасно я закрывал глаза — я ничего не видел. В тот вечер доброму старому здравому смыслу приходилось особенно трудно. Немцы приближались к Москве, и по радио объявляли, что от Лондона осталась одна пыль.

Не знаю, каким отчаянным усилием удалось мне преодолеть свою слабость. Лила еще дулась на меня, ей всегда нравилось испытывать мою веру, но я увидел Тада — он искал на карте места наших будущих славных исследований, — и наконец явилась Лила и бросилась в мои объятия. Вальс, только вальс, но стоит голове закружиться, и все возвращается. Я обнимал Лилу, и она смеялась, откинув голову; Бруно играл; Тад небрежно опирался на один из глобусов — они так мало говорят о Земле, ведь они не ведают о ее трагедиях; я снова верил в нашу жизнь и наше будущее,

потому что мог любить.

Так я вальсировал с закрытыми глазами, раскрыв объятия, полностью отдаваясь безумию, когда услышал скрип двери. Здесь повсюду гулял ветер, и в пылу своего праздника я бы не обратил на это внимания, если бы не открыл глаза, что является грубой ошибкой для всех, живущих верой и воображением.

Сначала я увидел только силуэт немецкого офицера на фоне черного прямоугольника двери.

Я узнал Ханса. У меня еще немного кружилась голова, и я подумал, что это просто эффект избытка памяти. Понадобилось несколько секунд, чтобы убедиться. Это действительно был Ханс. Он стоял тут, передо мной, в своей форме завоевателя. Он не двигался, как бы понимая, что я еще сомневаюсь, и чтобы дать мне время убедиться в его присутствии. Казалось, он не удивился, застав меня на чердаке танцующим вальс с той, которой здесь не было. Он не был взволнован: завоеватели привыкают к виду горя. Может быть, ему уже сказали, что я немного не в себе, добавив: “Бедный молодой Флёри; ясно, в кого он пошел”. Сопротивление только начиналось, и слово “безумие” еще не получило права на эпитет “священное”.

В помещении было достаточно темно, чтобы по-

щадить нас, помешав видеть друг друга слишком ясно. Но все же я различал белый шрам на щеке своего врага: след польской szabelca, которой я орудовал так неловко. У Ханса был печальный, даже почтительный вид: учтивость идет униформе. У него на шее висел Железный крест — вероятно, он получил его за бои в Польше. Не знаю, что мы сказали друг другу в эти минуты, когда не было произнесено ни одного слова. Он сделал деликатный жест, свидетельство благовоспитанности, которая передается у прусских юнкеров от отца к сыну: стоя в дверях, он отступил в сторону, чтобы освободить мне проход. Видимо, после стольких побед он привык, что люди бегут. Я не двинулся с места. Он постоял в нерешительности, потом начал снимать правую перчатку, и по выражению его лица мне вдруг показалось, что он собирается протянуть мне руку. Но нет, он и теперь избавил меня от неловкости: подошел к слуховому окну и, снимая перчатки, глядел на голые ветви. Потом повернулся к роялю Бруно. Улыбнулся, подошел к роялю, открыл его и коснулся клавиш. Только несколько нот. С минуту он стоял неподвижно, положив руку на клавиши и опустив голову. Потом отвернулся, медленно, как бы в нерешительности, сделал несколько

шагов, надевая перчатки. Перед тем как выйти, он остановился, слегка обернулся ко мне, будто собираясь заговорить, затем ушел с чердака.

Я всю ночь бродил в окрестностях, не узнавая даже тех дорог, которые знал с детства. Я не понимал, действительно я видел Ханса или так далеко зашел в своих упражнениях памяти, что вызвал лишний призрак. Братья Жарро нашли меня на следующее утро в хлеву без сознания, отвезли домой и посоветовали дяде отправить меня в больницу в Кан.

— Мы все здесь знаем, что малыш немного “того”, но на этот раз…

Они ошибались. “На заре тетя Мирта выйдет прогуляться”. “Корова будет петь соловьиным голосом”. “Пуговицы к штанам пришьют вовремя”. “Мой отец — мэр Мамера, а мой брат — массажист”. Каждый день до нас доходили из Лондона зашифрованные сообщения для участников Сопротивления — эти передачи шли на 1500 метрах длинноволнового диапазона, 273 метрах средневолнового и на коротких волнах на 30,85 метра. Амбруаз Флёри поблагодарил братьев Жарро за совет, вежливо выпроводил их и, подойдя к моей кровати, сжал мне руку:

— Побереги свое безумие, Людо. Не слишком его

расходуй. Стране оно будет нужно все больше.

Я пытался взять себя в руки, но встреча с Хансом потрясла меня. Я по-прежнему бродил вокруг “Гусиной усадьбы”. Немцы еще ее не заняли; ее даже еще не начали приводить в порядок.

В начале декабря, забравшись на стену, я услышал, как открываются ворота. Припав к стене, я увидел, что по главной аллее въезжает “мерседес” с вымпелом командующего немецкими войсками в Нормандии. За рулем был Ханс, один в машине. Я не знал, для чего он вернулся сюда: чтобы подготовить усадьбу для немцев или чтобы помечтать о Лиле, как я. Вечером я украл пять бидонов бензина в “Прелестном уголке” — его щедро поставляли туда немцы — и перетащил по одному в усадьбу. В ту же ночь я поджег ее. Огонь плохо разгорался, мне пришлось немало потрудиться; я бегал из комнаты в комнату, спасая свои воспоминания, ожидая, чтобы пепел укрыл их навсегда. Когда наконец пламя поднялось до крыши, я с трудом заставил себя уйти — столько дружеского сочувствия виделось мне в этом огне.

Наутро меня арестовали, отправили в Клери и учинили допрос с пристрастием. Французская полиция тем более нервничала, что речь шла

о ее престиже в глазах немцев. Для властей я был идеальным виновником: просто выходка неуравновешенного человека без всяких “террористических” намерений.

Я ничего не отрицал — я только отказывался отвечать. Я думал о моих товарищах Легри и Косте из организации “Надежда”, которые не заговорили под пыткой: если бы несколько пощечин и ударов кулаком могли склонить меня к признаниям, значит, память подвела бы меня первый раз в жизни. Так что после серии оплеух я глупо улыбнулся, а потом сделал вид, что впадаю в мрачное отупение, что несколько обескуражило полицейских.

Дядя поклялся, что я неделю не вставал с постели; доктор Гардье проехал в своей двуколке тридцать километров, к великому неудовольствию коня Клементена, чтобы подтвердить его слова; но власти держались за “поступок неуравновешенного субъекта”, и на следующий день допрос возобновился в присутствии двух немцев в штатском.

Я сидел на стуле спиной к двери. Вдруг я увидел, как оба немца вытянулись с поднятыми руками, и, не взглянув на меня, мимо прошел Ханс. У него было напряженное лицо, челюсти сжаты. Чув-

ствовалось, что он с усилием сдерживает досаду и презрение. Он не ответил на гитлеровское приветствие людей Грюбера и обратился к комиссару по-французски:

— Я не понимаю этого ареста. Я не понимаю, как Людовик Флёри, которого я хорошо знаю, мог оказаться в “Гусиной усадьбе” в ночь поджога, так как я видел его в это время в доме его дяди в Кло, откуда я ушел очень поздно после долгой дискуссии по поводу воздушных змеев с мэтром Амбруазом Флёри. Таким образом, полностью исключается, что он мог быть поджигателем, так как, по свидетельству очевидцев, огонь был виден за несколько километров со всех сторон с одиннадцати вечера.

Моим первым побуждением было отвергнуть эту помощь и защиту сильнейшего, и я чуть не встал и не крикнул: “Это я поджег усадьбу”. Прежде всего в моих взволнованных мыслях вспыхнуло, как раньше, крестьянское раздражение против красивого жеста, в котором я сперва увидел скорее аристократическую надменность и чувство превосходства, чем настоящее великодушие. Но мою старую вражду вовремя погасила догадка: Ханс оставался верен тому, что нас одновременно объединяло и разделяло, — Лиле. Он

по-настоящему любил ее и хотел спасти то, что во мне составляло смысл его собственной жизни. В этом высокомерии, в презрении, с которым он обращался к моим обвинителям, я распознал знак верности воспоминанию: он пришел защитить не меня, а нашу общую память.

Он даже не стал ждать, пока ему зададут вопросы, и вышел — свидетельство немецкого офицера нельзя было подвергать сомнению. Меня немедленно освободили. Дядя, доктор Гардье и конь Клементен доставили меня домой. Не было еще людей, которые так молчали бы обо всем, что имели сказать друг другу. Только когда мы прибыли и доктор Гардье и конь Клементен направились в Клери, дядя спросил меня:

— Ты зачем поджег эту халупу?

— Чтобы все осталось как было, — ответил я, и он вздохнул, потому что знал, что уже тысячи французов мечтают об огне, “чтобы все осталось как было”.

Никто в наших краях не сомневался в моей виновности. Те, кто начал прислушиваться к первым призывам к “безумию”, передававшимся не только по лондонскому радио, но и по всем другим волнам, выказывали мне нечто вроде робкого сочувствия. Другие меня избегали — те,

кто хотел выйти сухим из воды и затаиться и выжидать, — подчеркивая таким образом благородство безумия. Не многие верили в победу союзников — самое большее, говорили о возможности заключения сепаратного мира за спиной русских.

Меня поместили на обследование в психиатрическую больницу в Кане. Я провел там две недели, громко разговаривая с отсутствующими, что позволило мне получить составленную по всей форме справку о невменямости — ничто не могло быть полезнее для моей подпольной деятельности. Никто не удивлялся, видя, как я брожу, жестикулируя, от фермы к ферме, и мой командир группы, Субабер, поручил мне все связи. Рассудок волшебным образом возвращался ко мне для бухгалтерской работы в “Прелестном уголке”; Дюпра говорил по этому поводу, что “некоторые болезни совсем незаметны”. Он, конечно, догадывался о моей подпольной работе, ведь от него мало что ускользало. Он остерегался всяких намеков — “чтобы не быть причастным”, по словам дяди, — и ограничивался тем, что ворчал: “Вас не переделаешь!”

И я не знал, говорит он только о Флёри или обо всех наших собратьях в поставленной на колени

Европе — их становится все больше, — объединенных общим безумием, которое так часто в истории народов доказывало возможность невозможного.

Она стоит в темном углу на другом конце комнаты; там на стене висит неумело сделанный воздушный змей бледного желтовато-розового цвета с серебристо-белыми пятнами, семилетний мальчишка сам собрал и раскрасил его в мастерской. Не знаю, птица это, бабочка или ящерица, — детское воображение одарило его богатыми возможностями.

“Я не всегда была добра к тебе, Людо, и теперь ты мне мстишь. Вчера ты целых несколько часов не вспоминал обо мне. Ты знаешь, что я в твоей власти, и хочешь дать мне это почувствовать. Типично мужское отношение. Ты как будто все время ждешь, что я скажу: что со мной будет без тебя? Тебе приятно пугать меня”.

Сознаюсь, мне приятны ее опасения и ее беспокойство: сейчас эта девушка из самой старинной аристократии зависит от нормандского мужлана, от его верности и памяти. Но я никогда не злоупотребляю своей властью. Я позволяю себе только бесконечно продлевать какой-нибудь ее жест, как когда она проводит рукой по волосам, — я

нуждаюсь в этом каждое утро. Или я задерживаю ее руку и мешаю ей надеть лифчик.

“Ну, Людо! Ты перестанешь?”

Мне нравится зажигать этот гневный блеск в ее глазах. Ничто не успокаивает меня больше, чем видеть ее неизменившейся, похожей на себя прежнюю.

“Думаешь, тебе все позволено, потому что я от тебя завишу? Вчера ты заставил меня сделать двадцать километров по полям. И мне совсем не нравится зеленый свитер, который ты на меня напялил”.

“Он у меня один, а было холодно”.

Потом она тихо уходит, растворяется в темноте, и я не открываю глаз, чтобы лучше сберечь ее.

Глава XXVIII

Я свободно передвигался по нашим краям: немцы меня не опасались, зная, что я сумасшедший, — на самом деле именно поэтому в меня и следовало бы стрелять. Я держал в голове сотни имен и адресов “почтовых ящиков”, которые без конца менялись, и никогда не носил при себе ни клочка бумаги.

Однажды утром, проведя ночь в пути, я остановился передохнуть в “Телеме”. За соседним столиком человек читал газету. Я не видел его лица, только заголовок на первой странице: “Красная армия отступает в беспорядке”. Хозяин, месье Рубо, поставил перед “этим беднягой Людо” два бокала белого вина — бокал, который я заказал, и второй, чтобы доставить мне удовольствие. Местные жители давно привыкли к моим причудам и не упускали случая сообщить приезжим, что я еще больше “того”, чем мой дядя со своими воздушными змеями, знаменитый почтальон, носящий ту же фамилию. Мой сосед положил газету, и я узнал своего старого учителя французского, месье Пендера. Я не видел его с

окончания школы. Его черты, ставшие резче под бременем лет, не утратили назидательной строгости, с которой он некогда искоренял орфографические ошибки в наших тетрадях. У него было то же самое пенсне и та же бородка, что и раньше. Месье Пендер еще сохранял присущий ему царственный вид, хотя славу его в основном составляла рубрика кроссвордов; он вел ее в “Ла газетт” вот уже сорок лет. Я встал.

— Здравствуйте, Флёри, здравствуйте. Разрешите мне передать наилучшие пожелания… — Он слегка приподнялся и поклонился пустому стулу.

Брико, официант, протиравший рюмки за прилавком, оцепенел, потом снова принялся тереть. Бедняга никогда не прибегал к воображению, так что погиб совсем ни за что — его убили эсэсовцы, отступая после высадки союзников.

— Я приветствую священное безумие, — сказал месье Пендер. — Ваше, вашего дяди Амбруаза и всех наших молодых французов, которых память заставила потерять голову. Я с радостью вижу, что многие из вас запомнили то, что достойно запоминания в нашем старом обязательном народном образовании.

Он рассмеялся.

— Выражение “сохранять смысл” можно толковать двояко. Кажется, я задавал вам когда-то сочинение на эту тему. Именно сочинение по французскому языку.

— Очень хорошо помню, месье Пендер. “Сохранять здравый смысл — то есть действовать по велению рассудка, разумно”. Или же наоборот: “Сохранять смысл жизни”.

Мой старый учитель казался очень довольным. Он давно уже был на пенсии, сморщился, царственность его немного увяла; однако существует другая молодость, молодость, из-за которой даже семидесятилетнего школьного учителя могут отправить в концлагерь.

— Вот-вот, — сказал он, не уточняя, к чему относится его одобрение.

Собачка хозяина, Лорнетка, фокстерьер с кольцами черной шерсти вокруг глаз, дала лапку месье Пендеру. Месье Пендер погладил ее.

— Надо иметь воображение, — сказал он. — Много воображения. Посмотрите на русских: согласно этой газете, они уже проиграли войну, но, кажется, у них тоже достаточно воображения, чтобы не замечать этого.

Он встал:

— Очень хорошо, ученик Флёри. “Сохранять

смысл жизни” — иногда совершенно противоположно “сохранению здравого смысла”. Ставлю вам отличную оценку. Зайдите ко мне как-нибудь на днях, да поскорее. Официант!

Он положил на стол двадцать су, снял пенсне и аккуратно спрятал его в жилетный карман — пенсне крепилось к нему черной бархатной ленточкой. Еще раз поклонился пустому стулу, надел шляпу и удалился несколько скованной походкой (колени отравляли ему жизнь). С мая 1941-го по июль 1942-го он написал значительную часть подпольной “литературы”, распространяемой в Нормандии. Его арестовали в 1944 году, накануне высадки союзников: он чересчур полагался на свои кроссворды — они появлялись дважды в неделю на четвертой странице “Ла газетт” и содержали инструкции для участников Сопротивления западного района, но один из подпольщиков выдал ключ гестапо, после того как ему вырвали несколько ногтей.

Между тем, когда однажды утром на стенах в Клери обнаружили плакаты, где говорилось о “вечной Франции” с той новой и неожиданной силой, когда избитые фразы вдруг оживают и, преображаясь, сбрасывают свои старые заплесневелые оболочки, подозрение пало на Амбруаза

Флёри. Я удивился неожиданному чутью приверженцев земного тяготения, которые, зная, что любой подброшенный в воздух предмет, даже воздушный змей, в конце концов падает на землю, как бы ни была сильна надежда, все же воздавали должное старому чудаку, выходящему на луг в компании детей, подняв глаза к одному из своих “ньямов”, — теперь их запрещалось запускать на высоту более пятнадцати метров.

О том, что дядю подозревают, нам сообщил сын наших соседей Кайе: утром он примчался к нам в мастерскую. Жанно Кайе был такой белокурый, как если бы его с головы до ног осыпали пшеницей; он совсем запыхался, больше от волнения, чем от того, что бежал.

— Они идут!

После чего, отдав сначала дань дружбе, он отдал дань и нормандской осторожности, выбежав прочь и исчезнув со скоростью вспугнутого кролика.

Оказалось, что они — это мэр Клери месье Плантье и секретарь мэрии Жабо, которого Плантье попросил остаться снаружи, видимо не желая, чтобы его доверенное лицо было свидетелем разговора, поскольку доверенные лица тогда ели из всех кормушек. Он вошел, вытер лоб большим

платком в красную клетку — официальные лица начали сильно потеть после первых диверсий — и сел на скамейку, в своей вельветовой куртке цвета мочи и крагах, не поздоровавшись, поскольку был в дурном настроении.

— Это ты, Флёри, или не ты?

— Это я, — ответил дядя, так как он гордился нашей фамилией. — Флёри существуют уже десять поколений, и я из их числа.

— Не прикидывайся идиотом. Они начинают расстреливать, может быть, ты не знаешь.

— Но что я сделал?

— Они нашли листовки. Настоящие призывы к безумию, другого слова нет. Надо быть сумасшедшим, чтобы противостоять немецкому могуществу. Повсюду шепчут: только эти ненормальные Флёри способны на такое. Молодой поджег дом, где немцы собирались разместить свой штаб, — не отрицай, скотина! — а старый в свободное время запускает в небо прокламации!

— Какие прокламации, мать твою? — удивился дядя, проявив неожиданную для пацифиста нежность к лексикону, расцветшему во времена Марны и Вердена.

— Твои дурацкие воздушные змеи и листовки — это одно и то же! — проорал господин мэр,

осененный пониманием, идущим больше от чувства, чем от ума. — Мои дети на днях видели твоего “Клемансо”! А это что еще? — Он направил обличающий перст на “Золя”. — Сейчас самое подходящее время, чтобы запускать “Золя”, да? Тогда уж почему бы не “Дрейфуса”? Старина, из-за некоторых глупостей можно оказаться у стенки перед расстрельным взводом!

— Мы не имеем никакого отношения к диверсиям, о которых все говорят, а мои воздушные змеи и того меньше. Глоточек сидра? Вам это мерещится.

— Мне? — заревел Плантье. — Мне мерещится?

Дядя налил ему сидра.

— Никто не застрахован от игры воображения, господин мэр. Еще немного — и вам покажется, что в небе летает “Де Голль”… Никто не застрахован от безумия, даже вы.

— Что это значит — даже я? Ты думаешь, мне не хотелось бы, чтобы немцы убрались отсюда?

— Но я все же надеюсь, что вы не из тех, кто каждый вечер слушает лондонское радио!

Плантье мрачно смотрел на него.

— Слушай, тебе необязательно знать, что я слушаю и чего не слушаю! — Он встал. Он был толстый. От жира еще больше потел. — Пойми,

что всех устроит, если можно будет доказать, что листовки печатают ненормальные. Если они возьмутся за нормальных людей, ни у кого не будет ни минуты покоя. Мне бы следовало тебя выдать, ради общих интересов. Не знаю, что меня удержало.

— Может быть, то, что вы приходили сюда играть с моими воздушными змеями, когда были маленьким. Помните?

Плантье вздохнул:

— Наверно.

Он подозрительно осмотрелся. Воздушные змеи из “исторической серии” королей Франции были подвешены к балкам, а когда они висят вот так, головой книзу, вид у них печальный. Плантье показал на одного пальцем:

— Это кто?

— Добрый король Дагобер. Он не запрещен.

— Да уж. Сегодня никто не знает, что запрещено, а что нет. — Он сделал шаг к двери. — Хорошо делай уборку, Флёри. Они придут, и если найдут хоть одну листовку…

“Они” не нашли листовок. Им не пришло в голову поискать их внутри королей Франции.

Печатный станок тоже не нашли. Он был в яме под кучей навоза. Они немного потыкали

вилами в навоз, который отозвался, как следует, и прекратили поиски.

Немецкие солдаты часто заходили, чтобы заказать нам “ньямов” — они посылали их в подарок детям. Во внутренностях некоторых воздушных змеев таились не только призывы к сопротивлению, вышедшие из-под пламенного пера месье Пендера, но и сведения о главных группировках немецких войск и расположении береговых батарей. Приходилось быть очень внимательными, чтобы не спутать “товар на продажу” с непродажными змеями.

Наши соседи Кайе все знали о нашей деятельности, и Жанно Кайе часто служил нам гонцом. Что касается Маньяров, я порой спрашивал себя, замечают ли они вообще, что Франция оккупирована. К немцам у них было то же отношение, что и ко всему миру: они их игнорировали. Никто никогда не видел, чтобы они проявляли хоть малейший интерес к тому, что происходит вокруг них.

— Но они по-прежнему делают лучшее масло в округе, — одобрительно говорил Марселен Дюпра.

Хозяин “Прелестного уголка” рекомендовал нас своей новой клиентуре, и даже знаменитый

немецкий пилот Мильх нанес нам визит.

Нашим самым постоянным гостем в Ла-Мотт был мэр Клери. Он садился на скамью в мастерской и сидел, мрачный и недоверчивый, глядя, как дядя приделывает тело и крылья к наивным картинкам, которые ему присылают дети; потом уходил. Он казался обеспокоенным, но хранил свои опасения про себя. И все-таки однажды он отвел дядю в сторону:

— Амбруаз, в конце концов ты сделаешь глупость. Я чувствую. Что ты скрываешь?

— То есть?

— Ладно-ладно, не прикидывайся. Я уверен, ты его где-то прячешь, а потом запустишь, и тебя посадят, это я тебе говорю.

— Я не знаю, о чем вы говорите.

— Ты сделал змея в виде де Голля, я знаю, так я и думал. Знаешь, что тебя ждет в тот день, когда ты его запустишь?

Дядя сначала ничего не сказал, но я видел, что он тронут. Когда что-то его трогало, его взгляд смягчался. Он сел рядом с мэром:

— Ну, ну, не думай об этом все время, Альбер, иначе ты и не заметишь, как закричишь с балкона мэрии: “Да здравствует де Голль!” И не делай такого лица. — Он засмеялся в густые усы. — Я

тебя не выдам!

— Выдать меня — за что? — завопил Плантье.

— Я не скажу немцам, что ты прячешь у себя “Де Голля”.

Месье Плантье молчал, глядя себе под ноги. Потом он ушел и не вернулся. Он сдерживал себя еще несколько месяцев, а потом, в апреле 1942-го, ему удалось добраться до Англии в рыбацкой лодке.

Страна начала меняться. Присутствие невидимого становилось все ощутимее. Люди, которых считали “рассудительными” и “нормальными”, рисковали жизнью, спасая сбитых английских летчиков и разведчиков “Свободной Франции”: они прыгали с парашютом. “Разумные” люди, буржуа, рабочие и крестьяне, которых вряд ли можно было заподозрить в погоне за синевой, печатали и распространяли газеты, где постоянно повторялось слово “бессмертие”, — и те, кого оно ожидало, погибали первыми.

Глава XXIX

Как только война кончится, мы начнем строить наш дом, не знаю только, где и как раздобыть денег. Об этом я думать не хочу. Надо остерегаться переизбытка ясности и здравого смысла: это превращает жизнь в ощипанную птицу, лишая ее самых прекрасных перьев. Так что я сам проделал всю работу, и материалы обошлись мне не дороже воздушного змея. У нас есть собака, но мы еще не выбрали ей имя. Всегда надо что-то оставлять на будущее. Я решил не готовиться к экзаменам в высшую школу, я выбрал профессию учителя начальной школы, из верности доброму старому “обязательному народному образованию”, — читая на стенах списки расстрелянных заложников, я спрашиваю себя, заслуживает ли оно стольких жертв. Иногда мне страшно; тогда дом становится моим убежищем; он скрыт от посторонних взглядов; только я знаю к нему дорогу; я построил его на месте нашей первой встречи; для земляники сейчас не сезон, но нельзя ведь жить только воспоминаниями детства. Часто я возвращаюсь сюда, разбитый от усталости после целых дней

ходьбы по всей округе и нервного напряжения, и тогда мне стоит большого труда найти наш дом. Сколько ни говори о могуществе закрытых глаз — все мало. Но мне сейчас особенно трудно преодолевать минуты слабости — в России немцы одерживают победу за победой, и это не лучший момент, чтобы проводить ночи за упорным строительством дома для будущего, с каждым днем ускользающего все дальше. Наверное, Лила упрекает меня за эти минуты здравомыслия: она полностью зависит от того, что в “Прелестном уголке” называют “моими отклонениями”. Моя подпольная работа тревожит даже дядю. Я беспокоюсь, не очень ли он постарел, ведь говорят, что благоразумие наваливается на нас с годами. Но нет: он только советует мне быть осторожнее. Это верно, что я слишком рискую, но оружие все чаще сбрасывают с парашютом, и необходимо его принимать, прятать в надежном месте и учиться им пользоваться.

Я часто нахожу дом пустым. Понятно, что Лила не ждет меня дома, ведь мы мало что знаем о польском подполье и партизанах, которые прячутся в лесу; думаю, существование там еще более сложное, ужасное и невыносимое, чем у нас. Говорят, там погибли уже миллионы.

В худшие моменты отчаяния и усталости Лила почти всегда приходит мне на помощь. Тогда мне достаточно взглянуть на ее изможденное лицо и бледные губы, чтобы сказать себе, что вся Европа ведет ту же борьбу, делает то же безумное усилие.

“Я ждал тебя столько ночей. Ты не приходила”.

“Мы понесли тяжелые потери, пришлось уйти еще дальше в лес. Надо ухаживать за ранеными, а лекарств почти нет. У меня не было времени думать о тебе”.

“Я это почувствовал”.

На ней тяжелая военная шинель, на рукаве повязка с красным крестом медсестры; я оставляю ей длинные волосы и берет, как в наши счастливые дни.

“А как у вас?”

“Выжидать и выйти сухими из воды. Но дело пойдет”.

“Людо, будь осторожен. Если тебя поймают…”

“С тобой ничего не случится”.

“А если тебя убьют?”

“Тогда тебя будет любить кто-нибудь другой, вот и все”.

“Кто? Ханс?”

Я молчу. Ей по-прежнему нравится дразнить

меня.

“Долго еще, Людо?”

“Не знаю. Есть старая поговорка: «Человек живет надеждой», но я начинаю думать, что это надежда живет нами”.

Лучшие наши минуты — когда я просыпаюсь: теплая постель всегда напоминает женщину. Я растягиваю эти мгновения как могу. Но наступает день со своей весомой реальностью: надо передавать сообщения, устанавливать новые связи. Я слышу скрип паркета, вижу, прикрыв глаза, как Лила одевается, ходит по дому, спускается в кухню, зажигает огонь и ставит греть воду, и смеюсь при мысли, что эта девушка, которая никогда не делала ничего подобного, так быстро научилась хозяйничать.

Дядя ворчал:

— Еще двое безумцев вроде тебя живут только памятью: де Голль в Лондоне и Дюпра в “Прелестном уголке”.

Он смеялся:

— Интересно, кто из них двоих победит.

Глава XXX

“Прелестный уголок” процветал по-прежнему, но местные жители начинали косо посматривать на Марселена Дюпра: его упрекали в том, что он слишком хорошо обслуживает оккупантов, — что касается моих товарищей, то они питали к нему неприкрытую ненависть. Я знал его лучше и защищал его, когда друзья называли его немецким прихвостнем и коллаборационистом. В действительности же в самом начале оккупации, когда высшее немецкое офицерство и вся парижская элита уже толпились на “галереях” и в “ротонде”, Дюпра сделал свой выбор. Его ресторан должен оставаться тем, чем он был всегда, — одной из подлинных ценностей Франции; и он, Марселен Дюпра, каждый день будет доказывать врагу, что не все можно победить. Но поскольку немцы чувствовали себя при этом очень хорошо и оказывали ему покровительство, его позицию понимали неверно и строго осуждали. Я сам присутствовал при перепалке в “Улитке”: Дюпра зашел туда купить зажигалку, и месье Мазье, нотариус, набросился на него, заявив прямо:

— Ты бы постыдился, Дюпра. Вся Франция лопает брюкву, а ты кормишь немцев трюфелями и паштетом из гусиной печенки. Знаешь, как у нас называют меню “Прелестного уголка”? Меню позора.

Дюпра весь напрягся. В его внешности всегда было что-то воинственное — в лице, которое мгновенно становилось жестким, в сжатых губах под короткими седыми усами и голубовато-стальных глазах.

— Я на тебя плевать хотел, Мазье. Если вы настолько глупы, что не способны понять, что я стараюсь сделать, тогда Франция действительно пропала.

— И что же ты такое делаешь, сволочь ты этакая?

Никто еще не слышал от нотариуса таких слов.

— Стою на посту, — проворчал Дюпра.

— На каком посту? На посту у пирогов с гребешками и кервелем? На посту у овощного супа с омарами? У тюрбо и фондю с луком? У жареной рыбы с тимьяном? Французская молодежь гниет в лагерях для военнопленных, если только ее не расстреливают, а ты… Рыбное суфле в масле с душистыми травами! Салат из раковых шеек! В прошлый четверг ты подавал оккупантам мусс из

омара и телячье жаркое, рулет из морепродуктов с трюфелями и фисташками, суфле из печени с брусникой…

Он вынул платок и вытер губы. Видно, слюнки потекли.

Дюпра молчал добрую минуту. У прилавка были люди: Жант из дорожного ведомства, хозяин по имени Дюма и один из братьев Лубро, которого через несколько недель арестовали.

— Слушай меня внимательно, идиот, — сказал наконец Дюпра глухим голосом. — Наши политики нас предали, наши генералы оказались рохлями, но те, кто несет ответственность за великую французскую кухню, будут защищать ее до конца. А что касается будущего… — Он испепелил их взглядом. — Войну выиграет не Германия, не Америка и не Англия! Не Черчилль, не Рузвельт и не тот, как его, который говорит с нами из Лондона! Войну выиграет Дюпра и его “Прелестный уголок”, Пик в Валансе, Пуэн во Вьене, Дюмен в Солье! Вот что я должен вам сказать, идиоты!

Никогда еще я не видал на четырех французских физиономиях выражения такого изумления. Дюпра швырнул на прилавок несколько мелких монет и положил зажигалку в карман. Он еще раз смерил всех взглядом и вышел.

Когда я рассказал об этом эпизоде дяде, Амбруаз Флёри кивнул в знак того, что понял:

— Он тоже обезумел от горя.

В тот же вечер фургончик “Прелестного уголка” остановился перед нашим домом. Дюпра приехал искать поддержки у своего лучшего друга. Сначала оба не сказали ни слова и серьезно принялись за кальвадос. Передо мной сидел совсем не тот человек, которого я видел несколько часов назад в “Улитке”. У Марселена было бледное, искаженное лицо, от его решительного вида не осталось и следа.

— Знаешь, что мне сказал на днях один из этих господ? Он встал из-за стола и заявил, улыбаясь: “Герр Дюпра, силами немецкой армии и французской кухни мы вместе завоюем Европу! Европу, которой Германия даст силу, а Франция — вкус! Вы дадите новой Европе то, чего она ждет от Франции, и мы сделаем так, что вся Франция станет одним большим «Прелестным уголком»!” И добавил: “Знаете, что сделала немецкая армия, когда дошла до линии Мажино? Она двинулась дальше! А знаете, что она сделала, дойдя до «Прелестного уголка»? Она остановилась. Ха-ха-ха!” И он расхохотался.

В первый раз я видел слезы на глазах Дюпра.

— Ну ладно, Марселен! — мягко сказал дядя. — Я знаю, что после таких слов часто поют отходную, но… мы с ними разделаемся!

Дюпра взял себя в руки. В его глазах снова появился знакомый стальной блеск и даже промелькнула какая-то жестокая ирония.

— Кажется, в Америке и в Англии повторяют: “Францию нельзя узнать!” Ну что ж, пусть приходят в “Прелестный уголок”, они ее узнают!

— Так-то лучше, — сказал дядя, наполняя его стакан.

Оба теперь улыбались.

— Потому что, — сказал Дюпра, — я не из тех, кто стонет: “Не знаю, что нам готовит будущее!” Я-то знаю: в справочнике Мишлена Франция будет всегда!

Дяде пришлось проводить его домой. Думаю, именно в тот день я понял отчаяние, гнев, но также и верность Марселена Дюпра, эту чисто нормандскую смесь ловкости и скрытого огня — огня, о котором он когда-то говорил мне, что он наш общий отец. Во всяком случае, когда в марте 1942 года зашла речь о том, чтобы сжечь “Прелестный уголок”, где за столами оккупантов толпились самые видные коллаборационисты, я возражал изо всех сил.

На этом собрании нас было пятеро, в том числе месье Пендер: я с ним долго говорил, и он обещал сделать все возможное, чтобы охладить горячие головы. Присутствовали: Гедар, начинавший работу по размещению подпольных посадочных площадок на западе; Жомбе, агрессивный и нервный, словно он уже предчувствовал свой трагический конец; школьный учитель Сенешаль и прибывший из Парижа для расследования на месте “дела Дюпра” и принятия необходимых решений Вижье. Мы собрались в доме Гедара, на втором этаже, напротив ресторана. Перед ним уже выстроились рядами генеральские “мерседесы” и черные “ситроены” гестапо и их французских коллег. Жомбе стоял у окна, слегка отодвинув занавеску.

— Больше невозможно терпеть, — повторял он. — Вот уже два года Дюпра подает пример раболепия и низости. Это невозможно выносить. Этот повар из кожи лезет вон, чтобы услужить фрицам и предателям.

Он подошел к столу и открыл “досье” Дюпра. Доказательства пособничества врагу, как тогда говорили.

— Вы только послушайте…

Нам не нужно было слушать. Мы знали “доказа-

тельства” наизусть. Жареный угорь в изумрудном соусе подавался послу Гитлера в Париже Отто Абецу и его друзьям. Фантазия гурмана “Марселен Дюпра” — заказ посла Виши в Париже Фернана де Бринона (его расстреляли в 1945 году). Пирог со спаржей и раками, суфле из печени с брусникой — заказ самого Лаваля с его когортой из Виши. Жаркое с овощами “Старая Франция” подавалось Грюберу и его французским помощникам из гестапо. И еще двадцать — тридцать прекраснейших произведений “лучшего мастера Франции”, которые только за одну неделю прошлого месяца потребил как победитель новый командующий немецкими войсками в Нормандии генерал фон Тиле. Одна только карта вин говорила о желании Дюпра предложить оккупантам все лучшее, что могла дать земля Франции.

— Нет, вы только послушайте! — рычал Жомбе. — Он мог бы, по крайней мере, спрятать свои бутылки, сохранить их для союзников, когда они будут здесь! Но нет, он все выставил, все выложил, все продал! От “Шато-Марго” двадцать восьмого года до “Шато-Латур” тридцать четвертого, даже один “Шато-Икем” двадцать первого!

Сенешаль сидел на кровати, поглаживая своего спаниеля. Высокий белокурый здоровяк. Я

стараюсь оживить в памяти, мысленно увидеть хотя бы цвет волос человека, от которого через несколько месяцев ничего не осталось.

— Я встретил Дюпра неделю назад, — сказал он. — Он уже объехал фермы и возвращался — его колымага вся была набита пакетами. У него был фонарь под глазом. “Хулиганы”, — сказал он мне. “Слушайте, месье Дюпра, это не хулиганы, и вы это хорошо знаете. Вам не стыдно?” Он стиснул зубы. “И ты тоже, малыш? А я считал тебя хорошим французом”. — “А по-вашему, что такое сегодня хороший француз?” — “Я тебе скажу, если ты не знаешь. Но меня это не удивляет. Вы забыли даже свою историю. Сейчас хороший француз — тот, кто хорошо держится”. Я остолбенел. Он сидит за рулем своего фургона, бензином его снабжают оккупанты, везет лучшие французские продукты немцам и говорит мне о тех, кто “хорошо держится”! “А что такое, по-вашему, хорошо держаться?” — “Это значит не сдаваться, не вешать голову и оставаться верным тому, что создало Францию… Вот! — Он показал мне свои руки. — Мой дед и мой отец работали для великой французской кулинарии, и великая французская кулинария никогда не сдавалась, она не знала поражения и никогда не узнает, пока жив будет хоть один Дю-

пра, чтобы отстаивать ее перед немцами, перед американцами, перед кем угодно! Я знаю, что обо мне думают, я слышал достаточно. Что я из кожи вон лезу, чтобы угодить немцам. К черту. Скажи, разве священник в Нотр-Дам мешает немцам преклонять колени? Через двадцать — тридцать лет Франция увидит, что главное спасли Пик, Дюмен, Дюпра и еще несколько человек. Однажды вся Франция совершит сюда паломничество, и имена великих кулинаров возвестят миру о величии нашей страны! Однажды, мой мальчик, кто бы ни выиграл войну, Германия, Америка или Россия, эту страну ждет хаос, и, чтобы в чем-то разобраться, останется только справочник Мишлена, и даже этого будет недостаточно! Тогда-то возьмутся за справочники, я тебе говорю!”

Сенешаль замолчал.

— Он в отчаянии, — сказал я. — Не надо забывать, что он из поколения, воевавшего в четырнадцатом году.

Он улыбнулся мне:

— Он немного похож на твоего дядю с его воздушными змеями.

— Думаю, ему плевать на всех, — сказал Вижье. — Он весь отдается любви к своему ремеслу и потешается над нами.

Месье Пендер был несколько смущен.

— У Дюпра есть определенное представление о Франции, — пробормотал он.

— Что?! — заревел Жомбе. — И это говорите вы, месье Пендер?

— Успокойтесь, друг мой. Потому что следует все же рассмотреть одну гипотезу…

Мы ждали.

— А если Дюпра — ясновидящий? — тихо сказал месье Пендер. — Если он видит далеко вперед? Если он действительно провидит будущее?

— Не понимаю, — проворчал Жомбе.

— Может быть, Дюпра — единственный среди нас, кто ясно видит будущее страны, и когда, предположим, нас убьют, а немцев победят, все это закончится, может быть, величием… кулинарии. Можно поставить вопрос следующим образом: кто здесь пойдет на смерть ради того, чтобы Франция стала “Прелестным уголком” Европы?

— Дюпра, — сказал я.

— Из любви или из ненависти? — спросил Гедар.

— Кажется, они достаточно хорошо уживаются вместе, — сказал я. — Кто крепко любит, крепко бьет и так далее. Думаю, если бы он опять очутился в окопах четырнадцатого года с винтовкой

в руке, он мог бы дать нам понять, что у него на сердце.

— Посмотрите, — сказал Жомбе.

Мы подошли к окну. Четыре лица — три молодых, одно старое. Занавески из тонкой бумажной материи с розовыми и желтыми цветочками.

Господа разъезжались из ресторана.

Там были начальник гестапо Грюбер, двое его французских коллег, Марль и Денье, и группа летчиков, среди которых я узнал Ханса.

— Подложить туда бомбу, — сказал Жомбе. — И сжечь "Прелестный уголок" дотла.

— Такой поступок слишком дорого обойдется населению, — сказал я.

Я чувствовал себя неуверенно. Я хорошо понимал Марселена Дюпра, его отчаяние, искренность и притворство, его хитрость и подлинное чувство, и понимал его возвышающуюся над всем верность своему призванию. Я не сомневался, что в бешенстве и унижении ветерана Первой мировой французская кулинария стала "последним окопом". Это было некое сознательное ослепление, иной взгляд на вещи, позволяющий уцепиться за что-то, чтобы не утонуть. Конечно, я не смешивал храмы с пирогами, но, будучи воспитан среди воздушных змеев "безумца Флёри",

испытывал нежность ко всему, что позволяет человеку отдавать лучшую часть самого себя.

— Знаю, вам это кажется нелепым, но не забывайте, что три поколения Дюпра до Марселена были кулинарами. Поражение и падение всего, во что он верил, глубоко травмировало его, и он отдался душой и телом тому, что осталось.

— Да, куриным эскалопам под соусом “королева Медок”, — прорычал Жомбе. — Ты издеваешься, Флёри.

У меня был готов план, о котором я уже говорил Сенешалю.

— Вместо того чтобы уничтожать “Прелестный уголок”, надо его использовать. Благодаря вину немцы много и очень свободно говорят за столом. Надо поместить в ресторан кого-нибудь, кто знал бы немецкий и передавал нам сведения. Лондону гораздо больше нужна информация, чем шумные действия.

Я напомнил также, что за этим последуют карательные операции против населения, и операцию решено было отложить. Но я знал: если не смогу убедить товарищей, что Дюпра может быть нам полезен, рано или поздно “Прелестный уголок” сгорит.

Глава XXXI

Несколько дней я ломал себе голову. Невеста Сенешаля, Сюзанна Дюлак, имела университетский диплом по немецкому языку, но я не знал, как сделать так, чтобы Дюпра взял ее на работу.

Несколько месяцев назад мне поручили координацию звеньев “цепочки спасения”, чтобы переправлять сбитых летчиков союзной авиации в Испанию. Как-то вечером один из братьев Бюи сказал мне, что они прячут у себя на ферме летчика-истребителя из “Свободной Франции”. Бюи скрывали его уже неделю, чтобы “все немного успокоилось”, и, когда немецкие патрули стали реже наведываться к сбитому самолету, связались со мной.

Я застал пилота в кухне, за столом перед блюдом рубцов. Его звали Люккези. Черноволосый, кудрявый, с насмешливым лицом, в темно-синей форме с эмблемой лотарингского креста и с платком в красный горошек на шее, он держался так непринужденно, как будто падал с неба всю жизнь.

— Скажите, нет ли здесь хорошей гостиницы,

которую я мог бы порекомендовать товарищам по эскадрилье? Мы сейчас теряем четыре-пять пилотов в месяц, так что если кто-нибудь приземлится здесь…

Мне придется прятать летчика как минимум неделю, прежде чем можно будет отправить его в Испанию. Тут меня и осенило.

На следующий день поздно вечером дядя проводил меня в “Прелестный уголок”. Я застал Дюпра в мрачном раздумье; рядом сидел его сын Люсьен. Радио Виши не скупилось на информацию, и было от чего прийти в уныние. Британского торгового флота больше не существует. Немецкий Африканский корпус подходит к Каиру, итальянская армия оккупирует Грецию…Никогда еще я не видел, чтобы Марселен Дюпра был так огорчен военными известиями. Но как только он заговорил, я увидел, что ошибаюсь. Хозяин “Прелестного уголка” просто забыл выключить радио и размышлял о вещах более серьезных.

— Я никогда не включал в свое меню говяжье филе “Россини”. Рецепт того самого Эскофье. Он был просто шарлатан. Знаешь, что такое говяжье филе “Россини”? Один обман. Эскофье его выдумал, потому что мясо у него часто было низкого качества и он забивал его вкус паштетом из гуси-

ной печенки и трюфелями, чтобы обмануть язык. Мы к этому пришли и в политике и во всем — к филе “Россини”. Один обман. Продукт подпорчен, значит, его приправляют ложью и прекрасными фразами. Чем больше слов, чем больше размах, тем меньше сомнений, что суть фальшивая. Я этого Эскофье всегда терпеть не мог. Знаешь, как он называл лягушачьи лапки? “Крылья нимф на заре”.

> …Два американских авианосца потоплены в Тихом океане… За две прошлые ночи немецкая авиация сбила триста английских бомбардировщиков…

Взгляд Дюпра был слегка мутноват.

— Так дальше продолжаться не может, — говорил он. — Все делается напоказ. Например, оформление — пора этому положить конец. То, что на блюде, говорит само за себя. Но мне не удается этого доказать. Даже Пуэн отказывается признать, что украшение еды — вещь противоестественная. При украшении кушанье теряет свою свежесть, первозданность и аромат. Оно должно появляться на блюде прямо с огня. А Ванье осмеливается говорить: “Только в трактирах еду приносят из кухни на тарелках”. А где во всем

этом вкус? Главное — вкус, который надо поймать в момент кульминации, когда готовность и аромат достигают высшей точки, надо не упустить это мгновение.

> …Сотни тысяч пленных на русском фронте… Жестокие репрессии сил правопорядка против предателей и саботажников… За одну ночь двенадцать английских городов стерты с лица земли…

Внезапно я понял, что Дюпра говорит, чтобы не взорваться, и что он по-своему борется против отчаяния.

— Привет, Марселен, — сказал дядя.

Дюпра встал и выключил приемник:

— Чего вы от меня хотите в такое время?

— Малыш хочет тебе сказать пару слов. Лично.

Мы вышли. Он молча нас выслушал.

— Ничего не поделаешь. Я всей душой с Сопротивлением, я это достаточно доказал, поскольку держусь в невыносимых условиях. Но я не приму у себя сбитого летчика под носом у немцев. Они меня закроют.

Дядя слегка понизил голос:

— Это не просто летчик, Марселен. Это адъ-

ютант генерала де Голля.

Дюпра как будто парализовало. Если когда-нибудь тому, кто твердой рукой держал руль “Прелестного уголка” во время шторма, воздвигнут памятник на площади Клери, думаю, его следовало бы изобразить именно таким — с жестким взглядом и сжатыми челюстями. Кажется, он воспринимал главу французского Сопротивления в каком-то смысле как соперника.

Он задумался. Я видел, что он колеблется и не может решиться. Дядя не без лукавства наблюдал за ним.

— Это очень мило, — сказал он наконец, — но ваш де Голль в Лондоне, а я здесь. Мне, а не ему приходится каждый день противостоять трудностям.

Он боролся с собой еще минуту. В тщеславии Марселена было нечто, не лишенное величия.

— Я не поставлю на карту все, что мне удалось спасти, ради вашего парня. Это слишком опасно. Рисковать “Прелестным уголком” ради красивого жеста — ну нет! Но я сделаю лучше. Я вам дам меню “Прелестного уголка”, чтобы ваш парень передал его де Голлю.

Я остолбенел. В темноте высокая белая фигура Дюпра походила на какой-то призрак мстителя.

Дядя Амбруаз на минуту потерял дар речи, но, когда Дюпра удалился на кухню, пробормотал:

— Да, некоторым из нас сейчас несладко, но этот окончательно рехнулся.

Ворчанье английских бомбардировщиков смешалось с огнем зенитных орудий; эти звуки нормандская деревня слышала каждую ночь. Лучи прожекторов рассекали небо и скрещивались у нас над головой. А потом небо продырявила оранжевая вспышка: взорвался подбитый самолет с бомбами.

Вернулся Дюпра. Он держал в руке меню “Прелестного уголка”. Рядом с Бюрсьером упало несколько бомб.

— Вот слушайте. Это личное послание де Голлю от Марселена Дюпра. — Он повысил голос, чтобы перекричать грохот немецких зениток: — Крем-суп с речными раками… Слоеный пирог с трюфелями под белым вином… Сибас в томатном соусе…

Он нам прочел все меню, от мусса из фуа-гра в желе с перцем и теплого картофельного салата под белым вином до граниты из персиков с померолем. Бомбардировщики союзников гудели у нас над головой, и у Марселена Дюпра слегка дрожал голос. Иногда он замолкал и сглатывал.

Думаю, ему было страшновато.

Со стороны железной дороги Этрийи земля вздрогнула от взрыва.

Дюпра дочитал и вытер лоб. Он протянул мне меню:

— Держи. Отдай его твоему летчику. Пусть де Голль вспомнит, что это такое. Пусть знает, за что он сражается.

Прожекторы продолжали играть лучами в небе, и колпак первого повара Франции казался увенчанным молниями.

— Я не убиваю немцев, — сказал он. — Я их подавляю.

— Тебе просто наплевать на людей, Марселен, — тихо сказал дядя.

— Ах, ты так думаешь? Посмотрим. Посмотрим, за кем будет последнее слово, за де Голлем или за моим "Прелестным уголком".

— Нет ничего дурного в том, чтобы французская кухня победила, если только она не победит за счет всего остального, — сказал дядя. — Я только что прочел результаты конкурса — одна газета организовала его, чтобы узнать, что делать с евреями. Первый приз получила молодая женщина, которая ответила: "Поджаривать". Должно быть, она хорошая хозяйка и в наше время лишений

мечтает о хорошем жарком. Впрочем, не следует осуждать страну за то, что она делает со своими евреями, — во все времена евреев судили за то, что с ними делали.

— К черту, — неожиданно сказал Дюпра. — Приводите вашего летчика. Только не воображайте, что я делаю это, чтобы хорошо выглядеть в будущем. С этой стороны я ничего не опасаюсь. Каждый мало-мальски соображающий немец, который ступает на порог “Прелестного уголка”, понимает, что имеет дело с историческим превосходством и непобедимостью. На днях здесь обедал Грюбер. И знаете, что он заявил, когда кончил обедать? “Герр Дюпра, вас следовало бы расстрелять”.

Мы молча ушли. Когда мы шли по лугу, дядя сказал:

— Во время поражения, когда вся страна рушилась, я думал, что Марселен сойдет с ума. Люсьен рассказал мне, что когда после падения Парижа он зашел в кухню, то застал отца на табурете с петлей на шее. Несколько дней он бредил, бормоча фразы, где утка с нормандскими травами и его знаменитое жибуле со сливками мешались со

словами “Фош”, “Верден” и “Гинемер”[23]. Потом он хотел закрыть ресторан, а потом заперся в кабинете со своей коллекцией из трехсот меню, где есть все, что на памяти нескольких поколений составляло славу “Прелестного уголка”. Думаю, он так и не оправился полностью и именно в тот момент принял решение доказать Германии и нашей стране, что такое французский кулинар, который не сдается. Не нам с тобой обвинять его в безумии.

[23] Примечания: 23

Жорж *Гинемер* (1894–1917) — знаменитый французский летчик, герой Первой мировой войны.

Глава XXXII

Завтрак лейтенанта Люккези в “Прелестном уголке” был памятным событием. Мы снабдили его новеньким костюмом и безупречными бумагами, хотя с начала оккупации у Дюпра ни разу не бывало проверки документов. Лейтенанта обслуживали за лучшим столом “ротонды”, среди старших офицеров вермахта, в числе которых был сам генерал фон Тиле. После завтрака Марселен Дюпра сам проводил Люккези до двери, пожал ему руку и сказал:

— Заходите к нам.

Люккези посмотрел на него.

— К сожалению, невозможно выбрать место, где тебя собьют, — сказал он.

С этого дня Дюпра больше ни в чем нам не отказывал. Думаю, не из-за того, что мы как бы “держали его на крючке”, и не из-за ощущения, что ветер подул в другую сторону и надо налаживать отношения с Сопротивлением, а потому, что если слова “священное единение” имели для него какой-то смысл, то, по его мнению, центром такого союза должен был стать “Прелестный уголок”.

Как сказал дядя, скорее нежно, чем насмешливо, “хотя Марселен и старше де Голля, у него есть все шансы стать его преемником”.

Так и получилось, что Дюпра согласился взять на работу в качестве “очаровательной хозяйки” (его единственным условием было: “только не проститутка”) невесту Сенешаля, Сюзанну Дюлак, одну из “наших”, красивую молодую брюнетку с веселыми глазами, которая прекрасно знала немецкий; разумеется, обрывки застольных бесед, которые она подслушивала, интересовали Лондон — там явно придавали большое значение всему, что происходит в Нормандии; у нас был приказ не пренебрегать никакой информацией. Но вскоре мы получили такой важный источник информации, что вся работа нашей организации перестроилась. Мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя, и не только от неожиданности: я до сих пор и представить себе не мог, на что человек — в данном случае женщина — может пойти при железной решимости бороться и выжить.

Работая у Марселена Дюпра, я все чаще видел на накладных и счетах имя графини Эстергази — die Gräfin, как называли ее немцы, — к которой мой патрон питал большое уважение: она

умела принимать гостей. “Прелестный уголок” полностью обеспечивал “буфет” на ее приемах, что приносило Дюпра крупные суммы.

— Это настоящая дама, — объяснял он мне, разглядывая цифры. — Парижанка из очень хорошей семьи, была замужем за племянником адмирала Хорти, знаешь, венгерского диктатора. Говорят, он ей оставил огромные поместья в Португалии. Я раз был у нее — у нее на рояле фотографии Хорти, Салазара, маршала Петена, все с надписями. Веришь или нет, есть даже карточка самого Гитлера: “Графине Эстергази от ее друга Адольфа Гитлера”. Я своими глазами видел. Неудивительно, что немцы перед ней лебезят. Когда она вернулась из Португалии после победы — то есть, я хочу сказать, после поражения, — она сначала поселилась в “Оленьей гостинице”, но гостиницу забрал немецкий штаб, а ей из уважения оставили особняк в парке. Во всяком случае, у нее собирается почти столько же людей из высшего света, сколько у меня.

Собаки в “Прелестный уголок” не допускались. В этом отношении Дюпра был непреклонен. Даже шпица, с которым иногда приходил Грюбер, просили подождать в саду; правда, Дюпра посылал ему в сад вкусный паштет. Однажды, когда

я был в конторе, месье Жан вошел с пекинесом под мышкой:

— Это собачка Эстергази. Она просила передать ее тебе, она скоро за ней зайдет.

Я взглянул на пекинеса, и у меня на лбу выступил холодный пот. Это был Чонг, пекинес мадам Жюли Эспинозы. Я попытался взять себя в руки и убедиться, что тут случайное сходство, но я никогда не умел хитрить с памятью. Я узнавал черную мордочку, каждый завиток белой и рыжей шерсти, маленькие рыжие ушки. Собачка подошла ко мне, положила лапки мне на колени и начала повизгивать, виляя хвостиком. Я прошептал:

— Чонг!

Он вскочил мне на колени и облизал мне лицо и руки. Я сидел и гладил его, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Возможно было только одно объяснение. Мадам Жюли выслали, а собачка каким-то образом оказалась у этой Эстергази. Я знал, как почтительно немцы обращаются с животными, и вспомнил одно сообщение в “Ла газетт”, где население оповещалось о том, что “перевозка живой птицы вниз головой со связанными ногами под рамой велосипеда расценивается как истязание и строго воспрещается”.

Итак, Чонг нашел новую хозяйку. Нахлынули

воспоминания, воспоминания о Жюли, уверенной в поражении и принимающей все меры, чтобы подготовиться к будущему: от “безупречных” документов и миллионов фальшивых банкнот до портретов Хорти, Салазара и Гитлера, которые так меня интриговали и которые “еще не были надписаны”. Я продолжал потеть от волнения, когда месье Жан открыл дверь и я увидел, как входит мадам Жюли Эспиноза. По правде говоря, если бы не Чонг, я бы ее не узнал. От старой сводни с улицы Лепик осталась только темная глубина взгляда, вобравшего, казалось, весь тысячелетний жестокий опыт мира. Обрамленное седыми волосами лицо имело выражение высокомерной холодности; на плечи было небрежно наброшено манто из выдры; на шее — шарф серого шелка; она обзавелась величественной грудью, пополнела на добрый десяток килограммов и выглядела на столько же лет моложе: потом она мне объяснила, что, используя свои связи, “рассталась с морщинами” в военном ожоговом госпитале в Берке. К шарфу была приколота золотая ящерица, которую я так хорошо знал. Она подождала, пока месье Жан почтительно закроет за ней дверь, достала из сумки сигарету, прикурила от золотой зажигалки и затянулась, глядя

на меня. На ее губах появился намек на улыбку, когда она увидела, как я, застыв на стуле, гляжу на нее с разинутым от удивления ртом. Она взяла на руки Чонга и еще минуту внимательно и почти недоброжелательно смотрела на меня, как бы не одобряя доверие, которое вынуждена была оказать мне; потом наклонилась ко мне.

— Дюкро, Сален и Мазюрье под подозрением, — прошептала она. — Грюбер их пока не трогает, потому что хочет выйти на остальных. Скажи им, чтобы на время притихли. И больше никаких собраний в задней комнате “Нормандца”, или, во всяком случае, не одни и те же физиономии. Понятно?

Я молчал. У меня был туман перед глазами, и мне вдруг захотелось в уборную.

— Ты запомнишь фамилии?

Я кивнул.

— И ничего им обо мне не скажешь. Ни слова. Ты меня никогда не видел. Понял?

— Понял, мадам Жю…

— Молчи, дурак. Госпожа Эстергази.

— Да, госпожа Эстер…

— Не Эстер. Эстергази. Эстер в наше время неподходящая фамилия. И поторопись, потому что иначе Грюбер может схватить их перед собра-

нием. У меня там парень, который мне передает сведения, но этот идиот уже три дня лежит с пневмонией.

Она поправила на плечах манто из выдры, расправила шарф, посмотрела на меня долгим взглядом, раздавила сигарету в пепельнице на моем столе и вышла.

Я пробегал весь день, предупреждая товарищей об опасности. Субабер непременно хотел знать, кто меня предупредил, но я сказал, что прохожий передал мне на улице записку и убежал со всех ног.

Я был настолько потрясен превращением хозяйки с улицы Лепик в эту статую командора, явившуюся ко мне в контору, что старался не думать об этом и никому не сказал ни слова, даже дяде Амбруазу. В конце концов я решил, что мое “состояние” ухудшилось и у меня была галлюцинация. Но два-три раза в месяц, во время обеда, месье Жан приносил мне собачку графини, и, забирая ее, она всегда сообщала мне какие-то сведения, порой такие важные, что мне сложно было потом убедить всех, будто эту информацию я получил от незнакомого человека на улице в Клери.

— Послушайте, мадам… в общем, как вы хо-

тите, чтобы я объяснил им, откуда у меня такие сведения?

— Я запрещаю тебе говорить обо мне. Я не боюсь сдохнуть, но уверена, что нацисты проиграют войну, а я хочу это видеть.

— Но как вы…

— Моя дочь — секретарша в штабе, в “Оленьей гостинице”. — Она зажгла сигарету. — И еще она любовница полковника Штеккера.

Она усмехнулась и погладила Чонга.

— “Оленья гостиница”. У всех оленей есть рога. Скажешь твоим, что нашел эти сведения в конверте на своем столе. Ты не знаешь, откуда они. Скажи им, если хотят продолжать получать информацию, то не должны задавать тебе вопросов.

В первый раз я увидел на ее лице тень беспокойства, когда она смотрела на меня.

— Я тебе доверилась, Людо. Это всегда большая глупость, но я пошла на риск. Я всегда стояла обеими ногами на земле, но на этот раз… — Она улыбнулась. — Я недавно ходила смотреть на воздушных змеев твоего дяди. Там был один очень красивый, он вырвался у него из рук и улетел. Твой дядя мне сказал, что он уже не вернется или его подберут поломанным и разорванным.

— Погоня за синевой, — сказал я.

— Никогда не думала, что со мной так будет, — сказала мадам Жюли Эспиноза, и неожиданно я увидел у нее на глазах слезы. — Может, когда человек видел слишком много черного, он от синевы теряет голову.

— Можете мне верить, мадам Эстергази, — сказал я мягко. — Я вас не выдам. Вы ведь мне говорили, что у меня взгляд смертника.

Субабер не поверил ни единому слову из этой истории с конвертом. Когда я вручил ему дислокацию всех немецких войск в Нормандии — количество самолетов на каждом участке, места размещения береговых батарей и зенитных орудий, количество немецких дивизий, выведенных из России и продвигающихся на запад, — он был близок к тому, чтобы начать разбор моего дела.

— Откуда это у тебя, негодяй?

— Не могу вам сказать. Я поклялся.

Товарищи начинали бросать на меня странные взгляды. Лондон требовал сообщить источник сведений. Я до того ломал себе голову, что по несколько дней не видел Лилу. Мне нужно было во что бы то ни стало найти выход из положения и добиться от той, кого я мысленно называл

“Еврейкой”, разрешения все объяснить командиру нашей организации. В конце концов я прибег к доводу, которым не мог особенно гордиться, но который мне показался подходящим.

В воскресенье, побывав на мессе, Эстергази пришла обедать в “Прелестный уголок”. Месье Жан, как обычно, вручил мне Чонга. Около трех часов графиня вошла ко мне в контору, вынула из сумки записку, бросила осторожный взгляд на дверь и положила бумажку передо мной:

— Выучи это наизусть и сразу сожги.

Это был список “доверенных лиц”, то есть осведомителей гестапо в нашем районе.

Я два раза перечитал фамилии и сжег бумагу.

— Как вы это достали?

Мадам Жюли сидела передо мной, вся в сером, глядя на Чонга.

— Не важно.

— Да объясните же, господи! Это просто немыслимо. Это взято прямо из гестапо.

— Ладно, я скажу тебе. Арнольд, заместитель Грюбера, гомосексуалист. Он живет с одним из моих друзей, евреем.

Она потерлась щекой о мордочку Чонга.

— Только я одна знаю, что он еврей. Я ему сделала фальшивые арийские документы. Три

поколения арийцев. Он ни в чем не может мне отказать.

— Теперь, когда у него хорошие документы, он может выдать вас, чтобы избавиться.

— Нет, мой маленький Людо, потому что я сохранила его настоящие документы. — В ее черных глазах было что-то непреклонное, почти непобедимое. — До свидания, малыш.

— Подождите. Как вы думаете, что с вами будет, если меня схватят и расстреляют?

— Ничего. Мне будет очень грустно.

— Вы ошибаетесь, госпожа Эстергази. Если не будет меня, чтобы засвидетельствовать все, что вы сделали для Сопротивления, с первых же дней освобождения вами займутся. И тогда не останется никого, чтобы защитить вас. Останется только… — Я проглотил слюну и собрал все свое мужество. — Останется только сводня Жюли Эспиноза, которая была в наилучших отношениях с немцами. Можете быть уверены, тогда будут расстреливать так же быстро, как сейчас. Только я знаю, что вы для нас сделали, и если меня уже не будет…

На секунду ее рука застыла на головке Чонга, потом продолжила его гладить. Я был испуган собственной дерзостью. Но увидел на лице “хо-

зяйки” улыбку.

— Ну вот, ты заматерел, Людо, — сказала она. — Настоящий мужчина. Но ты прав. У меня есть свидетели в Париже, но, может быть, я не успею обернуться. Ладно, давай. Можешь сказать своим друзьям. И скажи им, чтобы завтра же было письмо с перечислением услуг, которые я им оказала. Я буду хранить его в надежном месте… там, куда, уважая мой возраст, никто уже не полезет. И скажи своему начальнику… как его?

— Субабер.

— Скажи, что, если кто-то проболтается, я первая это узнаю и успею скрыться, а вы не успеете. Никто из вас. Никто не уцелеет, даже ты. Меня слишком часто в жизни использовали, чтобы я позволила сделать это еще раз. Пусть твой начальник держит рот на замке, а то я его закрою ему навсегда.

В тот вечер мне понадобился целый час, чтобы все объяснить Субаберу. Выслушав меня, он сказал только:

— Да, эта шлюха — чудо.

Впоследствии мне пришлось почти пожалеть, что я прибег к такому средству, чтобы воздействовать на графиню. Я затронул ее самое чувствительное место: инстинкт самосохранения.

Забота о том, что с ней будет после ухода немцев, стала ее навязчивой идеей: она только что не требовала от меня расписки каждый раз, как передавала мне сведения. Получив удостоверение “Выдающийся участник Сопротивления” с датой и подписью “Геркулес” (скромный псевдоним, который избрал себе Субабер), она потребовала еще одно, для дочери, и третье, также отпечатанное на машинке, с датой и подписью, но где имя владельца не было вписано.

— На случай, если я захочу кого-нибудь спасти, — объяснила она мне.

Скоро мадам Жюли дали в Лондоне подпольную кличку: Гаранс. Сегодня все знают, как много она сделала для победы, так как она получила орден Сопротивления, но здесь я изменил некоторые имена и детали, чтобы не поставить в неловкое положение ту, которая после войны приобрела такую известность. Она продолжала нас информировать, пока не высадились союзники, и ее ни разу не заподозрили и не тронули. До самого конца ее связи с оккупантами квалифицировались в наших краях как “постыдные”: за несколько дней до высадки союзников она устроила для немецких офицеров “Оленьей го-

стиницы” garden-party[24]. Она осмелела до того, что разрешила нам установить радиопередатчик в комнате своей горничной, и означенная горничная, Одетта Лонье, только что прошедшая курс обучения в Лондоне, могла, таким образом, спокойно работать в ста пятидесяти метрах от немецкого штаба.

С самого начала у нас была договоренность, что я никогда не буду сам вступать в контакт с графиней.

— Если у меня для вас что-то есть, я приду сюда обедать и оставлю тебе Чонга. Уходя, я его заберу и скажу тебе что надо. Если я захочу, чтобы ты пришел ко мне, я забуду здесь собачку, и ты мне ее принесешь…

Через несколько месяцев после нашей первой встречи месье Жан вошел ко мне в кабинет, где Чонг дремал на стуле.

— Эта Эстергази забыла собачонку. Она только что звонила. Хочет, чтобы ты ее принес.

— Черт, — сказал я для проформы.

Вилла, которую до войны занимала еврейская семья из Парижа, находилась в большом парке “Оленьей гостиницы”. Чонгу совсем не понрави-

---

[24] Примечания: 24
Прием в саду *(англ.).*

лась поездка на велосипеде у меня под мышкой, и он все время вырывался. Мне пришлось немного пройти пешком. Довольно хорошенькая горничная вышла на мой звонок:

— Ах да, мадам его забыла…

Она хотела взять песика, но я с мрачным видом упирался:

— Послушайте, я час трясся на велосипеде и…

— Сейчас спрошу.

Через несколько минут она вернулась:

— Мадам просит вас зайти. Она хочет вас поблагодарить.

Графиня Эстергази, в скромном сером платье, которое так шло к ее белоснежным волосам, уложенным в пучок, появилась в дверях гостиной в сопровождении молодого немецкого офицера — он с ней прощался. Я его хорошо знал в лицо: это был переводчик штаба, часто сопровождавший в “Прелестный уголок” полковника Штеккера.

— До свидания, капитан. И поверьте мне, адмирал Хорти стал регентом не по своей воле. Его популярность, значительная уже в семнадцатом году после битвы при Отранте, так возросла после того, как он разгромил в девятнадцатом году большевистскую революцию Белы Куна, что ему оставалось лишь склониться перед волей

народа…

Это был, слово в слово, отрывок из учебника истории, который мадам Жюли пересказывала при мне наизусть в 1940 году, когда готовилась к победе немцев.

— Тем не менее говорят, что у него были династические претензии, — сказал капитан. — Он сделал своего сына Иштвана вице-регентом…

— Ах, вот ты где! — Она мне улыбнулась. — Бедненький! Я его забыла. Идите сюда, молодой человек, идите сюда…

Офицер поцеловал руку графини и вышел. Я прошел за ней в гостиную. На рояле стояли знаменитые “надписанные” портреты Хорти и Салазара, которые я видел в гостинице “Пассаж”. На стене на видном месте красовался портрет маршала Петена. Недоставало только портрета Гитлера, который я тоже видел “подготовленным” на улице Лепик.

— Да, знаю, — сказала мадам Жюли, проследив за моим взглядом. — Но мне от него делается дурно.

Она выглянула в переднюю, потом закрыла дверь.

— Этот красивый капитан спит со служанкой, — сказала она. — Тем лучше, это может

пригодиться. Но я каждые два-три месяца меняю прислугу. Так вернее. А то они успевают слишком много узнать.

Она еще раз быстро открыла дверь и выглянула. Никого не было.

— Ну ладно. Иди сюда.

Я прошел за ней в спальню. За несколько минут в ней произошла удивительная перемена. В “Прелестном уголке” и когда она сейчас, на моих глазах, говорила с немецким офицером, это была светская дама; она держалась очень прямо, с высоко поднятой головой, опираясь на трость. Сейчас она тяжело переваливалась с ноги на ногу, как грузчик под непосильной ношей. Она как будто потолстела на двадцать килограммов и постарела на двадцать лет.

Она подошла к комоду, открыла ящик и вынула флакон духов “Коти”:

— На, возьми.

— Духи, мадам Жю…

— Никогда меня так не зови, дурак. Избавься от этой привычки, а то можешь оговориться в неподходящий момент. Это не духи. Это убивает, но действует через сорок восемь часов. Слушай внимательно…

Так мы узнали в июне 1942-го, что новый ко-

мандующий немецкими войсками в Нормандии генерал фон Тиле собирается дать в “Прелестном уголке” обед, на котором должны присутствовать сам министр люфтваффе маршал Геринг, группа лучших летчиков-истребителей, в том числе Гарланд, враг номер один английской авиации, и некоторые из самых высокопоставленных генералов.

Нашим первым решением, когда мы узнали день и час геринговского обеда, было нанести решающий удар. Ничего нет проще, чем подлить яду в кушанья. Но все же это было слишком важное дело, чтобы провести его по собственной инициативе, и мы запросили Лондон. Надо было все предусмотреть, в том числе эвакуацию Дюпра в Англию на подводной лодке. О подробностях операции “Ахиллесова пята” рассказывалось уже не раз, в частности — в мемуарах Дональда Саймса “Огненные ночи”.

Мне поручили уговорить Дюпра, и я с опаской приступил к делу. В избранном генералом фон Тиле меню среди других блюд был рулет из морепродуктов с трюфелями и фисташками. Я изложил наш план — признаюсь, довольно слабым голосом.

Дюпра решительно отказался:

— Яд в моем рулете? Это невозможно.

— Почему?

Он испепелил меня тем голубовато-стальным взглядом, который я так хорошо знал:

— Потому что это будет невкусно.

Он повернулся ко мне спиной. Когда я робко попытался пойти за ним на кухню, он взял меня за плечи и молча вытолкал вон.

К счастью, Лондон послал нам приказ, аннулирующий операцию. Я даже задавал себе вопрос, не сам ли де Голль ее отменил, заботясь о престиже “Прелестного уголка”.

Глава XXXIII

Я меньше говорил с Лилой, меньше видел ее и лучше скрывал от посторонних глаз: таково было правило подполья. Время от времени то один, то другой из нас попадался, потому что слишком рисковал и не умел скрывать свой “смысл жизни”. Я держал в памяти столько сотен адресов, которые без конца менялись, столько кодов, сообщений, военных сведений, что теперь Лила занимала в ней меньше места, ей пришлось сжаться и довольствоваться малым. До меня с трудом доносился ее голос с оттенком упрека, когда у меня была возможность подумать о ней, а не о завтрашнем дне, встречах, арестах и всегда возможном предательстве.

“Если ты так будешь забывать меня, Людо, все будет кончено. Все. Чем больше ты будешь меня забывать, тем больше я буду превращаться в воспоминание”.

“Я тебя не забываю. Я тебя прячу, вот и все. Я не забыл ни тебя, ни Тада, ни Бруно. Ты должна была бы понять. Сейчас не время открывать немцам свой смысл жизни. Они за это расстреливают”.

“Ты стал таким уверенным в себе, таким спокойным. Ты часто смеешься, как будто со мной ничего не может случиться”.

“Пока я буду спокоен и уверен, с тобой ничего не случится”.

“Как ты можешь знать? А если я умерла?”

Когда я слышу этот коварный шепот, мое сердце почти останавливается. Но это не голос Лилы. Это голос усталости и сомнения. Никогда еще я не делал таких усилий, чтобы сохранить в себе безумие.

Я не пренебрегаю никакими уловками, никакими хитростями. Ночью я встаю, грею воду и наполняю ванну. Там, в своем заснеженном лесу, где такой мороз, что каждое утро под деревьями валяются тельца замерзших птиц, они мечтают о горячей ванне.

“Ты действительно заботишься обо всем, Людо”.

Она здесь, в тени моих век, сидит по шею в теплой воде.

“Тяжело, знаешь. Голод, снег… А я так ненавижу холод! Я себя спрашиваю, сколько еще мы сможем продержаться. Русские все отступают. Никто нам не помогает. Мы одни”.

“А как Тад?”

“Он командует всеми здешними партизанами. Его имя стало легендарным”.

“А Бруно?”

Она улыбается:

“Бедняжка! Видел бы ты его с винтовкой в руке… Несколько месяцев он держался…”

“Чтобы быть рядом с тобой”.

“Теперь он в Варшаве, у своего профессора музыки. У него есть рояль”.

Я чувствую, как чья-то рука резко встряхивает меня за плечо. В дождливом сумраке утра у кровати стоит дядя.

— Вставай, Людо. Около Гуанских болот нашли английский самолет. На борту никого нет. Летчики, наверно, бродят в поисках убежища. Надо попытаться их найти.

Еще месяц, другой. Окружающая действительность становится все более жестокой, все более безжалостной: все, кто издавал газету “Кларте”, арестованы, никому не удалось спастись. Вот уже несколько недель, как я не видел Лилу; я даже ходил к доктору Гардье, чтобы узнать, нет ли у меня чего с сердцем. Но нет, все нормально.

Когда я слишком унывал, и у меня не хватало сил, и мое воображение складывало оружие, я отправлялся в Клери к своему старому учителю

французского. Он жил в доме с садиком, казавшимся тесным из-за двух огромных деревьев. Госпожа Пендер готовила чай и подавала нам в библиотеку. Ее муж усаживал меня и долго смотрел на меня поверх пенсне. Он был, наверно, последним человеком, который еще носил одежду из люстрина. Для письма он еще пользовался старым пером “сержан”, каким писали, когда я был маленьким. Он говорил мне, что в молодости мечтал стать романистом, но что воображение помогло ему только найти жену. Госпожа Пендер смеялась, поднимала глаза к небу и наполняла чашки. Есть пожилые женщины, в которых, когда они смеются или делают какие-то определенные движения, оживает молодая девушка. Я молчал. Я приходил не разговаривать, а успокоиться; эта пара, которая никогда не расставалась, успокаивала меня своей прочностью; их совместная старость давала мне надежду на долговечность. В доме было холодно, и месье Пендер сидел за письменным столом, набросив на плечи пальто, в широкополой шляпе, с фланелевым платком на шее; госпожа Пендер носила старомодные платья до щиколоток, ее седые волосы были собраны в пучок. Я жадно наблюдал за ними, как бы видя в них свое будущее. Я мечтал о старости, о том,

чтобы на пороге дряхлости быть вместе с Лилой. Все, что было во мне сомнением, тревогой, почти отчаянием, успокаивалось при виде этой старой счастливой четы. В эту гавань мне хотелось приплыть.

— Над Амбруазом Флёри и его воздушными змеями смеются по-прежнему, — сказал месье Пендер. — Это добрый знак. У смешного есть большое преимущество: это надежное укрытие, где серьезное может затаиться и выжить. Удивляюсь, почему гестапо вас не трогает.

— Они уже у нас рылись и ничего не нашли.

Месье Пендер улыбнулся:

— Это проблема, которую нацисты никогда не смогут решить. Здесь все их поиски оказываются безрезультатными. Как… твоя подруга?

— Нам много всего сбрасывают с парашютов. Радиопередатчики нового типа и даже инструктора. И оружие. Только на ферме Гамбье спрятано сто пистолетов, гранаты и зажигательные шашки… Я делаю все, что могу.

Месье Пендер кивнул мне в знак того, что понимает:

— Я одного только боюсь, Людовик Флёри, — вашей… встречи. Может быть, меня уже не будет, и это избавит меня от многих разочарований. Когда

вернется Франция, она будет нуждаться не только во всей силе нашего воображения, но и во многих воображаемых вещах. И эта молодая женщина, которую ты три года так горячо воображаешь… Когда ты ее найдешь… Придется тебе по-прежнему изо всех сил ее придумывать. Она наверняка будет совсем другой, не такой, как раньше. Наши бойцы Сопротивления, ожидающие от Франции после освобождения бог весть какого чуда, не раз горько посмеются над мерой своего разочарования; но их собственная мерка…

— Недостаток любви, — сказал я.

Месье Пендер сосал пустой мундштук.

— Ничто из того, что не может быть объектом воображения, не заслуживает права на существование — иначе море было бы просто соленой водой… Я, например, уже пятьдесят лет не устаю придумывать свою жену. Я даже не дал ей постареть. Все ее недостатки я превратил в достоинства. А я в ее глазах человек необыкновенный. Она тоже всегда меня придумывала. За пятьдесят лет совместной жизни по-настоящему учишься не видеть друг друга, а выдумывать — каждый день. Конечно, всегда надо принимать вещи такими, как они есть. Чтобы лучше свернуть им шею. Впрочем, цивилизация — не что

иное, как постоянное свертывание шеи вещам, как они есть…

Через год месье Пендера арестовали, и он не вернулся из концлагеря; не вернулась и его жена, хотя в концлагерь не попала. Я их часто навещаю в их домике, и они по-прежнему приветливо меня встречают, хотя их будто бы давно уже нет.

Глава XXXIV

Принимая участие в подпольной борьбе, чтобы ускорить возвращение Лилы, я обеспечивал связь между товарищами; кроме того, вместе с Андре Кайе и Лариньером отвечал за нормандское звено “цепочки спасения”, которая прятала и переправляла в Испанию сбитых летчиков союзников — тех, кого наши успевали подобрать раньше немцев. Только за февраль — март 1942-го мы смогли переправить пятерых из девяти пилотов, которым удалось посадить самолет или выброситься с парашютом. В конце марта Кайе сообщил, что на ферме Рие прячут летчика — место хорошее, но семья Рие начала беспокоиться, особенно старуха, ей восемьдесят лет, и она боится за своих. Мы пустились в путь на заре; стоял туман. Влажная земля липла к нашим башмакам; надо было пройти двадцать километров да еще обходить дороги и немецкие посты. Мы шли молча, и только когда были уже возле фермы, Кайе объявил:

— Слушай, я забыл тебе сказать… — Он бросил на меня искоса дружеский и немного лукавый

взгляд. — Может, это тебе будет интересно. Этот летчик — поляк.

Я знал, что в Британских военно-воздушных силах много польских летчиков, но участникам Сопротивления такой попадался в первый раз. Тад, подумал я. Глупая мысль: согласно тому, что носит столь трагическое порой название “подсчет вероятностей”, не было никакого шанса, чтобы это был он. Надежда часто шутит с нами подобным образом, но, в конце концов, только такими шутками и живешь. Мое сердце страшно забилось; я остановился и устремил на Андре Кайе умоляющий взгляд, как если бы все зависело от него.

— В чем дело?

— Это он, — сказал я.

— Кто он?

Я не ответил. В лесу, в километре от фермы, был сарай, где Рие держали дрова; метрах в ста от сарая мы выкопали подземный ход: он вел к тайнику, где хранилось оружие; там же прятались наши товарищи, чья жизнь находилась под угрозой, и летчики, которых удавалось спасти. Снаружи вход был замаскирован кучей хвороста. Мы отгребли поленья и ветки и, приподняв заслон, спустились в двадцатиметровый

ход, который вел к тайнику. Было очень темно; я зажег фонарик; летчик спал на матрасе, под одеялом; я видел только нашивку Poland[25] на рукаве его серого мундира и волосы. Этого мне было достаточно, но сама мысль показалась такой невероятной, такой дикой, что я бросился к спящему и, отогнув одеяло, поднес фонарик к его лицу.

Я стоял, склонившись над ним, держа конец одеяла и думая, что моя проклятая память снова воскрешает прошлое.

Но это не было иллюзией.

Бруно, нежный Бруно, такой неловкий, всегда погруженный в свои музыкальные фантазии, был здесь, передо мной, в форме английского летчика.

Я был не в силах шевельнуть пальцем. Кайе толкнул его, чтобы разбудить.

Бруно медленно встал. В темноте он не узнал меня. Только когда я осветил свое лицо фонариком, он прошептал:

— Людо!

Он обнял меня. Я не мог даже ответить на его объятие. Надежда сжала мне горло. Если Бруно

---

[25] Примечания: 25
Польша *(англ.).*

удалось добраться до Англии, значит, Лила тоже там. Наконец я спросил, со страхом, потому что на сей раз рисковал узнать правду:

— Где Лила?

Он покачал головой:

— Не знаю, Людо. Не знаю.

В его глазах было столько жалости и нежности, что я схватил его за плечи и встряхнул:

— Говори правду! Что с ней стало? Не надо щадить меня.

— Успокойся. Я не знаю, ничего не знаю. Я уехал из Польши через несколько дней после твоего отъезда, чтобы участвовать в музыкальном конкурсе в Англии. В Эдинбурге. Может быть, помнишь…

— Я все помню.

— Я приехал в Англию за две недели до войны. С тех пор я делал все возможное, чтобы что-то узнать… Как и ты, конечно… Мне не удалось.

Ему трудно было говорить, и он опустил голову.

— Но я знаю, что она жива… Что она вернется. Ты тоже, правда?

— Да, она вернется.

Он в первый раз улыбнулся:

— Впрочем, она нас никогда не покидала…

— Никогда.

Он держал правую руку на моем плече, и я понемногу успокаивался от этого братского прикосновения. Я увидел ленточки наград на его груди:

— Ну и ну!

— Что ты хочешь, иногда несчастье меняет человека. Даже мирный мечтатель может стать человеком действия. С начала войны я пошел в английскую авиацию. Я стал летчиком-истребителем.

Он поколебался и сказал немного застенчиво, как о чем-то нескромном:

— На моем счету семь сбитых самолетов. Да, Людо, время музыки прошло.

— Оно вернется.

— Не для меня.

Он снял руку с моего плеча и поднял ее. У него был протез: не хватало двух пальцев. Он посмотрел на протез, улыбаясь.

— Еще одна мечта Лилы улетучивается, — сказал он. — Помнишь? Новый Горовиц, новый Рубинштейн…

— И ты с этим можешь летать?

— Да, вполне. Я с этим одержал четыре победы… Что до того, знаю ли я, что мне делать со своей

жизнью потом… Это другой вопрос. Но война еще не скоро кончится, так что этот вопрос, может быть, и не встанет.

Мы два дня провели вместе. Вооружившись превосходными немецкими документами, которые нам достала дочь госпожи Эстергази, мы могли позволить себе пойти на небольшой риск и пообедали в “Прелестном уголке”. Выражение лица Дюпра, когда он увидел перед собой “юного гения”, как раньше называли Бруно, доставило мне величайшее наслаждение, не запланированное в меню хозяина. Здесь были и изумление, и радость, и страх, с которым он косился в сторону немецких офицеров и начальника полиции Эвре, сидящих в “ротонде”.

— А, это вы! — вот все, что он сказал.

— У командира эскадрильи Броницкого на счету семь побед, — сказал я, не слишком понижая голос.

— Заткнись, идиот, — проскрипел Дюпра, пытаясь улыбаться.

— Он возвращается в Англию, чтобы продолжать борьбу, — добавил я громче. Не знаю, улыбался ли храбрый Марселен или показывал зубы.

— Не стойте тут, ради бога. Пойдемте.

Он увел нас на “левый борт”, как он говорил, и усадил за самый укромный столик в зале.

— Все Флёри ненормальные, — проворчал он.

— Если бы не безумие, месье Дюпра, Франция давно бы сдалась. И вы первый.

Мы больше не говорили о Лиле. Она была здесь, рядом; мы так ощущали ее присутствие, что говорить о ней — значило бы отдалить ее от себя. Бруно объяснял, как он восхищается Англией. Рассказывал о жизни англичан, которые победят в этой войне, потому что в 1940-м не пожелали понять, что они ее проиграли.

— Они сохранили свою приветливость и хорошее настроение. Ни малейшей вражды к нам, иностранцам, не упускающим случая переспать с сестрами и женами английских солдат, которые сражаются за морем. А как французы?

— Приходят в себя. На нас это навалилось неожиданно, так что понадобилось время.

Два раза к нам подходил Марселен Дюпра с видом одновременно обеспокоенным и виноватым.

Мы ели пулярку под соусом флеретт.

— Видите, я держусь, — сказал он Бруно.

— Очень вкусно. Так же вкусно, как и раньше. Браво.

— Вы им там скажите. Пусть приходят. Их хорошо примут.

— Я скажу.

— Но уходите скорей…

Может быть, он хотел сказать “приходите скорей”. Следовало все же допустить такую возможность.

Во второй раз, осторожно оглядевшись, он спросил у Бруно:

— А ваша семья? У вас есть известия?

— Нет.

Дюпра вздохнул и удалился.

После обеда мы спокойно отправились в Ла-Мотт. Дядя стоял у фермы и курил трубку. Он не удивился, узнав Бруно.

— Что ж, на свете все возможно, — сказал он. — Это доказывает, что иногда последнее слово остается за мечтателями и мечты не всегда рушатся.

Я сказал ему, что Бруно стал в Англии летчиком, что он сбил семь самолетов и что дней через десять снова вернется в строй. Пожимая ему руку, дядя, видно, почувствовал два стальных пальца протеза: он бросил на Бруно быстрый грустный взгляд. Потом его одолел приступ кашля, от которого на глазах выступили слезы.

— Слишком много курю, — проворчал он.

Бруно захотел посмотреть “ньямов”, и дядя провел его в мастерскую, где дети возились с бумагой и банками клея.

— Вы их все уже видели, — сказал Амбруаз Флёри. — Я сейчас не делаю новых, я держусь за старых. В наше время нам нужны не столько новинки, сколько воспоминания. И потом, их нельзя запускать. Немцы не дают им высоты. Сначала они ограничили высоту до тридцати, потом до пятнадцати метров, а сейчас только что не требуют, чтобы мои воздушные змеи ползали. Боятся, что они могут служить для ориентировки летчикам союзников, а может, им кажется, что это какие-то шифрованные послания подпольщикам. В общем-то, они не так уж неправы.

Он еще долго смущенно кашлял, и Бруно поспешил ответить на его невысказанный вопрос:

— К сожалению, у меня нет вестей о семье. Но я не беспокоюсь за Лилу. Она вернется.

— Мы все здесь в этом уверены, — сказал дядя, бросив взгляд на меня.

Мы пробыли в Ла-Мотт еще час, и опекун попросил Бруно связаться с его другом лордом Хау: пусть Бруно от имени Амбруаза Флёри выразит дружеские чувства и благодарность членам

общества “Воздушные змеи Англии”; местное отделение в Клери шлет им братский привет.

— Удивительно, как в сороковом они выстояли одни.

Потом он произнес немного смешную фразу, мне странно было слышать ее от такого скромного человека.

— Я рад, что на что-то пригодился, — сказал он.

В тот же вечер Бруно был на пути в Испанию, а через две недели мы получили шифрованное сообщение Би-би-си, подтверждающее его прибытие в Англию: “Виртуоз снова за роялем”.

Я был глубоко взволнован нашей встречей. Это как бы предвещало конец неестественного положения вещей, внушало надежду на возвращение другого человека. Я усматривал в этом вызове теории вероятности Божью благосклонность по отношению ко мне. Не будучи верующим, я часто думал о Боге, потому что теперь человек более, чем всегда, нуждался в самых своих прекрасных творениях. Я уже говорил, как бы оправдываясь, что, занимаясь подпольной работой, чтобы ускорить возвращение Лилы, я все меньше ощущал ее физическое присутствие рядом с собой, и в этом тоже видел добрый знак: так было, когда она перестала писать мне из Гродека, потому что мы

обязательно должны были встретиться. Я жил в предчувствии этой встречи. Мне казалось, что вот-вот дверь откроется и… Но это были только заклинания, и изменилось лишь мое отношение к дверям. Так как я теперь почти верил, что она жива, я больше не выдумывал ее и ограничивался воспоминаниями. Я вспоминал наши прогулки на берегу Балтийского моря, когда Лила “мечтала о себе” с такой досадой и с таким пылом.

“Для меня единственная возможность — написать гениальное произведение. До сих пор ни одной женщине не удавалось написать «Войну и мир». Может быть, я должна попробовать…”

“Толстой это уже написал”.

“Хватит, Людо! Каждый раз, как я пытаюсь что-то сделать из своей жизни, ты мне мешаешь. Иди к черту!”

“Лила, я-то уж вовсе не собираюсь стать первой женщиной, написавшей «Войну и мир», но…”

“Ну вот, издеваешься! Этого еще недоставало!”

Я смеялся. Я был почти счастлив. Я черпал в своей памяти силу, которая, как говорил Амбруаз Флёри, “нужна французам, чтобы каждое утро вставало солнце”.

Глава XXXV

Количество диверсий возрастало, и немцам всюду начали мерещиться “вражеские агенты” — это походило на шпиономанию, охватившую французов в 39–40 годах. Оккупанты действовали все более жестко, и даже у Дюпра случались неприятности. Тем не менее Грюбер, шеф гестапо в Нормандии, был частым гостем в “Прелестном уголке”. Думаю, его больше всего интересовали отношения между высшим офицерством вермахта и французскими деятелями.

Грюбер был плотный, белесый, с коротко стриженными — выше ушей — волосами и мертвенно-бледным лицом. Мне приходилось наблюдать за ним, когда он дегустировал самые изысканные блюда, и меня поражало, что он делал это с выражением какого-то пренебрежительного внимания. Между тем глаза других немцев, таких как генерал фон Тиле и Отто Абец, людей высокой культуры, выражали восхищение, смешанное с глубоким удовлетворением, как если бы, завоевав Францию, они сели за наш стол, чтобы вкусить ее во всей ее несравненной уникальности. Думаю,

что для многих немцев, как вчера, так и сегодня, Франция была и есть место наслаждений. Так что я привык к гамме выражений, с которыми победители ели даже простого петуха в вине. О чем они думали в действительности, я не знал. Возможно, это был символический обряд, мало отличавшийся от обычая великих цивилизаций прошлого, например у инков или ацтеков, когда победитель вырывал у побежденного сердце и съедал его, чтобы завладеть душой и разумом убитого. Но Грюбер жевал с выражением, сильно отличавшимся от того, какое я обычно наблюдал. Как я уже говорил, это было подозрительное, слегка пренебрежительное, скептическое внимание человека, на которого не так легко произвести впечатление. Люсьен Дюпра нашел нужное слово:

— Погляди на него. Он расследует. Он хочет знать, как это делается.

Именно так. Думаю, многие немцы, которые находились во Франции во время оккупации, также спрашивали себя, “как это делается”.

Трудно было понять, чем “Прелестный уголок” мог привлечь такого невежественного человека, как Грюбер. Определение Дюпра “он чует врага”, по моему мнению, не подходило к примитивно-

му характеру этого индивидуума, тем более что Грюбер часто называл ресторан “местом разложения”.

Марселен Дюпра не старался его ублажить, хотя и доставал для “Прелестного уголка” продукты вопреки всем действующим ограничениям. Он знал, что его поддерживают в высших сферах, и было известно, что в начале оккупации немцы пытались обхаживать французскую элиту, чтобы привлечь ее на свою сторону. Для Дюпра эта политика объяснялась просто: вожди великого рейха намеревались “создать Европу” и стремились показать, что в этой Европе Франция будет занимать место, принадлежащее ей по праву. Но даже если предположить, что у Грюбера были строгие указания относительно заведения Дюпра, которые ему приходилось выполнять против воли, трудно было объяснить его обиженный и почти ненавидящий вид, когда он ел рулет из устриц, — как будто блюдо бросало вызов его нацистским убеждениям. Как говорил Дюпра, порой бросавший на него насмешливые взгляды, он выглядел как человек, которого вынуждают терпеть поражения одновременно на русском фронте и на Западном.

Во всяком случае, никто не ожидал того, что

он сделал, вопреки всем приказам, касающихся “лиц, склонных к сотрудничеству”: 2 марта 1942 года он арестовал Марселена Дюпра.

Неделю ресторан не работал, и дело приняло такой размах, что сам Абец посылал возмущенные телеграммы в Берлин; после войны их нашли; одну из них цитирует Штернер: “Имеется, однако, приказ самого фюрера относиться с уважением к историческим местам Франции”.

Вернувшись после недельного заключения, Дюпра был взбешен, но горд (“я не сдаюсь”); однако он отказался рассказать нам, чем был вызван арест и допрос. В Клери думали, что из-за черного рынка и из-за того, что Марселен не захотел давать взятки по повышенному тарифу. Кроме того, Дюпра находился под покровительством фон Тиле, а в то время отношения между нацистами и “высшей кастой” вермахта быстро портились. Я же был уверен, что Грюбер хотел напомнить и тем и другим, кто настоящий хозяин “Прелестного уголка”.

У дяди было, похоже, другое представление о случившемся. Я так и не узнал, умышленно или нет он сыграл эту шутку с Марселеном, но посмеяться он очень любил. Возможно, он просто выпил лишнего с друзьями, когда заявил за стой-

кой “Улитки”:

— Марселена допрашивали день и ночь. Он выдержал.

— Но что они хотели узнать? — спросил хозяин, месье Менье.

Дядя разгладил усы.

— Рецепт, черт подери, — сказал он.

Воцарилось молчание. Кроме хозяина, там были наш сосед Гастон Кайе и еще Антуан Вай — имя его сына сейчас на памятнике погибшим.

— Какой рецепт? — спросил наконец месье Менье.

— Рецепт, — повторил дядя. — Боши хотели знать, как это делается: кролик по-фермерски в малиновом соусе, белое мясо “Шартрский собор” — в общем, все меню. И что же? Этот дьявол Марселен отказался говорить. Они подвергли его жутчайшим пыткам, в ванне и все такое, но он все вытерпел. Не выдал даже рецепта своей похлебки с тремя соусами. Вот, ребята, есть хлюпики, у которых развязывается язык от малейшей царапины, а нашего Марселена мучили до полусмерти, а он ни слова не сказал.

Трое стариков помирали со смеху. Дяде даже не пришлось им подмигивать.

— Я не сомневался, что наше национальное до-

стояние Марселен Дюпра будет молчать, — сказал папаша Кайе. — Рецепты “Прелестного уголка” — это святое. И все-таки молодец, черт возьми.

— Мы потрясены, — сказал Вай.

Хозяин наполнил их стаканы.

— Надо всем рассказать, — прошептал дядя.

— Еще бы! — завопил Вай. — Надо, чтобы внуки рассказывали об этом правнукам, и так далее.

— Вот-вот, и так далее, — одобрил Кайе. — Это наш долг — ради Марселена.

— Что надо, то надо, — заключил дядя.

Как вы, может быть, помните, история о великом французском кулинаре, который даже под пыткой не выдал своих рецептов немцам, была напечатана в сентябре 1945 года в американской военной газете *Stars and Stripes*. В Америке она получила широкий отклик. Когда об этом спрашивали самого Марселена Дюпра, он пожимал плечами: “Люди болтают невесть что. Правда тут только в одном: для нацистов я был тем, чего они не выносят, — непобедимой Францией, которая снова берет верх. Вот и все. И они решили мне отомстить. Что до всего остального… Говорю вам, люди болтают невесть что”.

— Ты слишком скромен, Марселен, — говорил в ответ дядя.

Мне пришлось присутствовать при рождении легенды, когда Дюпра сердился и отрицал “все эти россказни”. Дядя обнимал его за плечи и говорил серьезно:

— Ладно, ладно, Марселен. Есть вещи, которые на этом свете важнее нас. Смирись с этим. “Прелестный уголок” пережил страшные годы и должен начать жизнь сначала.

Марселен Дюпра еще какое-то время ругался, потом махнул рукой.

Глава XXXVI

Двадцать седьмого марта 1942 года погода стояла холодная и пасмурная. Мне надо было переправить в Веррьер, что в десяти километрах от Клери, два новых приемника типа АМК-11 и некоторое количество “игрушек”: козий помет со взрывателями замедленного действия и зажигательные “сигареты”. Все это я завалил соломой и досками, которые взял у Бюи; доктор Гардье одолжил мне свою повозку. Конь Клементен бежал бодро; для виду я положил на солому несколько воздушных змеев: отношение к мастерской Амбруаза Флёри пока еще было благосклонное, она даже значилась в списке “поощряемых видов деятельности” комиссариата по работе с молодежью, как нам сообщил сам мэр Клери.

Я ехал по дороге мимо “Гусиной усадьбы”; доехав до входа, я увидел, что ворота широко распахнуты. У меня были к усадьбе довольно странные чувства — чувства хозяина или, точнее, “хранителя памяти”. Зная, что ничего не могу поделать, я все же не терпел непрошеных гостей. Я остановил Клементина, слез и пошел

по главной аллее. Надо было пройти метров сто. Я был в двадцати шагах от бассейна, когда заметил, что на каменной скамье справа, под голыми каштанами, сидит человек. Он опустил голову и спрятал нос в меховой воротник пальто; в руке он держал трость и что-то чертил ею на земле. Это был Стас Броницкий. Я не ощутил никакого волнения, у меня не забилось сердце — я всегда знал, что жизнь не лишена смысла и старается изо всех сил, хотя порой и ошибается. Они вернулись. Броницкий как будто не видел меня. Он смотрел себе под ноги. Концом трости он вывел несколько цифр и накрыл одну из них сухим листом каштана.

Возле развалин усадьбы стоял “мерседес” фон Тиле. Сквозь веранду и полуразвалившуюся лестницу проросли кусты; крыша и чердак исчезли. Верхние этажи сгорели, сохранилась лишь нижняя часть фасада у входа, почерневшая от огня, с пустыми окнами. Огонь не тронул только комнаты первого этажа. Дверь была сорвана с петель каким-то охотником за дровами.

Я услышал в доме смех Лилы.

Я застыл, подняв глаза. Сначала я увидел, как вышли Ханс и генерал фон Тиле; еще мгновение — и я увидел Лилу. Я сделал шаг или два, и она за-

метила меня. Казалось, она не удивилась. Я стоял неподвижно. В ее появлении было что-то такое простое и естественное, что я и сейчас не знаю, не объяснялось ли мое спокойствие сильнейшим шоком, лишившим меня способности что-либо чувствовать. Я снял каскетку, как слуга.

На Лиле была белая куртка “канадка” и берет; под мышкой она держала несколько книг. Она спустилась по ступенькам, подошла ко мне и, улыбаясь, протянула затянутую в перчатку руку:

— А, Людо, здравствуй. Рада тебя видеть. Я как раз собиралась тебя навестить. Как твои дела, хорошо?

Я онемел. Теперь во мне поднималось изумление, переходившее в смятение и панику.

— Хорошо. А ты как?

— Знаешь, среди всех этих ужасов, всего, что происходит, могу сказать, что нам повезло. Только вот отец… В общем, это болезнь, и врачи считают, что она пройдет. Извини, что я еще не была в Ла-Мотт, но поверь, я собиралась.

— Да?

Все было так вежливо, так светски, что казалось, я вижу кошмарный сон.

— Я приехала посмотреть, что осталось, — сказала она. Думаю, она имела в виду усадьбу. — По-

чти все сгорело, но, видишь, мне удалось найти несколько книг. Пруст, Малларме, Валери. Мало что уцелело.

— Да.

Я пробормотал:

— Но все еще вернется.

Она рассмеялась:

— А ты не изменился. Все такой же немножко странный.

— Ты знаешь, я страдаю от избытка памяти.

У нее промелькнул раздосадованный, слегка смущенный взгляд, но она быстро взяла себя в руки, и выражение ее глаз смягчилось.

— Я знаю. Не надо. Конечно, после стольких… несчастий прошлое кажется тем счастливее, чем оно дальше.

— Да, правда. А… Тад?

— Остался в Польше. Не захотел уехать. Он в Сопротивлении.

Фон Тиле и Ханс были в двух шагах и слышали нас.

— Я всегда знала, что Тад будет делать что-то великое, — сказала Лила. — Да мы все так думали. Он один из тех, кто когда-нибудь будет вершить судьбу Польши… Вернее, того, что от нее останется.

Фон Тиле скромно отвернулся.

— Ты иногда вспоминал обо мне, Людо?

— Да.

Ее взгляд затерялся где-то в вершинах деревьев.

— Другой мир, — сказала она. — Как будто века прошли. Ну, я не буду больше задерживать моих друзей. Как твой дядя?

— Продолжает свое дело.

— По-прежнему воздушные змеи?

— По-прежнему. Но теперь он не имеет права запускать их высоко.

— Поцелуй его от меня. Ну, до скорой встречи, Людо. Я обязательно зайду к тебе. Нам столько надо сказать друг другу. Тебя не мобилизовали?

— Нет. Меня освободили по болезни. Кажется, я немножко сумасшедший. Это наследственное.

Она дотронулась до моей руки кончиками пальцев и пошла к машине, чтобы помочь отцу сесть. Она села между ним и генералом фон Тиле. Ханс сел за руль.

Я услышал хохот ворон.

Лила махнула мне рукой. Я ответил. “Мерседес” исчез в конце аллеи.

Я долго стоял, пытаясь прийти в себя. Ощущение, что меня нет ни здесь, ни там, вообще нигде;

потом медленное нарастание отчаяния. Я боролся с ним. Я не хотел изменять себе. Отчаяние — всегда поражение.

Остолбенев, не в силах пошевелиться, я стоял с каскеткой в руке, и, по мере того как проходили минуты, ощущение нереальности сгущалось у этих развалин, в призрачном парке с белыми от инея деревьями, где все было неподвижным и мертвенным.

Этого не может быть. Невозможно. Воображение сыграло со мной злую шутку, оно подвергло меня пытке, чтобы отомстить за все, к чему я годами его принуждал. Еще одно видение, один из тех снов наяву, которым я так легко отдавался, — и оно посмеялось надо мной. Оно не могло быть Лилой, это видение, такое лощеное, такое безразличное и такое далекое от той, которая почти четыре года так ярко жила в моей памяти. Непринужденность тона, сама вежливость, с какой она говорила, отсутствие всякого намека на наше прошлое в холодноватой голубизне глаз… — нет, ничего этого не было, моя болезнь усилилась из-за одиночества, и теперь я расплачиваюсь за то, что слишком потакал своему “безумию”. Это просто страшная галлюцинация из-за нервного истощения и временного упадка духа.

Мне удалось наконец выйти из транса и двинуться к воротам.

Я сделал несколько шагов и заметил скамью, где только что видел, как мне казалось, Стаса Броницкого, рисующего на земле концом трости цифры воображаемой рулетки.

Я едва решился опустить глаза, чтобы посмотреть и убедиться.

Цифры были на месте, и на цифре семь лежал сухой лист.

Едва понимая, что делаю, я доставил свой груз в Веррьер и вернулся домой. Дядя был в кухне. Он немного выпил. Он сидел у огня, гладя кота Гримо, который спал у него на коленях. Мне трудно было говорить:

— С тех пор как ее нет, она ни на минуту не покидала меня, а теперь, когда она вернулась, она совсем другая…

— Черт возьми, мальчик. Ты ее слишком долго выдумывал. Четыре года разлуки — слишком большой простор для воображения. Мечта коснулась земли, а от этого всегда происходят поломки. Даже идеи становятся на себя не похожи, когда воплощаются в жизнь. Когда к нам вернется Франция, увидишь, какие у всех будут физиономии. Будут говорить: это не настоящая Франция,

это другая! Немцы заставили работать наше воображение в усиленном режиме. Когда они уйдут, встреча с Францией будет жестокой. Но что-то говорит мне, что ты снова узнаешь свою девчонку. Любовь — вещь гениальная, у нее есть дар все переваривать. Что касается тебя, то ты думал, будто живешь памятью, а на самом деле жил в основном воображением. — Он усмехнулся: — Воображение — неверный подход к женщине, Людо.

В час ночи я стоял у окна с пылающим лицом, ожидая от ночи материнской ласки. Я услышал, что подъехала машина. Долгая пауза; скрип лестницы; у меня за спиной отворилась дверь; я обернулся. Какую-то долю секунды дядя стоял один, с лампой в руке, потом он исчез, и я увидел Лилу. Она всхлипывала; казалось, это стонет ночной лес. Ее стоны звучали как мольба о прощении, потому что никто не настрадался и не намучился так, как она. Я бросился к ней, но она отступила:

— Нет, Людо. Не трогай меня. Позже… может быть… позже… Сначала нужно, чтобы ты знал… чтобы ты понял…

Я взял ее за руку. Она села на край кровати, съежившись в своей куртке, смирно сложив ру-

ки на коленях. Мы молчали. Слышно было, как скрипят голые ветки деревьев. В ее глазах было выражение почти молящего вопроса и нерешительности, как если бы она еще сомневалась, может ли мне довериться. Я ждал. Я знал, почему она колеблется. Для нее я все еще был тот Людо, какого она знала, нормандский деревенский парнишка, который провел три года войны рядом со своим дядей и его воздушными змеями и мог не понять. Рассказывая мне все, она без конца будет повторять с тревогой, почти с отчаянием: “Ты понимаешь, Людо? Понимаешь?” — как бы уверенная, что эти признания, эта исповедь — за пределом того, что я могу постичь, принять и тем более простить.

Она бросила на меня еще один умоляющий взгляд, потом начала говорить, и я почувствовал, что говорит она не столько для того, чтобы я знал, сколько для того, чтобы попытаться забыть самой.

Я слушал. Сидел на другом конце кровати и слушал. Я слегка дрожал, но должен же я был разделить с ней эту ношу. Она курила сигарету за сигаретой, и я подносил ей огонь.

Керосиновая лампа соединяла на стене две наши тени.

Первого сентября 1939 года немецкий броненосец “Шлезвиг-Гольштейн” без объявления войны открыл огонь по польскому гарнизону полуострова Гродек. Остальное за несколько дней докончила авиация.

— Мы все попали под бомбежку… Таду удалось соединиться со своей боевой группой — знаешь, с теми, что проводили политические собрания, когда ты был у нас…

— Я помню.

— За две недели до этого Бруно уехал в Англию… Нам удалось спрятаться на соседней ферме… У отца был шок, мать в истерике… К счастью, я встретила одного немецкого офицера, он был джентльмен…

— Есть и такие.

Она боязливо посмотрела на меня:

— Надо было прежде всего выжить, спасти своих… Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?

Я понимал.

— Связь продолжалась три месяца… Потом его послали в другое место и…

Она замолчала. Я не спрашивал: а после этого кто? Сколько еще? Со своей проклятой памятью я не стремился открывать подобный счет. Надо было прежде всего выжить, спасти своих…

— Если бы Ханс нас не разыскал — нам удалось бежать в Варшаву, — не знаю, что бы с нами стало… Он служил во Франции и добился перевода в Польшу, только чтобы позаботиться о нас…

— О тебе.

— Он хотел жениться на мне, но нацисты запрещают браки с польками…

— Подумать только, а я ведь мог его убить! — сказал я. — Во-первых, я мог его задушить, когда он набросился на меня в детстве у Старого источника, а потом во время нашей дуэли в Гродеке… Решительно, есть Бог на небесах!

Мне не следовало говорить так саркастически. Я поддался слабости.

Она внимательно посмотрела на меня:

— Ты изменился, Людо.

— Прости, дорогая.

— Когда Гитлер напал на Россию, Ханс последовал за генералом фон Тиле на фронт под Смоленск… Мы бежали в Румынию… Сначала у нас еще оставалось немного драгоценностей, но потом…

Она стала любовницей румынского дипломата, потом врача, который ее лечил: аборт, едва не стоивший ей жизни…

— Ты понимаешь, Людо? Понимаешь?

Я понимал. Надо было выжить, спасти своих. Она завела себе “друзей” в дипломатических кругах. Ее отец и мать ни в чем не нуждались. В общем, в этой истории с “выживанием” она легко отделалась.

— В сорок первом нам наконец удалось получить визы во Францию, благодаря одному человеку в посольстве, с которым я… с которым была знакома… Но у нас не было больше ни гроша и…

Она замолчала.

Я чувствовал, что во мне растет улыбчивое спокойствие, как будто я знал, что в главном ничего не может с нами случиться. Я бы не сумел объяснить, что понимаю под “главным”, и, поскольку неизвестно, как любят другие, не хотел бы казаться хвастуном. Я мельком подумал о нашем прекрасном “Мореходе”, который был так хорош в голубом небе, потом исчез, а затем нашелся — весь израненный и искалеченный, разбитый и разорванный. Не знаю, затронуло ли во мне страдание древнюю христианскую жилку, но, как я уже говорил, я точно понял, что значения не имеет. К черту доброе старое “Все понять — значит все простить”, которое месье Пендер в классе когда-то предложил нам про-

комментировать, — это выражение затаскано по сточным ямам забвения и смирения. Я никогда не проявлял к Лиле “терпимости”: легко доказать, что “терпимость” иногда ведет к нетерпимости, и людей часто завлекали обманом на эту дорожку. Я любил женщину со всеми ее несчастьями, вот и все. Она напряженно смотрела на меня:

— Я часто хотела дать тебе знать о себе, прийти сюда, но я чувствовала себя такой…

— Виноватой?

Она ничего не сказала.

— Лила, послушай. В наше время вина, лежащая ниже пояса, — ничто, как, впрочем, и в любое время. Виновность ниже пояса — почти святость по сравнению со всем остальным.

— Как ты изменился, Людо!

— Может быть. Немцы мне очень помогли. Говорят, самое ужасное в фашизме — его бесчеловечность. Да. Но надо признать очевидное: эта бесчеловечность — часть человеческого. Пока люди не признают, что бесчеловечность присуща человеку, они будут жертвами благонамеренной лжи.

Вошел кот Гримо, задрав хвост, и стал тереться о наши ноги, требуя ласки.

— Первые шесть месяцев в Париже, ты себе

представить не можешь… Мы никого не знали… Я работала официанткой в пивной, продавщицей в “Призюник”… У матери были страшные мигрени…

— Ах, мигрени. Это ужасно…

Что до отца Лилы, то он, так сказать, потерял зрение. Что-то вроде умственной слепоты. Он закрыл глаза на окружающую действительность.

— Нам с матерью пришлось ухаживать за ним, как за ребенком. Он был другом Томаса Манна, Стефана Цвейга, для него Европа была несравненным светом… И вот когда этот свет угас и все, во что он верил, рухнуло, он как бы порвал с действительностью… Никаких реакций.

“Черт, — подумал я. — Неплохо устроился”.

— Врачи все перепробовали…

Я чуть не спросил: “Даже пинок под зад?” — но приходилось щадить этот старый аристократический фарфор. Я был уверен, что Броницкий нашел способ переложить всю ответственность на жену и дочь. Не мог же он позволить себе знать, что делает его дочь, чтобы “выжить, спасти своих”. Он защищал свою честь, вот и все.

— Наконец мне удалось найти работу манекенщицы у Коко Шанель…

— Коко — как?

— Шанель. Знаешь, знаменитая портниха…

— Ах да, конечно… “Прелестный уголок”!

— Что?

— Нет, ничего.

— Но я зарабатывала недостаточно, чтобы хватило родителям, и вообще…

Молчание.

Кот Гримо переходил от одного к другому, удивленный нашим безразличием.

Молчание заползало в меня, заполняло меня всего. Я ждал этих “Ты понимаешь, Людо? Понимаешь?” — но видел только немое отчаяние в ее взгляде и опустил глаза.

— Нас спас Георг.

— Георг?

— Георг фон Тиле. Дядя Ханса. Наши владения у Балтийского моря были рядом…

— Да-да. Ваши владения. Конечно.

— Его назначили во Францию, и, как только он узнал, что мы в Париже, он все взял на себя. Устроил моих родителей на квартире возле парка Монсо. А потом Ханс вернулся с Восточного фронта…

Она оживилась.

— Знаешь, я даже смогла продолжать учебу. У меня диплом французского лицея в Варшаве, я

запишусь в Сорбонну, может быть, даже в Школу Лувра. Я увлеклась историей искусства.

— Историей… искусства? — У меня перехватило горло.

— Да. Кажется, я нашла свое призвание. Помнишь, как я искала себя? Кажется, теперь я себя нашла.

— В добрый час.

— Конечно, потребуется много мужества и настойчивости, но думаю, что я справлюсь. Я бы хотела поехать в Италию, особенно во Флоренцию, осматривать музеи… Понимаешь, Возрождение… Но надо подождать.

— Действительно, Возрождение может подождать.

Она встала.

— Хочешь, чтобы я тебя проводил?

— Нет, спасибо. Внизу Ханс в машине.

В дверях она остановилась:

— Не забывай меня, Людо.

— У меня нет дара забывать.

Я вышел с ней на лестницу:

— Бруно в Англии. Он летчик-истребитель.

Ее лицо осветилось.

— Бруно? Но он был такой неловкий!

— В небе, как видно, нет.

Я не сказал ей про пальцы.

— Я тебе всем обязана, — сказала она.

— Не знаю почему.

— Ты сохранил меня нетронутой. Я думала, что погибла, а теперь у меня ощущение, что это неправда и что все это время — три с половиной года! — я была здесь, у тебя, целая и невредимая. Сохраняй меня такой, Людо. Я в этом нуждаюсь. Дай мне еще немного времени. Мне нужно возродиться.

— История искусства тебе сильно поможет. Особенно Возрождение.

— Не смейся надо мной.

Она постояла еще минуту, потом ушла, и осталась только тень на стене. Я был спокоен. Я шел вместе с миллионами других людей по пути, где у каждого свое горе.

Я пришел к дяде на кухню. Он налил мне рюмку, украдкой наблюдая за мной.

— Да, это будет забавно, — сказал он.

— Что именно?

— Когда вернется Франция. Надеюсь, ее можно будет узнать.

Я сжал кулаки:

— Да, и мне наплевать, как она будет выглядеть и что будет у нее за плечами. Лишь бы она верну-

лась, вот и все.

Дядя вздохнул:

— Уже и пошутить с ним нельзя.

Меня не избавили от сплетни, что Лила — любовница фон Тиле. Я был так же безразличен к этим россказням, как к голосам, скулившим, что “Франция пропала”, “никогда не вернется”, “потеряла свою душу” и что подпольщики гибнут “ни за что”. Моя уверенность была слишком тверда, чтобы нуждаться в “проветривании” — как у нас говорят о тех, кто любит говорить на ветер.

Глава XXXVII

Я больше не ненавидел немцев. То, что я видел вокруг в течение четырех лет после поражения, затрудняло для меня обычный трюк, в результате которого все немцы превращаются в преступников, а все французы — в героев. Я познал братство, сильно отличающееся от этих самодовольных штампов: мне казалось, что мы неразрывно связаны тем, что нас отличает друг от друга, но в любой момент может сделать нас, наоборот, чудовищно схожими. Мне даже приходило в голову, что, участвуя в борьбе, я помогаю и нашим врагам… Им тоже. Воспитание человека, который всю жизнь смотрит ввысь, не проходит безнаказанно.

В первый раз я увидел, как убили немца, в полях за Гранем, где мы распахали посадочную площадку. В ту ночь мы втроем ждали, когда прилетит “лизандер”, который должен был переправить в Англию некоего политического деятеля, чьего имени мы не знали. После заката мы несколько раз тщательно прочесали окрестности; нам было приказано принять все меры предосторожности

— две недели назад одну из групп захватили при приеме парашютистов в верховьях Сены, и к нашему списку расстрелянных добавилось пять имен.

В час ночи зажгли сигнальные огни, и ровно через двадцать минут “лизандер” приземлился. Мы помогли пассажиру сесть в самолет; “лизандер” взлетел, и мы пошли собирать фонарики. Когда мы возвращались обратно и были метрах в трехстах от площадки, Жанен схватил меня за руку; справа от нас я увидел в траве металлический отблеск и услышал осторожное движение; блеск металла передвинулся и исчез.

Там были велосипед, девушка и немецкий солдат. Я знал девушку в лицо, она работала в булочной месье Буайе в Клери. Солдат лежал на животе рядом с ней; он смотрел на нас без всякого выражения.

Не знаю, кто выстрелил, Жанен или Роллен. Просто солдат уронил голову и застыл, уткнувшись лицом в землю.

Девушка резко отодвинулась от него, как если бы он стал ей отвратителен.

— Вставай.

Она быстро встала, поправляя юбку.

— Пожалуйста, не говорите им, — пробормо-

тала она.

У Жанена был удивленный вид. Он приехал из Парижа и не знал деревенской жизни. Потом он понял, улыбнулся и опустил оружие.

— Тебя как зовут?

— Мариетта.

— Мариетта, а дальше?

— Мариетта Фонта. Месье Людовик меня знает. Пожалуйста, ничего не говорите моим родителям.

— Ладно. Не скажем, будь спокойна. Можешь идти домой.

Он бросил взгляд на тело.

— Надеюсь, он не успел, — сказал Жанен.

Мариетта зарыдала.

Я провел дурную ночь. Как будто совершил предательство.

Я старался думать обо всех наших убитых, но выходило лишь на одного убитого больше.

Через несколько дней я зашел в булочную и остановился, как бы прося прощения. Мариетта покраснела и стояла в нерешительности. Потом подошла ко мне и прошептала с беспокойством:

— Они ведь ничего не скажут моим родителям?

Нехорошо ходить с парнями в лес. Думаю,

только это ее и тревожило. Нам нечего было опасаться.

Несколько раз я видел, как Лила проезжает через Клери в “мерседесе” фон Тиле; один раз с ней был сам генерал. Однажды утром, когда я возвращался на велосипеде с занятий на ферме Гролле, где один товарищ, прошедший курс обучения в Англии, учил нас обращаться с новой взрывчаткой, “мерседес” проехал мимо меня и остановился. Я тоже остановился. Лила сидела в машине одна с шофером. У нее были круги под глазами, веки опухли. Было семь часов утра; я знал, что в эту ночь Эстергази устраивала праздник — в “Прелестный уголок” поступил заказ на все, что только можно, от шампанского до норвежской лососины, и Дюпра сам отправился к ней, чтобы присмотреть за своим соте из молочного ягненка и петухом в вине, “которого можно погубить, если положить на дольку чеснока больше или меньше”. Требовалась бдительность: там была вся немецкая верхушка. “Занимаясь этим чертовым ремеслом, — ворчал он, — каждый раз ставишь на карту свою репутацию”.

Лила вышла из машины, и мне пришлось ее поддержать: она была слегка пьяна. Очень элегантное красное платье, белый плащ, красные

туфли на высоких каблуках и плотная шаль из красной и белой шерсти на плечах. Польские цвета, подумал я. Она сильно накрасилась, как бы желая скрыть лицо. Казалось, берет на ее пышных волосах попал сюда случайно из прошлой жизни. Только печальная голубизна глаз оставалась той же, что прежде. Она держала в руке книгу: Аполлинер. У нас в Ла-Мотт был весь Гюго, но Аполлинера не было. Всегда забываешь о том, что тебе принадлежит по праву.

— Здравствуй, мой Людо.

Я поцеловал ее. Военный шофер сидел к нам спиной.

— Обо мне здесь многое говорят, правда?

— Знаешь, я немного глуховат.

— Говорят, что я любовница фон Тиле.

— Говорят.

— Это неправда. Георг — друг моего отца. Наши семьи всегда дружили. Надо мне верить, Людо.

— Я тебе верю, но мне наплевать.

Она с жаром начала говорить о своих родителях. Благодаря Георгу они ни в чем не терпят нужды.

— Это изумительный человек. Он откровенный антифашист. Он даже спасал евреев.

— Это понятно. У него две руки.

— Что ты хочешь сказать? Что ты болтаешь?

— Это не я болтаю, а Уильям Блейк. Блейк написал об этом стихи. “Одна его рука была в крови. Другая держала факел”. Почему ты не заходишь ко мне?

— Я приду. Знаешь, мне нужно возродиться. Ты обо мне думаешь иногда?

— Я иногда о тебе не думаю. У каждого бывают минуты пустоты.

— Я чувствую себя немного потерянной. Не понимаю, где я. Я слишком много пью. Хочу забыться.

Я взял у нее из рук книгу и пролистал ее.

— Кажется, никогда еще французы столько не читали, как теперь. Знаешь, месье Жолио, владелец книжной лавки…

— Я его знаю очень хорошо, — сказала она с неожиданной горячностью. — Это мой друг. Я почти каждый день хожу к нему в лавку.

— Так вот, он говорит, что французы набрасываются на поэзию с мужеством отчаяния. Как твой отец?

— Он совсем потерял связь с действительностью. Полная атрофия восприятия. Но надежда есть. Иногда у него бывают проблески сознания. Может быть, он придет в себя.

Я не мог не испытывать некоторого восхищения перед Стасом Броницким. Этот аристократический альфонс нашел довольно необычное средство, чтобы отгородиться от низменной действительности. Жена и дочь оберегали его от всякого соприкосновения с отталкивающей исторической эпохой. Поистине избранная натура.

— Никогда не видал такого хитреца, — сказал я.

— Людо! Я тебе запрещаю…

— Прости меня. Это моя мужицкая сторона. Видно, у меня наследственная неприязнь к аристократам.

Мы сделали несколько шагов, чтобы отойти подальше от шофера.

— Знаешь, Людо, все скоро переменится. Немецкие генералы не хотят войны на два фронта. И они ненавидят Гитлера. Однажды…

— Да, я знаю эту теорию. Я уже слышал, как ее излагал Ханс накануне захвата Польши.

— Надо еще немного времени. Немцам пока еще недостаточно тяжело приходится.

— Действительно.

— Но я добьюсь.

— Добьешься чего?

Она замолчала, глядя прямо перед собой.

— Мне нужно еще немного времени, — повторила она. — Конечно, это очень трудно, и я иногда сомневаюсь и теряю уверенность… Тогда я пью лишнее. Я не должна. Но я уверена, что если немного повезет…

— То что? Если немного повезет, то что?

Она зябко завернулась в свои польские цвета.

— Я всегда хотела что-то сделать из своей жизни. Что-то большое и… страшно важное…

Мечта еще трепыхалась.

— Да, — сказал я. — Ты всегда хотела спасти мир.

Она улыбнулась:

— Не я, а Тад. Но кто знает…

Я так хорошо знал это ее чуть загадочное, непроницаемое выражение лица, которое Тад называл когда-то “вид как у Гарбо”.

— Может, это буду я, — спокойно сказала она.

Все это было так жалко. Она едва держалась на ногах, и мне пришлось помочь ей сесть в машину. Я положил ей на колени плед. Еще минуту она молчала, держа маленький томик Аполлинера, с улыбкой на губах. И вдруг повернулась ко мне в горячем порыве, и я удивился, до чего у нее серьезный, почти торжественный голос:

— Верь мне, Людо. Вы все верьте мне, дайте

мне еще немножко времени. Я добьюсь. Мое имя войдет в историю, и ты будешь мною гордиться.

Я поцеловал ее в лоб.

— Ну-ну, — сказал я. — Ничего не бойся. Они жили счастливо, и у них было много детей.

Мне нет оправдания. Я не придал никакого значения словам той, кого в “Прелестном уголке” называли “бедная молоденькая полька со своими немцами”. “Все те же фантазии и химеры”, — подумал я. Я стоял со своим велосипедом у обочины, грустно глядя вслед удаляющемуся “мерседесу”. “Мое имя войдет в историю, и ты будешь мною гордиться…” Это было слишком нелепо. Мне казалось, что Лила в своем падении нуждалась в “придумывании себя” еще больше, чем прежде, в “Гусиной усадьбе” и на берегу Балтийского моря, — упавшая на землю разбитая мечта еще слабо взмахивала крылышками. У меня не было ни малейшего подозрения, ни малейшего предчувствия. Возможно, это объяснялось суровыми требованиями нескольких лет борьбы, когда приходилось “сохранять здравый смысл”, и мне теперь не хватало безумия. Я и не догадывался, что среди всех наших улетевших воздушных змеев один, родом из Польши, поднимется выше и будет ближе к тому, чтобы изменить ход вой-

ны, чем все остальные, затерявшиеся в поисках несбыточного.

Глава XXXVIII

Я не видел Лилу несколько месяцев. Лето 1942-го было поворотным моментом в Сопротивлении: в одну только ночь в районе Фужроль-дю-Плесси “дьявол явился шесть раз” — согласно секретному коду это означало, что шесть раз с парашютом сбрасывали оружие, в основном контактные мины, противотанковые ружья и минометы. Оружие надо было успеть спрятать за несколько часов. В Соване моего одноклассника Андре Фернена схватили с пятьюдесятью зажигательными шашками — он успел проглотить свою ампулу с цианистым калием. Сейчас все эти факты так широко известны, что о них забывают. В наших краях без конца шли обыски, и Ла-Мотт тоже не обошли — то ли кто-то указал на ферму, то ли гестапо чуяло в Амбруазе Флёри естественного врага. Обыски не дали никакого результата, например, тайник Бюи, где прятался Бруно, функционировал до самой победы. В мастерской Грюберу попался наш старый “Золя”, забытый в уголке, со словами “Я обвиняю”, расходящимися лучами вокруг его головы, но Грюбер его не узнал

и ограничился тем, что спросил:

— Кого он обвиняет, *der Kerl*?[26]

— Это название песни, очень популярной в начале века, — сказал дядя. — Жена уходит с любовником, и муж обвиняет ее в неверности.

— Он не похож на певца.

— Однако у него был очень хороший голос.

Комиссар полиции в Клери сам дружески предостерег Амбруаза Флёри, не без улыбки, так как мысль о том, что этот тихий пацифист замешан в каких-то подрывных действиях, казалась ему смешной.

— Слушай, Амбруаз, они, наверно, воображают, что вы вот-вот запустите в небо лотарингский крест!

— Знаете, эти дела не для меня, — сказал дядя.

— Конечно.

Но на мечтателей смотрели косо: мечта и бунт всегда тесно связаны. За нами следили, и некоторое время мы не могли использовать наш склад оружия. Он находился под навозной ямой и уборной, которую мы несколько месяцев избегали чистить.

И все же именно в это крайне опасное вре-

---

[26] Примечания: 26
Этот парень *(нем.)*.

мя дядя пошел на безумный поступок. В конце июля 1942-го до Клери докатилась весть о том, что происходило на Зимнем велодроме[27]. В тот вечер мы сидели в “Прелестном уголке” — один из уютных вечеров за бутылкой старого вина, которые хозяин часто проводил со своим другом Амбруазом Флёри. Иногда Дюпра — у него было бойкое перо — читал нам одну из своих поэм, написанную александрийским стихом. Но в тот вечер он был в особенно мрачном настроении.

— Слышал новость, Амбруаз? Про облаву на Зимнем велодроме?

— Про какую облаву?

— Они собрали там всех евреев и вывезли в Германию.

Дядя молчал. Рядом не было воздушного змея, за которого в этот момент он мог бы уцепиться. Дюпра стукнул кулаком по столу.

— И детей тоже, — пробурчал он. — Они и детей туда свезли. Больше их живыми не увидишь.

Амбруаз Флёри держал в руке стакан вина. Единственный раз в жизни я видел, что его рука дрожит.

— Ну вот. Я тебе вот что скажу, Амбруаз. Это

---

[27] Примечания: 27

В июле 1942 г. в Париже оккупанты согнали на Зимний велодром более 13 тысяч евреев, которых затем отправили в концлагеря.

тяжелый удар для “Прелестного уголка”. Ты скажешь, что тут общего, но общее все. Все. Черт! Для такого человека, как я, который ложится костьми, чтобы сохранить определенный образ Франции, невозможно принять подобную вещь. Ты понимаешь? Дети, которых посылают на смерть. Знаешь, что я сделаю? Я на неделю закрою ресторан в знак протеста. Конечно, потом я его открою, потому что для фашистов приятнее всего было бы, чтобы я закрылся навсегда. Они давно хотят меня уничтожить. Все, чего они хотят, — это чтобы Франция отказалась от себя самой. Но я закроюсь на неделю, это решено. Существует несовместимость между “Прелестным уголком” и тем, что детей выдают бошам.

Никто еще не слышал, чтобы Дюпра произносил слово “боши”.

Дядя поставил стакан и встал. Его лицо посерело; казалось, на нем вдвое больше морщин. Мы ехали под ночным небом на своих скрипучих велосипедах. Ярко светила луна. Когда мы подъехали к дому, он оставил меня, не говоря ни слова, и закрылся в мастерской. Я не мог заснуть. Я вдруг понял, как ловко люди прикрываются немцами и даже нацистами для оправдания собственных деяний. Мне давно уже приходила мысль, от

которой трудно было избавиться, и, может быть, я так и не избавился от нее. Нацисты — человеческие существа. Именно их бесчеловечность присуща человечеству.

В четыре часа утра я уехал из Ла-Мотт: я должен был поехать в Роне встретиться с Субабером, чтобы наметить с ним на карте новые посадочные площадки. Надо было также предупредить товарищей, чтобы какое-то время не появлялись в Ла-Мотт. Выходя из дому, я увидел, что в мастерской еще горит свет. Я подумал не без раздражения: надо быть по-настоящему упрямым французом, чтобы мастерить воздушных змеев в такое время. Лучшими друзьями воздушных змеев всегда были дети. Мне казалось, что если Амбруаз Флёри собирается в такой час запустить в небо своего “Монтеня” или “Паскаля”, то небо выплюнет их ему в лицо.

Я вернулся домой через день, в одиннадцать утра. Последние километры я шел пешком, толкая перед собой велосипед. Я уже латал каждую шину раз десять, и приходилось их беречь. Я дошел до места под названием Узкий проезд, где сейчас стоит стела в память шестнадцатилетнего Жана Виго, которого фашисты-полицейские захватили с оружием в руках уже после высадки союзников

и расстреляли на месте. Я остановился, чтобы закурить, но сигарета выпала у меня изо рта.

В небе над Ла-Мотт парило семь воздушных змеев. Семь желтых воздушных змеев. Семь воздушных змеев в форме еврейских звезд.

Я бросил велосипед и побежал. На лугу перед фермой стояли мой дядя Амбруаз и несколько детей, подняв глаза к небу, где трепетало семь звезд позора. Сжав челюсти, нахмурив брови, с жестким лицом, стриженными ежиком седыми волосами и усами, старик походил на фигуру, какие раньше вырезали на носу корабля. У детей, пяти мальчиков и одной девочки — я их всех знал: Фурнье, Бланы и Босси, — были серьезные лица.

Я прошептал:

— Они сейчас явятся…

Но раньше пришли другие. О, их было немного: семья Кайе, семья Монье и отец Симон, который первый снял шапку.

Вечером дядю забрали и две недели продержали в тюрьме. Вытащил его оттуда Марселен Дюпра. Известно, что все Флёри не в себе, объяснил он немцам. Наследственное безумие. Это то, что раньше называли “французской болезнью”, идет из глубины веков. Не надо их принимать

всерьез, иначе рискуешь сделать серьезную ошибку. Дюпра пустил в ход все свои связи, а они у него были, от Отто Абеца до Фернана де Брино-на. На следующий день после ареста перед домом остановился “ситроен” Грюбера и еще грузовик солдат. Они выбросили всех наших воздушных змеев на луг и подожгли. Грюбер, заложив руки за спину, смотрел, как пылает то, что так любовно создавали руки старого француза.

Ла-Мотт обыскали как никогда прежде. Грюбер опознал врага. Он сам взялся за дело и всюду совал свой нос, как будто речь шла о чем-то веществен-ном, материальном, что можно уничтожить.

В воскресенье дядю выпустили, и Марселен Дю-пра привез его в Ла-Мотт. Его первыми словами при виде пустой мастерской, откуда улетучились, превратившись в дым, все змеи, были:

— Надо браться за работу.

Первый собранный им воздушный змей изоб-ражал поселок в горах, окруженный картой Франции, позволявшей понять, где это. Поселок назывался Шамбон-сюр-Линьон, в Севеннах. Дядя не объяснил мне, почему выбрал именно этот поселок. Он ограничился тем, что сказал:

— Шамбон. Запомни это название.

Я ничего не понимал. Почему он интересуется

этим поселком, где никогда ноги его не было, и почему запускает воздушного змея “Шамбон-сюр-Линьон”, следя за ним глазами с такой гордостью? Он сказал мне только одно:

— Я о нем слышал в тюрьме.

Мое удивление росло. Через несколько недель, восстановив некоторые из своих творений “исторической серии”, дядя объявил мне, что уезжает.

— Куда вы хотите ехать?

— В Шамбон. Как я тебе говорил, это в Севеннах.

— Господи боже, что это за история? Почему в Шамбон? Почему в Севенны?

Он улыбнулся. Теперь лицо его было покрыто сеткой морщин, густой, как его усы.

— Потому что там я им нужен.

Вечером, доев суп, он обнял меня:

— Я еду рано утром. Продолжай действовать, Людо.

— Будьте спокойны.

— Она вернется. Придется многое ей простить.

Не знаю, говорил он о Лиле или о Франции.

Когда я проснулся, его не было. На столе мастерской он оставил записку: “Продолжай”.

Он увез свой ящик с инструментами.

Только за несколько месяцев до высадки со-

юзников я получил ответ на вопрос, который не переставал себе задавать: почему Шамбон? Почему Амбруаз Флёри уехал от нас со своими инструментами в этот поселок в Севеннах?

Шамбон-сюр-Линьон — это тот поселок, где жители во главе с пастором Андре Трокме и его женой Магдой спасли от концлагеря несколько сотен еврейских детей. Четыре года вся жизнь Шамбона была посвящена этой задаче. Так напишу же я еще раз слова, символизирующие верность и мужество: “Шамбон-сюр-Линьон и его жители”, и если сейчас об этом забыли, пусть знают, что мы, Флёри, всегда славились своей памятью и что я часто повторяю все имена жителей Шамбона, не забывая ни одного, ибо говорят, что сердце нуждается в упражнениях.

Но я ничего этого не знал, когда получил из Шамбона фотографию дяди, окруженного детьми, с воздушным змеем в руке, с надписью на обороте: “Здесь все идет хорошо”. “Здесь” было подчеркнуто.

Глава XXXIX

От Лилы вестей не было, но Германия отступала на русском фронте; ее армия потерпела поражение в Африке; Сопротивление переставало быть безумием, и рассудок начинал воссоединяться с сердцем. Марселен Дюпра сам принимал участие в наших подпольных собраниях. Тем не менее в глазах немцев его престиж достиг апогея: в мае 1943-го встал вопрос о его назначении мэром Клери. Он отказался.

— Надо проводить различие между вещами историческими и неизменными и таким изменчивым и преходящим явлением, как политика, — объяснил он нам.

Личность хозяина “Прелестного уголка” очаровывала оккупантов не меньше, чем его кухня. Его эрудиция и красноречие, достоинство, которое придавали ему как импозантная внешность, так и спокойная уверенность, с какой он в самых трудных условиях выполнял поставленную перед собой задачу, производили впечатление даже на тех, кто сначала называл его коллаборационистом. Больше всех его уважал генерал фон Тиле.

Между этими двумя завязались странные отношения — можно было даже назвать это дружбой. Говорили, что генерал презирает нацистов. Както раз он сказал Сюзанне:

— Знаете, мадемуазель, фюрер говорит, что дело его будет жить тысячу лет. Я бы лично скорее поставил на дело Дюпра. Несомненно, оно будет иметь лучший вкус.

Один из его лейтенантов позволил себе объявить о прибытии вождя люфтваффе в следующих выражениях:

— Герр Дюпра, один из ваших самых тонких ценителей сможет лично убедиться, что Франция не утратила ничего из того, что составляет ее славу.

Присутствовавший при этом фон Тиле отвел офицера в сторону и обрушил на его голову несколько замечаний, которые тот, очень бледный, выслушал, стоя по стойке “смирно”. После чего генерал лично принес Марселену свои извинения. Когда я видел, как генерал берет Марселена под руку и, беседуя, прогуливается с ним в садике “Прелестного уголка”, я чувствовал, что оба они сумели переступить через то, что Дюпра презрительно именовал “обстоятельствами” или “условиями”, и нашли точки соприкосновения,

позволяющие прусскому аристократу и великому французскому кулинару говорить на равных. Но по-настоящему я понял, как далеко продвинулись две эти избранные натуры во взаимном уважении и даже “братании над схваткой”, только когда Люсьен Дюпра рассказал мне, что его отец тайком дает уроки кулинарии генералу фон Тиле. Сначала я не поверил:

— Ты смеешься надо мной. У фон Тиле сейчас должны быть другие заботы.

— Может, как раз поэтому. Вот посмотришь.

Я пожал плечами. Если бы мне сказали, что генерал играет на скрипке, чтобы рассеяться, я бы счел это нормальным: о любви немцев к музыке говорено и переговорено, это стало штампом. Во время оккупации легче всего было видеть в немцах только преступников, а во французах — только героев. Но чтобы один из самых известных командующих вермахта был в глубине души так уверен в грядущем поражении, что искал забвения, беря уроки кулинарии у французского повара… — нет, это противоречило всему, что мы вкладывали в термин “немецкий генерал”. Ненависть питается общими словами, и такие фразы, как “типичная прусская физиономия” и “идеальный представитель расы господ”, способ-

ствуют росту невежества.

Я расспрашивал Люсьена Дюпра почти грубо:

— Это тебе отец рассказал? Он вполне способен выдумать такое, чтобы придать себе важности. Это на него похоже. “Месье, знаете генерала фон Тиле, победителя Седана и Смоленска? Это я его всему научил”.

— Я тебе говорю, два-три раза в неделю генерал приходит к отцу учиться готовить. Конечно, генерал не хочет, чтобы об этом знали, потому что дело принимает для них дурной оборот и это выглядело бы как акт отчаяния или даже пораженчество. Они начали с глазуньи и омлетов. Не понимаю, что тебя удивляет.

— Меня ничто не удивляет. Мы все по горло в крови и дерьме, а эти избранные натуры возвысились над варварством. Немецкая мощь нуждается во французской тонкости и умении жить. Эти двое творят будущее. Хотелось бы мне посмотреть на это.

— Я тебе скажу.

В тот же день, когда я выходил из конторы, Люсьен шепнул мне на ухо:

— Сегодня вечером, около одиннадцати. Я оставлю дверь в коридор приоткрытой. Но будь осторожен. Они большие друзья, и отец этого не

простит.

Я пришел пешком. Опасался патрулей, которые каждую ночь прочесывали поля и леса в поисках сигнальных огней для самолетов.

Я прокрался в коридор со стороны кухни. Дверь была приоткрыта. Держа башмаки в руке, я подошел ближе и заглянул внутрь.

Фон Тиле был без кителя, в фартуке. Казалось, он сильно выпил. Рядом с ним стоял Марселен Дюпра; надменный и чопорный в своем колпаке, он держался с преувеличенной важностью, что также объяснялось двумя пустыми бутылками из-под вина и одной сильно початой бутылкой коньяку на столе.

— Незачем сюда приходить, Георг, если ты не слушаешь, что я говорю, — ворчал Дюпра. — У тебя нет больших способностей, и, если ты не будешь в точности выполнять все мои указания, ты ничего не добьешься.

— Но ведь я выучил это наизусть. Полтора стакана белого вина…

— Какого белого вина?

Генерал молчал с легким удивлением во взоре.

— Сухого! — пробурчал Дюпра. — Полтора стакана сухого белого вина! Черт возьми, это же нетрудно!

— Марселен, неужели ты хочешь сказать, что если вино не сухое, все пропало?

— Если хочешь приготовить настоящего фаршированного кролика по-нормандски, надо, чтобы вино было сухое. Или уж лей что хочешь. Что ты еще положил в фарш? Нет, это просто невероятно, Георг. Не могу понять, как человек твоей культуры…

— У нас разная культура, Марселен. Поэтому мы и нуждаемся друг в друге… Я положил три кроличьи печенки, сто граммов поджаренной ветчины, пятьдесят граммов хлебного мякиша… чашку шнитт-лука…

Слышалось гудение бомбардировщиков союзников, пролетавших над побережьем.

— И все? Мой генерал, у тебя голова была занята другими делами. Наверно, ты думал о Сталинграде. Я тебе говорил положить кофейную ложечку пряностей… Завтра начнем снова.

— У меня уже три раза не получилось.

— Нельзя побеждать на всех фронтах сразу.

Оба были совершенно пьяны. В первый раз я обратил внимание на их сходство, и оно поразило меня. Фон Тиле был ниже ростом, но у него было почти точно такое же лицо с тонкими чертами и маленькими седыми усами. Дюпра с

отвращением оттолкнул блюдо с провинившимся кроликом:

— Дерьмо.

— Ну что ж, Марселен, хотел бы я видеть, как бы ты командовал танковым корпусом.

Минуту они молчали, оба мрачные, потом бутылка коньяку перешла из рук в руки.

— Сколько это еще продлится, Георг?

— Не знаю, старик. Кто-то эту войну выиграет, это точно. Скорее всего, твой кролик по-нормандски.

Я осторожно скрылся. Назавтра же в Лондон отправили сообщение, что у генерала, командующего "пантерами" в Нормандии, появились признаки упадка духа.

Пекинес Чонг заслуживал звания связного Сопротивления. Каждый раз, когда хозяйка приходила за ним ко мне в контору, — кроме тех случаев, когда ее почтительно сопровождали месье Жан или сам Марселен Дюпра, — она сообщала мне о замыслах гестапо или о том, как немцы готовятся к "приему гостей" на Атлантическом побережье. Некоторые из наших товарищей спаслись только благодаря этим сведениям. Графиня сказала мне также, что Лила живет в Париже с родителями, но часто проводит несколько

дней на вилле недалеко от Юэ.

Вскоре Лила снова появилась в “Прелестном уголке”, по-прежнему в сопровождении Ханса и фон Тиле. Их называли “трио”. “Оставьте в час дня столик для трио”, — говорил Люсьен Дюпра. Я всегда узнавал о ее присутствии от месье Жана, который ставил меня в известность с сокрушенным видом. “Малышка” здесь со своими немцами, для бедного Людо это, наверное, как нож в сердце. Но это было не так. Говорят, что любовь слепа, но в моем случае имело место как раз обратное. Мне казалось, что в отношениях “трио” есть что-то, что от меня ускользает. Я был уверен, что Лила — не любовница фон Тиле; я не был даже уверен, что она любовница Ханса. Комичная фраза: “Наши владения на берегу Балтийского моря были рядом”, которую она произнесла, чтобы объяснить свои отношения с немецкими “кузенами”, начинала напоминать мне “личные” сообщения, которые мы получали из Лондона: “Нынче вечером птицы снова будут петь” или же “Колокола затопленного храма зазвонят в полночь”. Я смутно догадывался, что между этими прусскими помещиками и не менее аристократичной полькой существует какое-то сообщничество, но его подлинная суть от меня

ускользала. Как-то я столкнулся с Лилой, когда она выходила со своими двумя кавалерами из ресторана. Я несколько месяцев ее не видел, и меня поразила перемена в ней. В выражении ее лица, когда она меня увидела, светилась гордость, почти торжество, как если бы она хотела сказать: “Вот увидишь, Людо, вот увидишь. Ты во мне ошибался”.

На следующей неделе это впечатление подтвердилось самым неожиданным образом. Лила влетела ко мне в контору, и едва я успел встать, как она уже меня целовала.

— Ну, мой Людо, что ты поделываешь?

Годы прошли с тех пор, как я ее видел такой веселой и счастливой.

— Да не знаю, в общем. Ничего особенного не делаю. Занимаюсь бухгалтерией “Прелестного уголка” и воздушными змеями, когда время есть. Дядя уехал, и я пытаюсь делать что могу.

— Куда он поехал?

— В Шамбон-сюр-Линьон. Это в Севеннах. Не спрашивай, что он собирается делать на другом конце страны, я ничего не знаю. Он мне сказал только, что они в нем нуждаются там. Потом взял ящик с инструментами и уехал.

Я видел, что ей хочется мне что-то сказать, но

она сдерживается, и различал даже немного иронии в ее глазах, как будто она жалела меня за то, что я не знаю, чем она так довольна.

— Ханса назначили в штаб в Восточной Пруссии, — сказала она.

— Вот как!

Она рассмеялась:

— Конечно, тебе это неинтересно.

— Мягко говоря, да.

— Так вот, ты ошибаешься. Это очень важно. Знаешь, я имею на Ханса большое влияние.

— Не сомневаюсь.

— Готовятся важные события, Людо. Ты скоро узнаешь.

Я чувствовал, что она хочет рассказать мне больше. Я чувствовал также, что лучше пусть она не говорит.

— Ты всегда считал меня легкомысленной, еще с нашей первой встречи. И я знаю, что обо мне говорят местные жители. Ты напрасно их слушаешь.

— Я никого не слушаю.

— Ты ошибался насчет меня, мой милый Людо. Но… Скоро ты будешь просить у меня прощения. Думаю, что мне наконец удастся сделать что-то необыкновенное. Я тебе всегда говорила.

Она быстро поцеловала меня и вышла, бросив с порога еще один торжествующий взгляд.

Через несколько дней я встретил ее на вокзале в Клери, она выходила из машины; с ней был фон Тиле. Она помахала мне, и я помахал в ответ.

Глава XL

Восьмого мая 1943 года, около десяти вечера, я читал и вдруг услышал шум машины; подойдя к окну, я увидел голубоватые огни фар. Шум мотора стих; в дверь постучали; я зажег свечу и открыл дверь. На пороге стоял генерал фон Тиле; серые, того цвета, какой принято называть стальным, глаза на его правильном лице с четкими чертами смотрели напряженно. На шее у него был Железный крест с алмазами.

— Добрый вечер, месье Флёри. Извините за неожиданный визит. Я бы хотел с вами поговорить.

— Войдите.

Он прошел мимо меня, остановился и бросил взгляд на подвешенных к балкам воздушных змеев.

— Со мной в машине один человек, которого вы знаете.

Он сделал паузу и сел на скамейку, сложив руки. Я ждал. В это время самолеты союзников пролетали над побережьем, чтобы бомбить немецкие города. Фон Тиле поднял голову и при-

слушался к огню береговой артиллерии.

— Вчера над Гамбургом было тысяча двести бомбардировщиков, — сказал он. — Вы должны быть довольны.

Я не понимал, чего хочет от меня этот военачальник.

— Вы знаете того, кого я привез, — сказал он. — Не знаю только, смотрите ли вы на него как на друга или как на врага. Тем не менее я прошу вас помочь ему.

Фон Тиле встал. Он смотрел себе под ноги.

— Я бы хотел, чтобы вы помогли ему бежать в Испанию… — намек на улыбку, — как вы это так хорошо делаете для летчиков союзников.

Я был так поражен, что даже не протестовал.

— Месье Флёри, вам, конечно, нет никакого смысла спасать жизнь немецкому офицеру. Я очень хорошо это понимаю. Я обращаюсь к вам по совету Лилы. Это тоже может вам показаться странным. Но Ханс — как и вы — очень любит ее. Словом, соперник. Может быть, вы были бы рады, если бы он исчез. В таком случае стоит только позвонить начальнику здешнего гестапо, герру Грюберу… — Он не назвал его по званию. — Но может быть, в словах “любить ту же женщину” есть что-то… как бы сказать? Братское…

Он внимательно наблюдал за мной с неожиданным добродушием на искаженном, почти мертвенно-бледном лице. Я молчал. Фон Тиле поднял руку:

— Прислушайтесь к небу. Сколько детей будет убито этой ночью? Ладно. Я говорю только, что пытаюсь спасти молодого человека, который является моим племянником и которого я люблю как сына. Теперь я должен ехать. У нас есть… около суток. Мне нужно сделать распоряжения. Но вы мне еще не ответили, месье Флёри.

— Лила знает?

— Да.

Ханс был в форме. Решительно, детство и отрочество оставляют неизгладимый отпечаток: мы не пожали друг другу руки. Но мне пришлось взять его под руку, чтобы поддержать. Он сделал несколько шагов и свалился. Фон Тиле помог мне перенести его в комнату.

— Не оставляйте его здесь, месье Флёри. Вы рискуете жизнью. Постарайтесь спрятать его где-нибудь в другом месте сегодня же ночью. Я все же думаю, как я вам уже сказал, что у нас еще есть около суток…

Он мне улыбнулся:

— Надеюсь, у вас нет ощущения, что вы со-

вершаете предательство… скрывая немецкого офицера?

— Я только думаю, что вы должны дать мне какое-то объяснение, черт возьми.

— Вы его получите. Ханс объяснит вам. Во всяком случае, завтра я сам вам объясню. Я буду обедать в “Прелестном уголке”, как каждую пятницу.

Когда я вернулся в комнату, Ханс спал. Его лицо даже во сне имело беспокойное выражение, по временам губы и подбородок судорожно вздрагивали. Я долго смотрел на это лицо, чья красота когда-то вызывала во мне такую вражду. На шее у него был медальон. Я открыл его: Лила.

Был час ночи, а солнце вставало в пять. От тиканья часов меня начал продирать мороз по коже. Я поставил кофе и разбудил Ханса. Секунду он смотрел на меня, не понимая, потом вскочил:

— Не оставляй меня здесь. Они тебя расстреляют.

— Что ты сделал?

— Потом, потом…

Кофе был готов.

— У нас мало времени, — сказал я. — Три часа ходу.

— Куда?

— К Старому источнику. Помнишь?

— Еще бы! Ты меня там чуть не задушил. Сколько нам было?.. Двенадцать, тринадцать?

— Около того. Ханс, что ты сделал?

— Мы хотели убить Гитлера.

Я мог вымолвить только:

— Господи!

— Мы подложили бомбу в его самолет.

— Кто это “мы”?

— Бомба была неисправна. Она не взорвалась, и они ее нашли. Двое наших товарищей успели покончить с собой. Другие заговорят рано или поздно. Мне удалось скрыться на моем самолете, чтобы предупредить…

Он замолчал.

— Понятно.

— Да. Мне удалось сесть в Уши. Я хотел вывезти генерала в Англию.

Мне пришлось встряхнуться и сделать глубокий вдох, чтобы прийти в себя. Потом мною овладел сумасшедший приступ смеха. Ханс хотел увезти фон Тиле в Англию, чтобы тот организовал там “Свободную Францию”, в смысле “Свободную Германию”! Может быть, с лотарингским крестом в качестве символа?!

— Черт возьми, — сказал я. — Сейчас май. Это

даже на месяц раньше восемнадцатого июня[28]. Богатая у вас, немцев, фантазия. То вы создаете Гёте и Гёльдерлина, то миллионы мертвецов. Видно, ваши фантазии играют в орла или решку. Если я правильно понял, ваша офицерская элита считает, что все еще можно уладить по-джентльменски? Мир господ? Разыграть в Лондоне в сорок третьем году немецкое восемнадцатое июня сорокового года — за счет русских, очевидно?

Он опустил голову.

— Все наши потомственные офицеры были против Гитлера и против войны начиная с тридцать шестого года, — сказал он.

— А потом было уже слишком поздно, вы были уже в Париже и под Москвой. Ладно, пошли. Несколько дней пересидишь у Старого источника, потом будет видно. Ты выдержишь? Надо пройти семь километров.

— Да.

Я взял свой драгоценный электрический фонарик — у меня осталась только одна запасная батарейка, — и мы отправились. Прекрасная ночь, иронический блеск звезд. Французский подпольщик, рискующий жизнью ради немец-

---

[28] Примечания: 28

18 июня 1940 г. де Голль в Лондоне призвал французов к сопротивлению.

кого офицера-голлиста. Луна еще ярко светила, и я зажег фонарик, только когда мы дошли до края оврага. Тропинка нашего детства заросла кустами и колючками; источник тоже постарел, и у него не было больше сил выплескиваться из ямки. Один за другим мы пробрались между замшелых откосов до тупика. “Вигвам” был на месте, такой, каким его построил дядя Амбруаз одиннадцать лет назад. Он немного покосился, но держался. И только теперь, когда мы оказались у “вигвама” нашего детства, мне вспомнились слова Лилы, которые она прошептала мне в конторе так весело и уверенно: “Думаю, что мне наконец удастся сделать что-то необыкновенное. Знаешь, я имею на Ханса большое влияние”. Я посмотрел на Ханса. Это она, подумал я. Это ради нее.

Я присел на корточки и попытался набрать немного воды на дне источника. У меня пересохло в горле, и мне трудно было говорить.

— Я буду приносить еду раз или два в неделю. Потом постараемся переправить тебя через Пиренеи. Я должен поговорить с товарищами.

В воздухе пахло землей и сыростью. У нас над головой дремала сова. Небо начало светлеть.

Ханс снял свой френч и бросил его на землю. В белой рубашке он не очень отличался от того

Ханса, который стоял передо мной в фехтовальном зале Гродека во время нашей дуэли.

— Я обязан тебе жизнью, и я верну ее тебе, — сказал он.

— Это она решит, старик.

Так один-единственный раз мы заговорили о Лиле.

В одиннадцать часов я был на своем месте в конторе, не в силах думать ни о чем, кроме событий этой ночи. Все, что говорила мне Лила, каждое слово, каждая фраза, каждое выражение, без конца отдавалось у меня в голове. “Я добьюсь… я уверена, что если немного повезет… Знаешь, я имею на Ханса большое влияние… Я всегда хотела совершить что-то великое и страшно важное…”

Месье Жан приоткрыл дверь:

— От генерала фон Тиле звонили, чтобы ему приготовили счет за месяц…

— Да…

“Верь мне, Людо… Мое имя войдет в историю…”

Она терпеливо убеждала Ханса, и это было тем более легко, что он с начала военных действий говорил о “спасении чести немецкой армии”. А фон Тиле знал, что если Германия и дальше будет

вынуждена вести войну на два фронта, то ее ждет поражение. Следовательно, если убрать Гитлера и заключить мир с США и Англией и…

— Счет номера пятого, — произнес голос месье Жана.

— Да… сейчас…

— Что с тобой, Людо? Ты болен?

— Нет, ничего…

“Ты еще будешь мной гордиться… Мое имя войдет в историю…” Заговор провалился, и Лиле грозит смерть. “Знаешь, я имею на Ханса большое влияние…” Мне нужно переправить их обоих в Испанию. Но как это сделать? Двоих летчиков, которые прячутся у Бюи, через несколько дней отправят в Баньер; но я даже не знал, где Лила; кроме того, нужно было разрешение Субабера на то, чтобы отправить с ними Ханса, а для Субы хороших немцев не было. Кроме того, мы срочно должны передать в Лондон информацию об этом первом заговоре офицеров вермахта против Гитлера.

Я сидел в растерянности, когда услышал повизгивание. Чонг сидел у моих ног и вилял хвостом, глядя на меня с упреком. Когда Эстергази обедала в “Прелестном уголке”, мне поручалось кормить собачку паштетом. Я вышел из конторы и позвал

Люсьена Дюпра.

— Эстергази еще здесь?

— А что?

— Она забыла собачонку.

— Сейчас посмотрю.

Он вернулся и сообщил, что графиня пьет кофе. Я зашел в кухню, взял тарелку с мясом и пошел кормить собачку. Проходя коридором, я увидел, что у входа остановилась машина фон Тиле. Шофер открыл дверцу, и генерал вышел. Лицо фон Тиле осунулось, но он был как будто в хорошем настроении и быстро поднялся по ступенькам, ответив на чье-то приветствие. В то утро Дюпра получил записку, написанную рукой фон Тиле, которую после Освобождения вклеил в свою “Золотую книгу”. “Друг Марселен, меня вот-вот переведут в другое место, и сегодня, в пятницу, в четырнадцать часов, я приеду в «Прелестный уголок» попрощаться”.

Для меня его присутствие означало только, что гестапо еще не знает. Еще около суток, как он мне сказал. У меня оставалось всего несколько часов, чтобы найти Лилу. Но Ханс или фон Тиле наверняка о ней позаботились.

Через несколько минут графиня явилась ко мне в контору. Она взяла собачку на руки:

— Бедный малыш. Я чуть его не забыла.

Она положила передо мной смятый бумажный шарик. Я развернул его. Почерк Лилы. “Мне чуть не удалось. Люблю тебя. Прощай”.

Мадам Жюли поднесла к бумажке зажигалку. Кучка пепла.

— Где она?

— Не знаю. Вчера вечером фон Тиле отправил ее в Париж. Этот дурак велел отвезти ее к ночному двенадцатичасовому на своей собственной машине.

— А эта бумажка…

Она нервничала и теребила перчатки.

— Что “эта бумажка”?

— Как вы ее получили?

— Вчера вечером в “Оленьей гостинице” был большой прием. Младший офицерский состав пригласил гражданских служащих и секретарей. Там был весь штаб. На несколько минут появился сам генерал фон Тиле. Твоя малютка много пила и много танцевала. А потом она передала моей дочери записку для тебя. Она смеялась. Это, кажется, любовное письмо. Любовное или не любовное, в наше время я вскрываю все письма. Вот. Тебе везет, малыш. Если бы она отдала письмо кому-нибудь другому…

— Они… они уже знают?

— Гестапо знает с девяти утра. Мой дружок, стопроцентный ариец с настоящим именем Исидор Левкович, предупредил меня в двенадцать. Они еще не сцапали фон Тиле, потому что не хотят, чтобы распространились слухи. Он покоритель Смоленска, понимаешь, — это может наделать шуму. У них приказ отправить его в Берлин со всеми почестями…

— Но генерал здесь…

— Ненадолго.

Она нежно прижала мордочку Чонга к своей щеке:

— Ах ты, миленький. Кажется, у твоей мамы сохранились остатки сердца, потому что она начинает делать глупости.

Она посмотрела на меня жестким взглядом:

— Ты ничем не можешь ей помочь, так что сиди тихо и скажи остальным, чтобы делали то же самое. Дело дерьмовое.

Графиня Эстергази повернулась ко мне спиной и вышла.

Я хотел уйти из конторы и бежать к Субаберу, но месье Жан сказал, что генерал фон Тиле желает со мной поговорить.

— Он в гостиной Эд…

Старик спохватился. Гостиная “Эдуар Эррио”, где лидер радикал-социалистов когда-то обедал, лишилась своего имени. Однако другого названия Дюпра ей мужественно не давал. Он просто снял табличку “Эдуар Эррио” и спрятал ее в ящик.

— Кто знает, — объяснил он мне. — Все может вернуться.

В ресторане, как в “ротонде”, так и на “галереях”, было много парижских и местных деятелей; считалось шикарным постничать по пятницам, ибо, с тех пор как страна перенесла столько несчастий, набожность и религия опять вошли в моду. Чтобы не разочаровать клиентов в постные дни, Марселен Дюпра занимался рыбными блюдами со всей тонкостью и знанием дела. Лишенная имени гостиная находилась на втором этаже, и мне пришлось пройти через “ротонду”, набитую представителями высшего общества, чего я никогда не делал, так как хозяин ругал меня за затрапезный вид каждый раз, как я появлялся из-за кулис.

Я нашел фон Тиле за столом. Дюпра, очень бледный, откупоривал лучшую, по его мнению, бутылку: “Шато-Лавиль” 1923 года. Никогда еще я не видел, чтобы хозяин так волновался. Для того чтобы он пошел на такую жертву, надо было

затронуть его самые сокровенные струны. Было ясно, что фон Тиле объяснил ему подлинное значение своего “перемещения”. Время от времени Дюпра бросал взгляд в окно: на аллее стояли две гестаповские машины, одна из них — машина самого Грюбера.

— Ничего не бойтесь, мой дорогой Марселен, — говорил генерал. — Это мой почетный эскорт с девяти тридцати утра. Меня переводят в Берлин, и я должен сесть в самолет, который меня ожидает. Фюрер хочет избежать неприятной огласки. Впрочем, мое назначение в штаб генерала фон Кейтеля является повышением. Однако весьма вероятно, что самолет потерпит аварию прежде, чем я попаду в Темпельхоф, так как не думаю, чтобы жизнь экипажа кого-нибудь особенно волновала. В полете меня должны сопровождать трое моих непосредственных сотрудников, кроме полковника Штеккера — он хороший нацист и, надеюсь, останется вашим клиентом. Но не все пройдет так, как они планируют, поскольку не вижу, зачем мне обрекать на гибель совершенно невиновный экипаж, в то время как у люфтваффе уже наблюдается нехватка пилотов. Но главное, я отказываюсь играть в эту игру… или, если вы предпочитаете, сотрудничать. Я желаю, чтобы

об этом узнали. Ефрейтор Гитлер считает себя гениальным стратегом и ведет германскую армию к гибели. Таким образом, необходимо, чтобы мои товарищи узнали о моем “предательстве”, и, принимая во внимание мою боевую репутацию, смею сказать, что все мои коллеги — высшие офицеры — поймут мои соображения, кстати, большинство из них разделяют мое мнение. Это мое им предупреждение, и я хочу, чтобы это стало известно. Но поговорим о более веселых вещах…

Он отпил “Шато-Лавиль” 1923 года.

— Изумительно! — сказал он. — Ах, французский гений!

— Я приготовил вам рагу из морских гребешков и тюрбо на гриле с горчичным соусом, — дрожащим голосом произнес Марселен Дюпра. — Конечно, это немного избито… Если бы я знал…

— Разумеется, вы не могли знать, мой дорогой Марселен. Впрочем, и я тоже. Видите ли, наш провал объясняется — как бы это сказать? — недостатком доверия к низшим и смиренным. Мы, офицерская элита, не выходим за пределы высшего круга. Мы не осмелились довериться какому-нибудь простому сержанту или ефрейтору-подрывнику, и в этом наша большая ошибка. Если бы мы искали помощи у людей… не будем

говорить “низшего звания”, скажем у “младших офицеров”, бомбу отрегулировали бы как следует, и она сделала бы свое дело. Но мы хотели остаться среди своих: по-прежнему старый кастовый дух. Наша бомба не была достаточно… демократична. Нам недоставало рядового.

Мне пришлось вспомнить эту небольшую речь генерала фон Тиле через несколько месяцев. Когда 20 июля 1944 года другой представитель “офицерской элиты”, полковник граф фон Штауфенберг, принес в своем портфеле бомбу в Генеральный штаб Гитлера в Растенбурге и фюрера лишь чуть-чуть тряхнуло при взрыве, я сказал себе, что среди всех этих господ опять не хватило простого ефрейтора-подрывника, который подложил бы бомбу нужной мощности. Этой бомбе не хватало народного дыхания.

Фон Тиле доедал тюрбо с горчичным соусом. Он повернулся ко мне:

— Итак, мой дорогой Флёри… Все прошло хорошо?

— Пока очень хорошо… Он хорошо спрятан… — Немного поколебавшись, я первый раз в жизни сказал немцу: — Мой генерал.

Он дружески смотрел на меня. В его взгляде я прочел понимание.

— Мадемуазель Броницкая в Париже, — сказал он. — В надежном месте. Если только она не будет рисковать и пытаться увидеться с родителями… Вы ее знаете!

— Господин генерал, не могли бы вы…

Он кивнул в знак согласия, вынул из кармана блокнот и написал адрес и номер телефона. Вырвал листок и отдал его мне:

— Постарайтесь переправить их обоих в Испанию…

— Да, господин генерал.

Я положил листок в карман.

Георг фон Тиле отведал еще морских гребешков и закончил трапезу знаменитым яблочным суфле, кофе и рюмкой коньяку.

— Ах, Франция! — прошептал он, и, как мне показалось, не без иронии.

Дюпра плакал. Дрожащей рукой протянул он генералу коробку настоящих гаванских сигар. Тот отстранил их. Потом взглянул на часы и поднялся.

— А теперь, господа, — сказал он сухо, — прошу оставить меня одного.

Дюпра вышел первый и побежал в туалет, чтобы умыть лицо. Если бы гестапо застало его в слезах, пока фон Тиле еще был жив, ему при-

шлось бы давать объяснения.

Выстрел раздался в тот момент, когда я садился на велосипед с Чонгом под мышкой. Я еще успел увидеть, как люди Грюбера выскочили из машин и бросились в ресторан.

Марселен Дюпра весь день пролежал лицом к стене. Вечером, перед началом работы, он произнес странную фразу, и я так и не узнал, оговорка это или высшая похвала:

— Это был великий француз.

Глава XLI

Я ехал так быстро, держа одной рукой руль, а другой — пекинеса, что когда наконец оказался перед резиденцией графини в парке и сошел с велосипеда, колени у меня подогнулись, в глазах помутилось, и я очутился на земле. Наверное, волнение и страх тоже сказались, потому что, несмотря на то что фон Тиле говорил о “надежном месте” и дал мне адрес, я плохо представлял себе, как Лила может ускользнуть от гестапо и французской полиции на службе у оккупантов. Добрых несколько минут я всхлипывал, а Чонг лизал мне лицо. Наконец я взял себя в руки, сунул собачку под мышку и поднялся по трем ступенькам на крыльцо. Я позвонил, ожидая, что увижу Одетту Ланье, “горничную”, которая девять месяцев назад приехала из Лондона с новым радиопередатчиком, но мне открыла кухарка.

— Ах, вот ты где. Ну, иди сюда, милый, иди… — Она протянула руки, чтобы взять Чонга.

— Я хочу поговорить с самой госпожой Эстергази, — пробормотал я, еще не успев перевести дух. — Собака больна. Ее все время тошнит. Я

заезжал к ветеринару и…

— Заходите, заходите.

Я застал мадам Жюли в гостиной с дочерью. Два-три раза я видел в Клери эту “секретаршу”, которая, как всем известно, была любовницей полковника Штеккера из штаба фон Тиле. Хорошенькая брюнетка, чьи глаза унаследовали всю бездонную глубину материнских глаз.

— Герман никогда не доверял генералу, — говорила она. — Он находил, что фон Тиле — декадент, чье франкофильство становится невыносимым и который говорит о фюрере в недопустимом тоне. Герман посылал по этому поводу в Берлин рапорт за рапортом. Если то, что говорят, правда, Германа повысят по службе.

— Предать свою страну — какая чудовищная вещь! — сказала мадам Жюли.

Женщины были в гостиной одни. Эти слова явно предназначались мне. Из этого я заключил, что мадам Жюли, для которой недоверие было средством выживания, намекает, чтобы я говорил очень осторожно. Нельзя быть уверенным, что никто не подслушивает. Мать с дочерью казались сильно взволнованными. Мне почудилось даже, что руки мадам Жюли немного дрожат.

— О боже, — сказала она, повысив голос. — Ви-

жу, что я опять забыла бедняжку в “Прелестном уголке”. Возьмите, мой друг…

Она взяла с рояля свою сумку. На рояле выстроились знакомые надписанные фотографии; карточка адмирала Хорти была обтянута крепом в знак траура после того, как его сын, Иштван Хорти, в 1942 году погиб на русском фронте.

Она протянула мне десять франков:

— Возьмите, молодой человек. Спасибо.

— Мадам, собачка очень больна, я был у ветеринара, он назначил лечение, я должен с вами поговорить, это очень важно…

— Ну, мне пора обратно в контору, — нервно сказала девушка.

Мадам Жюли проводила ее до двери. Она выглянула наружу, чтобы убедиться, что за мной нет “хвоста”, закрыла дверь, повернула ключ в замке и вернулась.

Она поманила меня за собой.

Мы прошли в спальню. Она оставила дверь широко раскрытой, прислушиваясь к малейшему шуму. Я снова сказал себе, что если бы до войны Франция так же заботилась о том, чтобы выжить, как эта старая сводня, мы бы не дошли до такого.

— Ну, быстро, в чем дело?

— Фон Тиле покончил с собой и…

— И все? Конечно, покончил с собой. Когда не умеешь взяться за дело…

— Он дал мне адрес и номер телефона Лилы. Это как будто надежное место…

— Дай сюда. — Она вырвала у меня из рук бумагу и взглянула на адрес. — Да уж, надежное место! Это его гнездышко для любовных утех.

Видимо, я побледнел, потому что она смягчилась:

— Малышки это не касается. Фон Тиле любил женщин. Он себе устроил в Париже холостяцкую квартиру. Последней была шлюха из борделя мадам Фабьенн на улице Мироменил, но она воспитывалась в монастыре, и у нее были хорошие манеры, так что он не заметил. Можешь быть уверен, что гестапо знает это место. У них досье насчет личной жизни всех генералов, и они никогда не переставали шпионить за фон Тиле. Я знаю, что говорю. Если малышка действительно там…

— Она погибла, — прошептал я.

Мадам Жюли ничего не сказала.

— Но ведь можно предупредить ее? Есть номер телефона…

— Нет, кроме шуток, ты что, воображаешь, что я позволю тебе звонить отсюда? На центральной

станции записывают все номера, время, когда звонили, и номер, откуда звонят!

— Помогите мне, мадам Жюли!

Она наклонилась и взяла на руки Чонга, враждебно глядя на меня.

— Невероятно, кажется, у меня к тебе слабость. В моем-то возрасте!

Она немного подумала.

— Единственное место, откуда ты мог бы позвонить спокойно, это гестапо, — сказала она. — Погоди. Есть еще одно место. Квартира Арнольда, заместителя Грюбера.

— Но…

— Он там живет с дружком… Я тебе о нем говорила. Это дом четырнадцать на улице Шан в Клери, третий этаж, направо. У них своя линия связи, так что ничего не узнают. Поезжай туда. Очень удачно. Я забыла передать ему лекарство… То есть когда я говорю: забыла… В последнее время он стал обо мне забывать, этот маленький Франсис…

— Франсис?

— Франсис Дюпре. Совсем не похоже на “Исидор Левкович”… Подожди… — Она порылась в ящике комода и достала две ампулы. — Уже неделя прошла. Бедняга, наверно, на стены лезет. Но

это ему урок.

Я взял ампулы.

— Он диабетик. Это инсулин.

— Вы хотите сказать, морфий.

— Что ты хочешь, скоро вот уж четыре года, как он подыхает от страха. Впрочем, он всегда был не очень-то уверен в себе. Скажи ему, я его не забуду, если он не забудет обо мне снова. Пусть даст тебе позвонить.

Она сидела в кресле, расставив ноги, с Чонгом на коленях.

— И дай мне что у тебя в кармане, Людо.

— Что?

— Капсулу с ядом. Если тебя обыщут и найдут ее, это все равно как если бы ты признался. Не будешь ведь ты глотать цианистый калий только потому, что тебя обыскивают. А так всегда есть шанс, что как-нибудь вывернешься.

Я положил свою капсулу с цианистым калием на ее ночной столик. У мадам Жюли вдруг стал мечтательный вид.

— Теперь уже недолго, — сказала она. — Я уж ночи не сплю от нетерпения. Было бы слишком глупо попасться в последний момент. — Она рассеянно теребила свою золотую ящерицу. — Если тут слишком запахнет жареным, я выберусь

отсюда, присобачу себе куда надо желтую звезду и сдамся немцам в Ницце или Канне. Конечно, меня сразу депортируют, но несколько месяцев я продержусь, а тем временем американцы высадятся. Знаешь, как в фильмах про краснокожих, когда в конце всегда появляется кавалерия.

Она засмеялась.

— Янки-дудл-дудл-денди… — промурлыкала она. — Что-то в этом роде. Сами немцы в это верят. Кажется, это будет в Па-де-Кале. Хотела бы я это видеть. Так что, если ты попадешься…

— Будьте спокойны, мадам Жюли. Пусть лучше меня замучат до смерти, чем…

— Да, все так думают. Ладно, увидим. Поезжай.

Через сорок пять минут я был у дома 14 на улице Шан. Я оставил велосипед метрах в ста от дома и взбежал на третий этаж. Я был так взволнован, что первый раз в жизни у меня сделалось выпадение памяти: забыл, направо или налево. Пришлось заново вспомнить весь разговор с мадам Жюли, чтобы восстановить слова: “Третий этаж, направо”. Я позвонил.

Дверь открыл тщедушный молодой человек, довольно красивый, в стиле танцора танго, но очень бледный; его большие, оттененные кругами глаза имели тревожное выражение. Он

был в пижаме, на шее у него висел маленький крестик.

— Месье Франсис Дюпре?

— Это я. Что вы хотите?

— Я от графини Эстергази. Я вам привез лекарство.

Он оживился:

— Наконец-то… Не меньше недели прошло… Она меня забыла, мерзавка. Дайте мне…

— Мадам… то есть графиня Эстергази… попросила меня позвонить от вас в Париж.

— Пожалуйста, пожалуйста… Телефон там, в спальне… Дайте мне это…

— Месье, я не знаю немецкого. Надо, чтобы вы сами попросили номер…

Он устремился к телефону, вызвал номер и передал мне трубку. Я отдал ему две ампулы морфия, и он побежал в ванную.

Через минуту я услышал голос Лилы:

— Алло?

— Это я…

— Людо! Но как…

— Не оставайся там, где ты сейчас. Уходи немедленно.

— Почему? Что случилось? Георг мне сказал…

Я едва мог говорить.

— Сейчас же уходи… Это место засекли… Они будут с минуты на минуту…

— Но куда мне идти? К родителям?

— Нет, только не это… Подожди…

У меня в голове плясали десятки имен и адресов товарищей. Но я знал, что никто не пустит к себе незнакомку без заранее условленного пароля. И может быть, за Лилой уже есть слежка. Я выбрал наименее опасный выход.

— У тебя деньги есть?

— Да, Георг мне дал.

— Брось все вещи и немедленно уходи, не теряя ни секунды. Снимешь комнату в гостинице “Европа”, улица Роллен, четырнадцать, это возле площади Контрэскарп. Сегодня вечером я тебе кого-нибудь пришлю, он спросит Альбертину, а ты назовешь его Родриго. Повтори.

— Альбертина. Родриго. Но я не могу так уйти, здесь все мои книги по искусству…

Я проревел:

— Ты все бросаешь и уходишь! Повтори.

— Родриго. Альбертина. Людо…

— Уходи!

— Мне чуть не удалось…

— Уходи!

— Я люблю тебя.

Я повесил трубку.

Совершенно измотанный и физически и душевно, я упал на неубранную постель. Едва я лег, как из ванной появился Франсис Дюпре. Никогда бы не поверил, что за несколько минут человек может так измениться. Он излучал покой и счастье. В глазах с томными ресницами страха не осталось и следа. Он сел на кровать у меня в ногах, улыбаясь, с дружеским видом.

— Ну как, молодой человек, все в порядке?

— Все в порядке.

— Эта Эстергази чертовски хорошая женщина.

— Да. Чертовски хорошая женщина.

— Она всегда была для меня как мать. Знаете, я диабетик, а без инсулина…

— Я понимаю.

— И потом, инсулин бывает разный. Тот, который она мне достает, всегда прекрасного качества. Не выпьете бокал шампанского?

Я встал:

— Извините, я тороплюсь.

— Очень жаль, — сказал он. — Вы мне очень симпатичны. Рад буду видеть вас. До скорой встречи.

— До скорой встречи.

— Только скажите ей, чтобы помнила обо мне.

Мне нужно лекарство через каждые три дня.

— Я ей скажу. Но я так понял, что вы тоже немного забыли о ней…

Он издал смешок.

— Правда-правда. Больше не буду. Я буду чаще давать ей знать о себе.

Я уже был на лестнице.

Мне понадобилось несколько часов, чтобы связаться с “Родриго” в Париже и попросить его пойти в гостиницу “Европа”, улица Роллен, 14, и спросить Альбертину.

На следующий вечер мы получили ответ. В гостинице “Европа” Альбертины не было. Всю субботу и воскресенье наш товарищ Лаланд звонил по телефону, который мне дал фон Тиле. К телефону никто не подходил.

Лила исчезла.

Глава XLII

Несколько дней я не мог добраться до Старого источника. Весь район был поставлен на ноги: тысячи солдат прочесывали окрестности в поисках офицера-предателя. Кроме того, я потерял много времени, лихорадочно и безуспешно пытаясь найти Лилу: товарищи рискнули даже пойти на улицу Шазель и расспрашивать соседей. Все захлопнули двери у них перед носом. Только хозяин бистро на углу вспомнил, что видел, как к дому 67 напротив подъезжала полицейская машина, но они как будто никого не нашли и уехали. Я отыскал в бумагах Дюпра парижский адрес Броницких: видимо, его дала ему Лила. Они тоже исчезли.

Мне удалось себя убедить, что вся семья успела укрыться в деревне, у надежных друзей. В конце концов, Броницкие имели связи среди французской аристократии, а теперь наступило время, когда, несмотря на уверения радио Виши, что “при попытке англосаксов высадиться они будут немедленно отброшены в море”, новоявленные подпольщики стали появляться даже среди тех,

кто до сих пор мудро держался в стороне.

Итак, я немного успокоился. Если бы с Лилой что-нибудь случилось, гестаповцы Клери первые были бы в курсе дела, и “Франсис Дюпре” не преминул бы известить ту, которая “всегда была для него как мать”, как он мне объяснил. Я видел госпожу Эстергази: она явилась в “Прелестный уголок”, высокомерная, вся в сером, и прошла мимо, не взглянув на меня; она даже была без пекинеса. Ей нечего было мне сказать — ничего нового.

Так что с каждым днем я все больше проникался уверенностью, что Лила в безопасности. Не знаю, была ли это настоящая уверенность, — важно то, что она спасала меня от отчаяния. Теперь мне надо было заняться Хансом, найти ему более надежное убежище и постараться переправить его в Испанию вместе со следующей группой. Я отправился к Субаберу. Я нашел Геркулеса в очень плохом настроении.

— Никогда еще боши не лезли всюду с таким остервенением. Нельзя будет даже пошевелиться, пока они не найдут этого типа. Если так будет продолжаться, дело может кончиться полным провалом. Они уже наткнулись на два склада оружия в Веррьере и взяли одного из братьев

Солье и их сестру. Остается только одно: найти этого боша и отдать им.

У меня перехватило дыхание.

— Суба, ты не можешь этого сделать.

— Почему это?

— Он тоже подпольщик. Они пытались убить Гитлера…

Он очень высоко поднял брови:

— Да, после Сталинграда. И можешь быть уверен, что будут еще попытки. Генералы поняли, что дело пропащее, и хотят выйти сухими из воды. Я тебе вот что скажу, Флёри: счастье, что они потерпели неудачу. Потому что если бы у них получилось, если в следующий раз у них выйдет, то поверь мне, американцы с ними договорятся и снова бросят немецкую армию против русских…

— Не будешь же ты помогать гестапо?

— Послушай, малыш. Мне надо сохранить четыре склада оружия. Печатный станок. Пять радиоприемников. Ни одного парашюта нельзя будет принять, пока в наших местах днем и ночью шляются боши. Этот парень нам все испортил. Так что или он, или мы. Я приказал, чтобы его нашли. Тебе бы тоже неплохо взяться за это дело. Никто не знает местность лучше, чем ты.

Я ничего не ответил и ушел. Попробовал немно-

го поработать и начал мастерить воздушного змея, но не мог даже придумать его форму. Я сидел неподвижно с голубой бумагой в руке. Суба прав. Пока гестапо не получит Ханса, никакая деятельность подполья невозможна. С другой стороны, ясно было, что я не могу его предать.

В одиннадцать утра в дверь постучали, и вошел Суба вместе с Машо и Родье.

— Они рыщут всюду. Нельзя больше шагу ступить. Ты куда его дел, своего дружка? Он ведь проводил здесь каникулы, этот Ханс фон Шведе, и, оказывается, вы были приятелями. Нет, ты будешь говорить!

— Суба, ванна в той комнате. Не знаю, заговорю ли я под пыткой, всегда себя спрашивал.

— Черт тебя возьми, ты что, пошлешь все к черту из-за немецкого офицера?

— Нет. Дайте мне двенадцать часов.

— Но ни часу больше.

Я не стал ждать ночи, я предпочел пробираться к Старому источнику при свете дня, чтобы быть уверенным, что за мной не пойдет ни один из моих товарищей. Я приготовил для Ханса гражданскую одежду, но теперь это было не нужно. Когда я нашел его, он сидел на камне, сняв мундир, и читал. Не знаю, где он взял книгу. Потом

я вспомнил, что в кармане у него всегда была книжка, и всегда одна и та же: Гейне.

Я сел с ним рядом. Наверно, у меня был ужасный вид, потому что он улыбнулся, перевернул страницу и прочел:

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
dass ich so traurig bin;
ein Marchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn[29].

Потом он, смеясь, добавил:

— Обойдемся без перевода, но у Вердена есть нечто похожее:

Я вспоминаю
Былые дни
И плачу...[30]

Он положил книгу рядом с собой:

— Итак?

Он внимательно меня выслушал и время от времени кивал головой:

---

[29] Примечания: 29

Не знаю, что стало со мною, / Печалью душа смущена. / Мне все не дает покою / Старинная сказка одна. Г. Гейне, “Лорелей”. Перевод В. Левика.

[30] Примечания: 30

Поль Верлен. “Осенняя песня”.

— Они правы. Скажи им, что я их очень хорошо понимаю.

Он встал. Я знал, что вижу его в последний раз и что никогда уже не забуду лицо моего “врага”, освещенное весенним солнцем. Проклятая память. Стоял один из тех чудесных весенних дней, безмятежных и мягких, когда природа царит над всем окружающим.

— Попроси твоих друзей прийти сюда за мной до наступления ночи, если возможно. Это… из гигиенических соображений. Здесь много насекомых.

Он замолчал и посмотрел на меня с ожиданием; в первый раз я прочел в его взгляде беспокойство. Он даже не смел спросить.

Не знаю, ему я лгал или себе, когда ответил:

— Сейчас она должна уже быть в Испании. Будь спокоен.

Его лицо осветилось.

— Уф, — сказал он. — По крайней мере, одной заботой меньше.

Я ушел, и мы до конца остались верны нашему детству: мы не пожали друг другу руки.

На следующий день Суба принес мне томик Гейне и медальон с портретом Лилы. Остальное они передали полиции, объяснив, что младший

Маэ наткнулся на тело в овраге у так называемого Старого источника, собирая ландыши.

Глава XLIII

Тот же Суба вскоре передал мне известия о дяде. В воскресенье он пришел ко мне, одетый, как он сам говорил, неосторожно: он мечтал о форме, настоящей французской форме, и чтобы носить ее, не скрываясь. Он был офицером запаса, о чем все время нам напоминал, впрочем не уточняя звания, — вероятно надеясь получить в будущем погоны по своему вкусу. В сапогах, берете, бриджах и гимнастерке хаки, толстый, с хмурым, как обычно, лицом — на нем как бы навсегда застыла ярость, которую он испытал при капитуляции, — Суба тяжело сел на табуретку и без всякой подготовки ворчливо объявил:

— Он в Бухенвальде.

В то время я мало что знал о лагерях смерти. В моем уме слово “депортация” еще не имело всего своего ужасного значения. Но я думал, что дядя спокойно живет в Севеннах, и был так потрясен, что, взглянув на меня, Суба встал и сунул мне в руки стакан и бутылку кальвадоса:

— Ну, приди в себя.

— Но что он сделал?

— История с евреями, — хмуро проворчал Суба. — С еврейскими детьми, как я понял. Кажется, в Севеннах есть целый поселок, который посвятил себя этому. Не помню названия. Гугенотский поселок. В свое время они сами натерпелись преследований, так что они все за это взялись, и как мне сказали, и сейчас продолжают. Само собой, раз речь идет о детях, еврейских или нееврейских, Амбруаз Флёри сразу влез туда с головой, со своими воздушными змеями, и все такое.

— Все такое.

— Да, все такое.

Он покрутил у виска пальцем:

— Ну, мы все сейчас немного того. Надо быть безумцем, чтобы рисковать своей жизнью ради других, потому что, когда Франция будет свободна, нас уже может не быть, и мы ее не увидим. Только у меня это не в голове… — Он потрогал свой живот. — У меня это в кишках. Так что я не могу иначе. Если бы у меня это было в голове, я бы устроился как Дюпра. В общем, его отправили в концлагерь. Он им попался между Лионом и швейцарской границей.

— Вместе с детьми?

— Про это я ни черта не знаю. Я договорился с одним человеком оттуда, он тебе расскажет

подробности. Вставай, поехали.

Я ехал за ним на своем велосипеде, хлюпая носом. Слезы всегда найдут себе выход, бессмысленно пытаться их сдерживать.

В “Нормандце” в Кло он познакомил меня с месье Терье, который нас ждал. Тот сообщил мне, что бежал из лагеря во время бомбардировки, надев форму убитого немецкого солдата, благодаря тому что “знал в совершенстве язык Гёте, который преподавал в лицее Генриха Четвертого”. Описав то, что он довольно странно называл “лагерной жизнью”, он сказал, что среди худших испытаний дядя никогда не поддавался отчаянию.

— Правда, сначала ему повезло…

— Как повезло, месье? — воскликнул я.

Месье Терье объяснил, в чем заключалось дядино везение. Оказалось, что один из охранников год стоял с оккупационными войсками в районе Клери и вспомнил о воздушных змеях Амбруаза Флёри, которыми немцы восхищались и часто покупали, чтобы посылать своим семьям. Начальнику лагеря пришла мысль использовать талант заключенного, и он снабдил его необходимыми материалами. Дяде приказали начать работу. Сначала эсэсовцы забирали змеев и дарили своим детям и детям знакомых, потом решили

торговать змеями. Дядя получил целую группу помощников. Так над лагерем позора стали взлетать в воздух разноцветные воздушные змеи — символ несгибаемой веры и надежды Амбруаза Флёри. Месье Терье сказал, что дядя работал по памяти, но что ему удалось придать некоторым из своих произведений черты Рабле и Монтеня — ведь он столько раз делал их раньше! Но самый большой спрос был на змеев, имеющих наивную форму картинок из детских книжек, и нацисты даже притащили дяде целую коллекцию сказок и книг для детей, чтобы помочь его воображению.

— Мы очень любили старика Амбруаза, — говорил месье Терье. — Конечно, он был немного чудаковат, чтобы не сказать — немного сумасшедший, иначе он не мог бы — в его-то возрасте, голодный, как все мы! — делать свои штуковины такими яркими, пестрыми, забавными и веселыми. Этот человек не умел отчаиваться, и те из нас, кто ждал смерти как избавления, чувствовали себя униженными перед такой душевной силой — он как бы бросал им вызов. Наверно, у меня всегда будет стоять перед глазами этот неукротимый человек в полосатых лохмотьях узника, в компании нескольких полутрупов, которые не умирали только благодаря чему-то, чего нельзя объяс-

нить словами, запускающий в небо “Корабль” с двадцатью белыми парусами, трепетавшими над печами крематориев, над головой у наших палачей. Иногда какой-нибудь змей вырывался и улетал, а мы с надеждой провожали его глазами. За эти месяцы ваш дядя сделал не меньше трех сотен воздушных змеев, черпая сюжеты, как я уже говорил, из детских сказок, которые дал ему начальник лагеря, из самых популярных сказок. А потом дело приняло дурной оборот. Может, вы еще не знаете об этой истории с абажурами из человеческой кожи. Еще услышите. Короче говоря, эта тварь Ильза Кох, надзирательница женского лагеря, заставляла делать для нее абажуры из кожи умерших заключенных. Нет, не делайте такое лицо: это ничего не доказывает. И никогда ничего не докажет, сколько бы ни было улик. Достаточно какого-нибудь Жана Мулена или Оноре д’Эстьена д’Орва[31], и защита получит право слова. Итак, Ильзе Кох пришла в голову мысль: она приказала Амбруазу Флёри сделать ей воздушного змея из человеческой кожи. Именно так. Она нашла кожу с красивой татуировкой. Разумеется, Амбруаз Флёри отказался. Ильза Кох присталь-

[31] Примечания: 31

Жан Мулен, Оноре д’Эстьен д'Орв — герои Сопротивления, убитые гитлеровцами.

но посмотрела на него и сказала: “*Denke doch*. Подумай”. Она удалилась со своим знаменитым хлыстом, а ваш дядя провожал ее глазами. Думаю, тварь поняла, что означают воздушные змеи, и решила сломить дух француза, который не умеет отчаиваться. Всю ночь мы пытались уговорить Амбруаза: одной кожей больше или меньше, уже не имело значения. И во всяком случае, в этой коже уже никого не было. Но ничего не вышло. “Я не могу сделать с ними такое”, — повторял он. Он не объяснил нам, с кем именно он не может “сделать такое”, но мы хорошо его понимали. Не знаю, что для него значили его воздушные змеи. Наверное, какую-то непобедимую надежду.

Месье Терье замолчал в некотором затруднении. Суба резко встал и заговорил у прилавка с хозяином. Я понял:

— Они его убили.

— О нет, нет, могу вас успокоить на этот счет, — поспешил меня утешить месье Терье. — Они только перевели его в другой лагерь.

— Куда?

— В Польшу, в Освенцим.

Тогда я еще не знал, что Освенцим будет более известен во всем мире под немецким именем Аушвиц, как тому и следует быть.

Глава XLIV

Уже более двух месяцев Лила снова делит со мной мою подпольную жизнь. Я сплю так мало — специально, потому что состояние нервного истощения благоприятно для ее присутствия, — что могу вызывать ее почти каждую ночь.

“Ты меня предупредил как раз вовремя, Людо. К счастью, Георг нам достал документы. Я с родителями смогла укрыться в Испании, потом в Португалии…”

Два-три раза в неделю я захожу в муниципальную библиотеку в Клери, чтобы быть ближе к Лиле, и, склонившись над атласом, водя пальцем по карте, встречаюсь с нею в Эшториле или провинции Алгарвии, знаменитой своими пробковыми дубами.

“Тебе бы следовало приехать сюда, Людо. Это очень красивая страна”.

“Напиши мне. Ты со мной говоришь, успокаиваешь меня, но когда ты меня покидаешь, то не подаешь никаких признаков жизни. Ты хотя бы не делаешь глупостей?”

“Каких глупостей? Я сделала их так много!”

“Ты знаешь… Надо было выжить, спасти своих… — У нее делается строгий голос: — Вот видишь, ты все время об этом думаешь. В глубине души ты мне не простил…”

“Неправда. Если я не хочу, чтобы это повторилось, то потому…”

Голос становится насмешливым: “…потому что ты боишься, что это войдет у меня в привычку”.

“Речь идет не о привычке. Об отчаянии…”

“Ты меня стыдишься”.

“Нет! Иногда я стыжусь, что я человек, что у меня такие же руки, такая же голова, как у них…”

“У кого «у них»? У немцев?”

“У них. У нас. Надо очень верить в воздушных змеев дяди Амбруаза, чтобы смотреть в глаза человеку как он есть и думать: я невиновен. Это не он замучил до смерти Жомбе, не он на прошлой неделе командовал расстрелом, когда шестерых заложников-«коммунистов» изрешетили пулями…”

Голос удаляется: “Что ты хочешь, надо выжить, спасти своих… Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?”

Я встаю, беру фонарь и иду через двор в мастерскую. Воздушные змеи здесь, все те же, и их всегда нужно делать заново. Я раз двадцать

собирал и “Жан-Жака Руссо”, и “Монтеня”, и даже “Дон Кихота”, этого великого непризнанного реалиста, который был так прав, когда видел вокруг себя, в таком как будто знакомом уютном мире, безобразных драконов, чудовищ, научившихся притворяться и прикрываться личиной доброго малого, “который даже мухи не обидит”. С тех пор как появился человек, число мух, поплатившихся своими крыльями из-за этой успокоительной поговорки, достигло сотен миллионов.

У меня уже давно нет ненависти к немцам. Что, если фашизм — не уродливая бесчеловечность? Что, если он *присущ человеку*? Что, если это его тайная суть, истина, скрытая, подавленная, замаскированная, отрицаемая, затиснутая в глубь души, но в конце концов выходящая наружу? Немцы — да, конечно, немцы… Просто сейчас в истории их очередь, вот и все. Неизвестно, что будет после войны, когда Германия будет побеждена, а фашизм спасется бегством или спрячется… Вдруг другие народы в Европе, Азии, Африке или Америке захотят принять эстафету? Один товарищ привез нам из Лондона книжечку стихов французского дипломата Луи Роше. Он писал о жизни после войны. Две строчки навсегда мне запомнились:

И резня ужасной будет,
Говорю тебе как мать.

Я зажигаю фонарь. Воздушные змеи здесь, но запускать их по-прежнему запрещено. Не выше человеческого роста, говорится в постановлении. Власти боятся этих небожителей, боятся шифровки, обмена условными знаками, сигналов подпольщиков. Детям разрешается только таскать их за веревку. Летать запрещается. Больно видеть, как наш “Жан-Жак” или наш “Монтень” волочится по земле, тяжело видеть их ползающими. Когда-нибудь они снова смогут подниматься ввысь и улетать “в погоне за синевой”. Они снова смогут успокаивать нас и утешать. Может быть, смысл существования воздушных змеев в том, чтобы красоваться.

В конце концов я всегда брал себя в руки. Это был просто инстинкт самосохранения. Не важно, что у Флёри такое: просто сумасшествие или священное безумие. Главное — не терять веры. Иначе не выжить. “Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?” Я вытирал глаза и продолжал работу.

Иногда дети приходили мне помочь тайком от родителей: Ла-Мотт находилась в пяти километрах от Клери, и надо было беречь обувь. Мы

мастерили воздушных змеев и складывали их до будущих времен.

Однажды утром я получил вести от Эстергази. Она по-прежнему регулярно приходила в “Прелестный уголок”, несмотря на то что ее посетило тяжелое горе: умер Чонг. Она сама мне об этом сказала, с еще красными от слез глазами.

— Я себе куплю таксу, — добавила она, сморкаясь в платок. — Не надо распускаться.

Было 12 мая 1944 года. Во время обеда дверь конторы открылась, и я увидел Франсиса Дюпре. Со своими подкладными плечами, напомаженными волосами, неестественно длинными ресницами и большими и нежными глазами, он как будто перенесся сюда прямо из Неаполя — “страны огненных поцелуев”; в его венах наверняка плавала добрая доза “лекарства”, потому что он был в великолепной форме. Видимо, мадам Жюли остерегалась его “забывать”, потому что опасность все увеличивалась: гестаповцы явно нервничали. Никогда еще графиня так не нуждалась в своем друге, “стопроцентном арийце”, и он тоже не мог себе позволить ее забыть. Трудно было вообразить более полную взаимную зависимость — и более трагическую.

— Как дела, молодой человек?

Он присел на мой стол:

— Будьте осторожны, друг мой. На днях я видел листок с фамилиями. Около некоторых стоял крест, около вашей — только вопросительный знак. Так что будьте осторожны.

Я ничего не сказал. Он покачивал ногой.

— Я сам немного беспокоюсь. Мой друг, майор Арнольд, с минуты на минуту ждет перевода в Германию. Не знаю, что со мной будет без него.

— Что ж, вы можете поехать с ним в Германию.

— Не вижу, как это сделать.

— Он найдет способ.

Мне не следовало так говорить, потому что Исидор Левкович побелел.

— Простите меня, месье Дюпре.

— Ничего. Я не знал, что она вам рассказала.

— Я ничего не знаю. Что касается этого вопросительного знака около моей фамилии… Мне не в чем себя упрекнуть.

— Все зависит от точки зрения, избираемой по отношению к представлению, составляемому о данном предмете…

Я продолжил фразу:

— …Ибо самый осмотрительный и проницательный человек тем не менее связан рядом

потребностей, которые, не являясь первостепенными, все же имеют значение.

Мы расхохотались. Это была игра в пустую риторику, которую знали все лицеисты.

— Жансон-де-Сайи, старший класс, — прошептал он. — Как это все сейчас кажется далеко, боже мой!

Он понизил голос:

— Она хочет вас видеть. Сегодня в три часа дня у “Гусиной усадьбы”.

— Почему у усадьбы? Почему не у нее?

— Она поедет за покупками, а это по дороге. И потом… — он посмотрел на свои ногти с маникюром, — не знаю, что ему пришло в голову, но этот славный Грюбер будто с цепи сорвался. Представьте себе, позавчера он осмелился обыскать виллу графини.

— Не может быть, — проговорил я с комком в горле.

Я думал о “горничной” Одетте Ланье и о нашем передатчике.

— Неслыханно, не правда ли? Конечно, просто для порядка. Впрочем, я ее предупредил. Конечно, положение ухудшается. Говорят даже, что нам угрожает высадка противника… Мой друг Франц… майор Арнольд очень обеспокоен. Ко-

нечно, если только англо-американцы посмеют это сделать, их тут же отбросят в море. Во всяком случае, будем надеяться.

— Люди живут надеждой.

Мы обменялись долгим взглядом, и он вышел.

Было тринадцать тридцать. Я не мог усидеть на месте и пришел к усадьбе на час раньше. Руины того, что было "турецким изделием на нормандский лад" Броницких, поросли травой и приобрели странно декоративный вид, как если бы их поместил здесь в искусственной заброшенности умелый художник.

Я знал, что из-за нехватки бензина мы вернулись во времена экипажей, но все-таки был поражен, увидев, как Жюли Эспиноза подъезжает в желтом фаэтоне, сидя позади кучера в голубой ливрее и шапокляке. Она величественно вышла из фаэтона, в огромном рыжем парике, выставив грудь, отставив зад, в платье, затянутом в талии, как на открытках начала века. Ее мужественные черты имели еще более решительное выражение, чем всегда, и, с пачкой "Голуаз" в руке, с окурком в углу рта, она представляла собой ошеломляющую смесь Ла Гулю кисти Тулуз-Лотрека, светской дамы и пожарного. Я мог только смотреть на нее в остолбенении, и она объяснила сердитым тоном,

что всегда было у нее признаком нервозности:

— Я даю *garden-party* в стиле девятисотых. Кажется, эта падаль Грюбер начинает мне не доверять, а в таких случаях надо быть на виду. Не знаю, что происходит. *Kriegsspiel*[32], судя по распоряжениям, но все заправилы вермахта примчались сюда со всех концов. Вчера они все собрались в “Оленьей гостинице”. Я нахально заявилась туда и всех их пригласила. Там фон Клюге, и Роммель тоже. Фон Клюге был в молодости военным атташе в Будапеште и очень хорошо знал моего мужа…

— Но тогда…

— Что тогда? Или мы еще не были женаты, или это был не тот Эстергази, а его двоюродный брат, вот и все. Это как выйдет по разговору. Думаешь, он будет выяснять? Он мне прислал цветы. Garden-party — это в его честь. Ах, Будапешт двадцатых годов, доброе старое время, адмирал Хорти… В двадцать девятом году я была младшей хозяйкой в одном из лучших борделей в Буде, так что я знаю все имена.

Она раздавила окурок каблуком.

— Грюберу я чуть не попалась, но Франсис

---

[32] Примечания: 32
Военная игра, учения *(нем.)*.

вовремя меня предупредил. Если бы только они нашли вашу Одетту с ее передатчиком… Вжик!

Она чиркнула себе пальцем по горлу.

— Куда вы их дели?

— Одетту я оставила у себя, это моя горничная, у нее прекрасные документы, но передатчик…

— Вы его хотя бы не выбросили?

— Он у Лавиня, заместителя мэра.

— У Лавиня? Вы совсем с ума сошли! Это известный коллаборационист!

— Вот именно, а теперь он сможет доказать, что был настоящим подпольщиком. — Она улыбнулась с жалостью. — Ты еще не знаешь людей, Людо. Впрочем, ты никогда не будешь их знать. Тем лучше. Такие тоже нужны. Если бы не было таких людей, как твой дядя Амбруаз со своими воздушными змеями и как ты…

— Все-таки для парня со взглядом смертника, как вы мне часто повторяли… Сейчас сорок четвертый год, так что я не так уж плохо держусь.

У меня дрогнул голос. Я подумал о том, кто не умел отчаиваться.

— Он в Бухенвальде, я знаю, — тихо сказала мадам Жюли.

Я молчал.

— Не переживай. Он вернется.

— Что, ваш друг фон Клюге его оттуда вытащит?

— Он вернется. Я чувствую. Я хочу, чтобы он вернулся.

— Я знаю, что вы, ко всему прочему, немного колдунья, мадам Жюли, но чтобы быть доброй феей…

— Он вернется. Я чувствую такие вещи. Вот увидишь.

— Не уверен, что мы с вами доживем до того, чтобы его увидеть.

— Доживем. Значит, я тебе говорила, что Грюбер ничего не нашел и даже извинился. Вроде бы это из-за всех этих шишек в “Оленьей гостинице”. Они вынуждены принимать чрезвычайные меры. И это правильно. Подложить туда одну хорошую бомбу и… понимаешь?

— Понимаю. Мы сообщим в Лондон, но мы сейчас не можем действовать. “Оленья гостиница” слишком хорошо охраняется, это невозможно. Вы меня вызвали, чтобы спросить меня насчет этого? Мы к этому не готовы.

— Вы правильно сделали, что на какое-то время притихли. Признаюсь тебе, я сама думала о том, чтобы где-то пересидеть. Я себе подготовила местечко для отступления в Луарэ. Но решила

остаться. Я выстою. У меня только от одного кишки сводит… — Она все же была встревожена, раз заговорила на своем прежнем языке. — Сейчас у меня кишки сводит вот от этого…

Она указала головой на кучера в ливрее, с поводьями и кнутом в руках, который сидел, растерянно помаргивая глазами.

— Этот кретин ни слова не говорит по-французски.

— Англичанин?

— Даже нет. Канадец. Но этот сукин сын не франкофил…

— Не франкофон.

— Твои дружки вчера мне его подсунули в немецкой форме, но я сказала: только одну ночь, не больше. Он уже три недели переходит из рук в руки. Я сейчас смогла его вывезти в ливрее и в фаэтоне для garden-party, но не знаю, куда его деть.

Она бросила на канадца задумчивый взгляд.

— Жаль, что еще рановато. Неизвестно, будет это летом или в сентябре. А то бы я его выставила на аукцион. Скоро появятся такие, и ты их знаешь, кто дорого заплатит за то, чтобы иметь возможность прятать летчика союзников.

— Что мне с ним делать в этом наряде?

— Разбирайся.

— Послушайте, мадам Жюли…

— Я тебе уже сто раз говорила, что нет никакой мадам Жюли, черт возьми! — заорала она неожиданно голосом фельдфебеля. — Госпожа графиня!

Она так нервничала, что ее усики вздрагивали. Удивительно, какие штуки иногда выкидывают гормоны, подумал я. И именно в этот момент, без всякой причины, потому только, что мадам Жюли рассердилась, а у нее это было признаком смущения или беспокойства, я понял: для этой встречи была другая причина, и это касалось Лилы.

— Зачем вы меня позвали, мадам Жюли? Что вам нужно мне сказать?

Она зажгла сигарету, прикрывая огонек ладонями, избегая смотреть на меня.

— У меня для тебя хорошая новость, малыш. Твоя полька… в общем, она жива и здорова.

Я напрягся, готовясь к удару. Я знал ее. Она старалась не сделать мне слишком больно.

— После самоубийства фон Тиле ее арестовали. Ей нелегко пришлось. Может, она даже немного тронулась. Они хотели знать, была ли она в курсе заговора. Ее считали любовницей фон Тиле… Люди болтают невесть что.

— Ничего, мадам Жюли, ничего.

— В конце концов они ее выпустили.

— А потом?

— Потом не знаю, что она делала. Ни малейшего понятия. У нее ведь мать, и этот придурок, ее отец, — ох уж этот папаша! — и у них больше не было денег. В общем, потом…

Она действительно была огорчена и все время избегала моего взгляда. Она хорошо относилась ко мне, мадам Жюли.

— Малышка нашлась у одной моей приятельницы, Фабьенн.

— На улице Мироменил, — сказал я.

— Ну и что, что на улице Мироменил? Фабьенн нашла ее на улице…

— На панели.

Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь? Надо было выжить, спасти своих…

— Да ничего подобного, что ты придумываешь! Просто чтобы не оставлять ее на улице, Фабьенн взяла ее к себе.

— Конечно, в хорошем борделе все-таки лучше, чем на улице.

— Слушай, мой маленький Людо, фашисты сейчас делают мыло из костей евреев, так что заботы о чистоте в наше время… Знаешь, шансонье Мартини выступал перед залом, набитым

немцами, он вышел на сцену и поднял руку, как для нацистского приветствия. Немцы захлопали. Тогда Мартини поднял руку еще выше и сказал: “По сих пор в дерьме!” Так что не измеряй уровень сантиметром. И потом, если Фабьенн мне позвонила, так это потому, что она очень хорошо понимает, что малышка там не на своем месте. Проститутка — это профессия, даже призвание. Кому это не дано, ничего не выйдет. Она у меня спрашивает, что с ней делать. Так что отправляйся туда и забери ее к себе. Вот, я тебе принесла денег. Поезжай забери ее, будь с ней ласков, и все пройдет. Осточертело все белое и все черное. Серое — вот человеческий цвет. Ладно, еду на свой garden-party. Я на него вызвала самый цвет проституции. Постараюсь спасти свою шкуру. И избавь меня от этого кретина. Чтоб к следующей войне канадцы выучили французский, или пусть на меня не рассчитывают!

Она заставила парня сойти, подобрала свои юбки и села на его место. Подхватила поводья и кнут, и фаэтон покатился, унося неукротимую старую сводню Жюли Эспинозу на garden-party графини Эстергази. Я оставил канадского пилота в развалинах бывшей маленькой гостиной “Гусиной усадьбы”, сообщил Субаберу, что надо

им заняться, и начал действовать, чтобы как можно быстрее добыть бумаги, необходимые для поездки в Париж.

Глава XLV

От поездки в “Феерию” мадам Фабьенн на улице Мироменил меня избавили. Я даже немного пожалел об этом, решив с гордостью сдать экзамен на “невозмутимость”. 14 марта я был в мастерской с детьми, которые еще приходили ко мне делать змеев в ожидании тех дней, когда фашистов разобьют и мы снова сможем запускать их в небо. Дверь открылась, и я увидел Лилу. Я встал и пошел к ней навстречу, раскрыв объятия:

— Вот это сюрприз!

Безжизненная, с потухшим взглядом… Только берет, который она стойко пронесла через все превратности судьбы, был словно улыбка прошлого. Застывшие, расширенные глаза, высокие скулы, натянувшие землисто-серую кожу над впалыми щеками, — все это было как крик о помощи; но не это меня потрясло, а тревожный вопрос во взгляде Лилы. Она боялась. Видимо, не знала, не выброшу ли я ее на улицу. Она попыталась заговорить, ее губы задрожали, и это было все. Когда я прижал ее к себе, ее тело оставалось напряженным, она не решалась пошевелиться,

как бы не веря в то, что происходит. Я отправил детей и развел огонь; она сидела на скамейке, сложив руки и глядя себе под ноги. Я тоже ничего не говорил. Я ждал, пока подействует тепло. Все, что мы могли бы сказать друг другу, говорило за нас молчание; оно хлопотало, утешало, как старый верный друг. В какой-то момент дверь открылась, и вошел Жанно Кайе, конечно, с каким-то срочным сообщением или заданием. Он смутился, ничего не сказал и вышел. Первое, что она произнесла, было:

— Мои книги. Надо за ними поехать.

— Какие книги? Где?

— В моем чемодане. Он слишком тяжелый. Я его оставила на вокзале просто так, нет камеры хранения.

— Завтра я съезжу, будь спокойна.

— Людо, прошу тебя, они мне нужны сейчас. Это очень важно для меня.

Я выбежал и догнал Жанно:

— Останься с ней. Не отходи от нее.

Я вскочил на велосипед. Мне понадобился час, чтобы доехать до вокзала в Клери, где я нашел в углу большой чемодан. Когда я его поднял, замок раскрылся, и я постоял немного, глядя на шедевры немецкой живописи, мюнхенскую

пинакотеку, греческое искусство, Возрождение, венецианскую живопись, импрессионистов и всего Веласкеса, Гойю, Джотто и Эль Греко, рассыпавшихся по полу. Я кое-как втиснул их обратно и вернулся домой пешком с чемоданом на раме велосипеда.

Я нашел Лилу сидящей на скамейке в прежней позе, в куртке и в берете; Жанно держал ее за руку. Он тепло сжал мне руку и ушел. Я поставил чемодан у скамейки и открыл его.

— Ну вот, — сказал я. — Видишь, у тебя все есть. Все здесь. Посмотри сама, но, по-моему, ничего не потерялось.

— Они мне нужны для экзамена. В сентябре я собираюсь поступить в Сорбонну. Ты знаешь, я изучаю историю искусства.

— Знаю.

Она наклонилась, взяла Веласкеса:

— Это очень трудно. Но я выучу.

— Я в этом уверен.

Она положила Веласкеса на Эль Греко и улыбнулась от удовольствия.

— Они все здесь, — сказала она. — Кроме экспрессионистов. Фашисты их сожгли.

— Да, они совершили много злодеяний.

Она с минуту молчала, потом спросила совсем

тихо:

— Людо, как это все могло со мной случиться?

— Ну, во-первых, надо было продлить нашу линию Мажино до самого моря, вместо того чтобы оголять наш правый фланг; потом, нам надо было начать действовать сразу после оккупации Рейнской области; потом, наши генералы оказались рохлями, а де Голля мы открыли слишком поздно…

На ее губах появилась слабая улыбка, и я почувствовал себя настоящим Флёри.

— Я говорю не об этом. Как я могла…

— Нет, именно об этом. При взрыве всегда летят осколки. Похоже, что Вселенная именно так и образовалась. Случился взрыв, и посыпались осколки: разные галактики, Солнечная система, Земля, ты, я и куриный бульон с овощами, который, наверно, готов. Иди. Будем есть.

За столом она сидела в куртке. Она нуждалась в защитной оболочке.

— У меня есть изумительный торт с ревенем. Прямо из “Прелестного уголка”.

Ее лицо немного посветлело.

— “Прелестный уголок”, — прошептала она. — Как поживает Марселен Дюпра?

— Замечательно, — сказал я. — На днях он

сказал прекрасную фразу. Кондитер Лежандр плакался, что все пропало и, даже если американцы победят, страна уже никогда не будет прежней. Марселен страшно разозлился. Он заорал: “Я не допущу, чтобы у меня на кухне сомневались во Франции!”

Тревога не уходила из ее глаз. Она держалась очень прямо, сложив руки на коленях. В камине мурлыкал огонь.

— Здесь не хватает кошки, — сказал я. — Гримо умер от старости. Мы заведем новую.

— Я правда могу остаться здесь?

— Ты отсюда никогда не уходила, девочка. Ты была здесь все время. Ты все время была со мной.

— Не надо на меня сердиться. Я сама не знала, что делаю.

— Не будем говорить об этом. Это точно как с Францией. После войны будут говорить: она была с теми… нет, она была с этими. Она сделала то… нет, это. Это все чепуха. Ты не была с ними, Лила. Ты была со мной.

— Я начинаю тебе верить.

— Я еще не спросил, как твои.

— Отцу немного лучше.

— Да? Он соблаговолил прийти в себя?

— Когда Георг умер и мы оказались без средств, он нашел работу в библиотеке.

— Он всегда был библиофилом.

— Конечно, на жизнь этого не хватало. — Она опустила голову. — Не знаю, как я до этого дошла, Людо.

— Я тебе уже объяснил, дорогая. Это генерал фон Рунштедт со своими танками. Это “блицкриг”. Ты тут ни при чем. Это не ты, а Гамелен[33] и Третья республика. Я знаю, если бы тебя спросили, ты бы объявила Гитлеру войну сразу после оккупация Рейнской области. Тогда, когда Альбер Сарро кричал с трибуны Национального собрания: “Мы никогда не позволим, чтобы Страсбургскому собору угрожали немецкие пушки!”

— Ты всегда шутишь, Людо, а между тем нельзя быть менее легкомысленным, чем ты.

— Легче держаться, если делать вид, что смеешься.

Она подождала минуту, потом прошептала:

— А… Ханс?

Я приоткрыл на груди рубашку, и она увидела

---

[33] Примечания: 33

Морис Гюстав *Гамелен* (1872–1958) — главнокомандующий французской армией в 1939–1940 гг. В начале вторжения Германии во Францию, Голландию и Бельгию Гамелен занял выжидательную позицию. В результате немцы всего за четверо суток прорвали франко-бельгийскую оборону под Седаном и вошли во внутренние районы Франции.

медальон.

Слышно было, как за окном поют птицы. Жизнь иногда полна иронии.

— А теперь, Лила, я тебе сделаю настоящий кофе. Живем один раз.

Она страдала бессонницей и просиживала ночи в углу со своими книгами по искусству, прилежно делая выписки. Днем она старалась “быть полезной”, как она говорила. Она помогала мне вести хозяйство, возилась с детьми, которые приходили по четвергам[34], а часто и после уроков; груды воздушных змеев росли в ожидании дня, когда смогут взлететь снова. Эти занятия довольно комично квалифицировались директором школы в Клери как “практические работы”, и в предвидении будущего мэрия даже предоставила нам небольшую дотацию. Люди шептались, что события ожидаются в августе или в сентябре.

Она спала в моих объятиях, но после нескольких робких попыток я не решался больше ее трогать: она принимала мои ласки, но никак не реагировала. В ней угасла как будто не только чувственность, но что-то более глубокое, даже просто чувствительность. Я не понимал, до чего

---

[34] Примечания: 34

Четверг во французских школах до 1972 г. был свободным днем.

ее мучает чувство вины, пока не увидел, что ее руки покрыты ожогами.

— Что это такое?

— Я обожглась у плиты.

Это прозвучало неубедительно: отдельные ожоги, идущие через равные промежутки… На следующую ночь я проснулся, почувствовав, что ее место в постели пусто. Лилы в комнате не было. Я вышел за дверь и перегнулся через перила.

Лила стояла, держа в правой руке свечу, и сосредоточенно жгла себе другую руку.

— Нет!

Она уронила свечу и подняла глаза:

— Я себя ненавижу, Людо! Я себя ненавижу!

Кажется, никогда еще я не получал такого удара. Я застыл на лестнице, не способный ни думать, ни действовать. Эта ужасная и детская манера наказывать себя, искупать грехи показалась мне такой несправедливой, такой постыдной в то время, как столько моих товарищей боролось и погибало, чтобы вернуть ей честь, что у меня вдруг подкосились ноги и я потерял сознание. Когда я открыл глаза, Лила склонялась надо мной вся в слезах:

— Прости меня, я больше не буду так делать… Я хотела себя наказать…

— Почему, Лила? За что? За что наказать? Ты не виновата. Не ты в ответе за все это. От всего этого и следа не останется. Я даже не прошу тебя забыть, нет, я прошу тебя иногда думать об этом, пожимая плечами. Господи, как можно, чтобы человек до такой степени не имел… смирения? Как можно, чтобы так не хватало человечности, терпимости по отношению к себе?

Этой ночью она спала. И наутро ее лицо стало светлее и веселее. Я чувствовал, что ей гораздо лучше, и скоро получил доказательство.

Каждое утро Лила брала велосипед и ездила в Клери за покупками. Я всегда провожал ее до двери и следил за ней взглядом: ничто не вызывало у меня такой улыбки, как вид этой юбки, колен и волос, летящих по ветру. Однажды она вернулась и поставила велосипед; я стоял перед домом.

— Ну вот, — сказала она.

— Что такое?

— Я шла с корзинкой из бакалеи, и там меня поджидала одна простая женщина. Я с ней поздоровалась — не помню ее имени, но я здесь многих знаю. Я поставила корзинку на велосипед и хотела ехать, а она подошла и назвала меня немецкой подстилкой.

Я внимательно посмотрел на нее. Она действи-

тельно улыбалась. Это не была вызывающая улыбка или улыбка сквозь слезы. Она сделала гримаску и провела рукой по волосам.

— Ну вот, ну вот, — повторяла она. — Немецкая подстилка. Вот.

— Все чуют приближение победы, Лила, так что каждый в своем углу к ней готовится. Не думай об этом.

— Наоборот, мне нужно об этом думать.

— Но почему?

— Потому что лучше чувствовать себя жертвой несправедливости, чем виновной.

Глава XLVI

Этот эпизод произошел второго июня. А через четыре дня мы лежали, припав к земле, под бомбами, в двух километрах к востоку от Ла-Мотт, и я еще и сейчас думаю, что самым первым объектом, который поразили тысячи кораблей и самолетов союзников во время операции “Оверлорд”[35], был мой велосипед — я нашел его около дома разбитым и искореженным. “Они пришли”, “они идут”, “они здесь” — кажется, весь день я только это и слышал. Когда мы бежали мимо фермы Кайе, старый Гастон Кайе стоял у дома и, сообщив нам, что “они идут”, добавил фразу, которую не мог услышать по лондонскому радио, поскольку де Голль произнес ее только через несколько часов:

— Мой маленький Людо, это битва Франции за Францию!

Но, быть может, с историческими фразами дело обстоит так же, как и со всем остальным, и иногда невозможное становится возможным.

Мы оставили его прыгающим от радости на

---

[35] Примечания: 35

Операция “Оверлорд” — кодовое название операции по высадке союзников в Нормандии, начавшейся 6 июня 1944 г.

своей единственной ноге и с костылем.

Не видно было ни одного немецкого солдата, но все поля и леса вокруг нас были под шквальным огнем — без сомнения, чтобы помешать подкреплениям противника подойти к побережью.

Я еще не умел отличить свист авиабомб от свиста снарядов, и мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что этот ад посылает нам небо, как и должно быть. В тот день самолеты союзников появлялись над Нормандией более десяти тысяч раз.

Мы едва пробежали несколько сотен метров, как я увидел посреди дороги безжизненное тело с раскинутыми руками. Я так хорошо его знал, что узнал издали: это был Жанно Кайе. Глаза закрыты, голова в крови — мертвый. Я был в этом уверен: я слишком его любил, чтобы могло быть иначе.

Я повернулся к Лиле:

— Господи, чего ты ждешь! Осмотри его!

Она удивилась, но стала на колени возле Жанно и приложила ухо к его груди.

Кажется, я засмеялся. Я так долго в годы разлуки воображал ее ухаживающей за ранеными среди польских партизан, что ожидал от нее работы медсестры. И теперь я видел ее именно такой,

склонившейся над телом моего товарища в надежде найти признаки жизни. Она повернулась ко мне:

— Кажется, он…

В этот момент Жанно пошевелился, сел и, несколько раз помотав головой и отряхиваясь, с еще мутным взглядом, заорал:

— Они идут!

— Ах ты, черт тебя возьми совсем! — закричал я с облегчением.

— Они здесь! Они идут!

Я схватил Лилу за руку, и мы побежали.

Я хотел оставить Лилу в безопасном месте и потом уйти с товарищами. Согласно “зеленому плану”, мы уже давно знали свою задачу: диверсии на железных дорогах, порча линий высокого напряжения, нападения на поезда. Мы должны были группироваться в районе Орна, но все шло не так, как предусмотрено. Когда мне удалось добраться до Субы на следующий день, я нашел нашего любимого начальника в диком бешенстве. Одетый в великолепную форму — он присвоил себе звание полковника, — он грозил кулаком небу, где кружились самолеты союзников.

— Эти сволочи все испортили! — ревел он. —

Они нарушили всю нашу связь. Наши парни никак не могут собраться. Каково это видеть!

Он только что не проклинал высадку союзников. Даже много лет спустя он по-прежнему хмурился, когда при нем упоминали о ней. Думаю, он хотел бы “сопротивляться” еще лет двадцать.

Каждый раз, как нас при разрыве бомбы засыпало землей, Лила гладила мое лицо:

— Ты боишься погибнуть, Людо?

— Не боюсь, но не хочу.

Выйдя из Ла-Мотт в шесть утра, к шести часам вечера мы смогли продвинуться только на три километра от дорожного знака Кло. Именно там, лежа распластавшись за откосом, время от времени поднимая голову и пытаясь угадать, откуда ждать очередного удара, мы увидели потрясающее зрелище — до сих пор не знаю, смешное, героическое или и то и другое вместе. Перед нами гуськом продефилировали четыре першерона: первый был запряжен в фургон, остальные — в телеги. Они двигались с полным безразличием ко всему происходящему вокруг, видимо научившись этому у своих хозяев. Семья Маньяр переезжала. Все четверо втиснулись в повозку: девицы сидели на ящиках с продуктами, отец с сыном стояли впереди. За ними тащились телеги

с мебелью, кроватями, стульями, матрасами, сундуками, шкафами, тюками белья и бочками. Три коровы завершали шествие. Семья тряслась по дороге, с замкнутыми, как всегда, лицами, не глядя ни на небо, ни на землю. До сих пор не знаю, была ли это тупость или проявление каких-то сверхчеловеческих качеств. В конце концов, может, у них были свои воздушные змеи.

Эта неуязвимая процессия смутила меня и немного пристыдила, потому что я вспотел от страха. Но Лила смеялась. Думаю, после всех перенесенных ею моральных и душевных испытаний чисто физическая опасность была для нее облегчением.

— Все вы такие, поляки, — проворчал я. — Чем хуже, тем вы лучше себя чувствуете.

— Дай мне сигарету.

— Все кончились.

Тут произошло нечто, отчего во мне проснулась надежда. Позади нас раздались отдельные выстрелы, потом очередь из автомата. Я резко обернулся. Из леса, медленно, пятясь, вышел американский солдат с автоматом в руке. Он минуту подождал, потом дотронулся до своего бока и посмотрел на руку. Видимо, он был легко ранен. Как будто не найдя ничего серьезного, он сел на

землю под кустом, взял из кармана пачку сигарет — и взорвался.

Он действительно взорвался, внезапно, без всякой видимой причины, исчезнув в массе взлетевшей земли, которая упала обратно — без него. Думаю, легко ранившая его пуля задела чеку одной из подвешенных к поясу гранат, и, когда он сел, чека вылетела совсем. Он исчез.

— Жалко, — сказала Лила. — Ни одной не осталось.

— Чего ни одной?

— У него была целая пачка. Я уже столько лет не курила американских сигарет.

Сначала я был возмущен. Я чуть не сказал ей: “Дорогая, речь идет уже не о хладнокровии, а о крови”, но вдруг почувствовал себя счастливым. Я вновь обрел Лилу из нашего детства, Лилу времен корзинки с земляникой и мелких провокаций.

Мы пролежали за откосом около часа. Я не понимал этого ожесточенного обстрела лесов и полей, где не было и следа немцев.

— Можно подумать, что они воюют с нами!

Она спокойно выбирала комки земли из своих волос.

— Знаешь, Людо, меня уже столько раз в жизни убивали.

Через несколько дней Суба объяснил мне причину этого почти беспрерывного обстрела десятка квадратных километров нормандской земли так далеко от места высадки. Одну американскую десантную дивизию по ошибке забросили слишком далеко в глубь района действий, и она рассеялась по всей территории, но немецкая часть сочла это заранее предусмотренным маневром и отступила от побережья. В результате мы попали одновременно под ее огонь и под огонь английских батарей, защищавших мосты через Орн; одновременно авиация союзников бомбила все шоссе и железные дороги на этом участке.

Мы воспользовались затишьем, чтобы подойти немного ближе к Орну, но в это время метрах в ста от нас появились немецкие танки, выстроившиеся в одну линию, — немецкая бронетанковая дивизия, в четыре часа дня наконец получившая приказ Гитлера уничтожить плацдарм союзников.

У меня в голове крутилось только одно: “Они стреляют по всему, что движется”, — фраза, всплывшая из какого-то рассказа. Я сжал руку Лилы в своей. Последнее, о чем я подумал, было: никто из моих погибших товарищей не имел счастья сжимать перед смертью чью-то руку.

Солнце на минуту показалось из-за тяжелых туч в голубом прогале неба — в острые моменты небо являет всю свою красоту. Я видел профиль Лилы, массу светлых волос, рассыпавшихся по плечам, и искаженное от страха лицо с застывшей улыбкой.

В башне головного танка встал немецкий офицер. Проезжая мимо, он дружески помахал нам. Я никогда не узнаю, кто он был и почему сохранил нам жизнь. Презрение, человечность или просто красивый жест? Возможно, при виде пары влюбленных, которые держались за руки, он на минуту поднялся до высшего понимания жизни. А может, у него просто было чувство юмора. Проехав, он обернулся, смеясь, и снова помахал.

— Уф, — сказала Лила.

Мы страшно устали и проголодались; кроме того, в этом хаосе я не видел смысла идти в каком-то определенном направлении. Мы находились недалеко от “Прелестного уголка”, он был примерно на три километра южнее; правда, мне казалось, что в той стороне бомбят сильнее всего, видимо из-за моста и магистрали; все же, если от ресторана хоть что-то осталось, даже под обломками мы нашли бы что поесть. Выйдя на дорогу в Линьи, мы наткнулись на опрокинутую

сожженную самоходную пушку, она еще дымилась. Рядом лежали два убитых немца; третий сидел, опершись спиной о дерево и держась за живот, закатив глаза и хрипя со свистом, как пустой сифон. Его лицо показалось мне знакомым, и я подумал, что знаю его, но быстро понял, что знаю это выражение страдания. Я уже видел это на лице нашего товарища Дюверье, когда после побега из гестапо в Клери он дотащился до фермы Бюи, чтобы там умереть. Бывают моменты, когда все равно, немец ты или француз. Потом я часто об этом думал, когда слышал, как говорят о “банках крови”. У него был умоляющий взгляд. Я попытался его ненавидеть, чтобы избежать необходимости его прикончить. Ничего не вышло. К ненависти надо иметь талант, а мне это не дано. Я взял маузер, зарядил у него на глазах и подождал, чтобы быть уверенным. На лице немца появилось нечто вроде улыбки.

— Йа, гут…

Я два раза выстрелил ему в сердце. Одна пуля ему, другая — за все остальное. Мой первый акт франко-немецкого примирения.

Лила детски-женственно заткнула уши, закрыла глаза и отвернулась. У меня было глупое чувство, что я стал другом этого мертвого немца.

Шесть американских самолетов пролетели над нами и сбросили бомбы там, где должна была находиться немецкая дивизия. Лила проводила их глазами.

— Надеюсь, они его не убили, — сказала она.

Думаю, она имела в виду командира танка, который нас пощадил. Мои нервы были так напряжены, что я поддался своему мелкому греху — занялся счетом в уме. Мой разум прибегал к нему ради самосохранения, чувствуя, что ему грозит опасность. Я сказал Лиле: для того чтобы продвинуться на пять-шесть километров вперед, нам пришлось пройти по меньшей мере двадцать километров, и оценил наши шансы остаться в живых как один к десяти. Я прикинул, что мимо нас пролетело примерно с тысячу бомб и снарядов, а в небе мы видели около тридцати тысяч самолетов. Не знаю, хотел ли я таким образом продемонстрировать Лиле свое олимпийское спокойствие или начинал терять голову. Мы сидели на краю дороги, измученные, мокрые от пота, в крови от ссадин и царапин, не ощущая ничего, кроме того, что еще живы. Нас вывела из оцепенения бомбежка сокрушительной силы: за несколько секунд у нас на глазах бомбы сровняли с землей весь лес в двухстах метрах от нас. Мы

бросились бежать через поля по направлению к Линьи и через полчаса оказались у “Прелестного уголка”. Меня поразило, что здесь ничего не изменилось. Все было цело. Из трубы мирно шел дым. Цветы в саду, фруктовые деревья, старые каштаны имели безмятежный вид и казались уверенными в себе. В тот момент я был совсем не склонен к размышлениям, но помню, что в первый раз за день испытал странное и умиротворяющее чувство, что все идет хорошо.

В нетронутой “ротонде” с красными драпировками никого не было. Столы накрыты, все готово к приему гостей. Хрусталь пел при каждом взрыве. Портрет Брийа-Саварена[36] висел на своем месте, правда немного криво.

Мы нашли Марселена Дюпра у плиты. Он был очень бледен, руки у него дрожали. Он только что вынул из духовки похлебку из трех видов мяса, которую надо готовить несколько часов. Видимо, он поставил ее, когда начался этот ад. Не знаю, помогала ли ему привычка подавлять страх, или он провозглашал таким образом свою верность принципам. Глаза на осунувшемся, как бы постаревшем лице сверкали блеском, в котором я

[36] Примечания: 36

Ансельм *Брийа-Саварен* (1755–1826) — французский философ, кулинар, юрист, автор книги “Физиология вкуса”.

узнавал дорогое мне безумие. Я подумал о дяде Амбруазе. Подошел к Марселену и со слезами на глазах обнял. Он не удивился и, кажется, даже не заметил моего движения.

— Они все меня бросили, — сказал он хриплым голосом. — Я один. Некому обслуживать. Хорош я буду, если придут американцы.

— Думаю, американцы здесь будут только через несколько дней, — сказал я.

— Надо было меня предупредить.

— О… о высадке, месье Дюпра? — проговорил я, заикаясь.

Он размышлял.

— Вы не находите знаменательным, что они выбрали Нормандию?

Я растерянно смотрел на него. Нет, он не смеялся надо мной, он был безумен, совершенно сумасшедший. Лила сказала:

— Видно, они изучили справочник Мишлена и выбрали самое лучшее.

Я сердито посмотрел на нее. Мне показалось, что я услышал саркастический голос Тада. Я считал, что такая преданность священному огню заслуживает большего уважения, если не преклонения.

Дюпра указал жестом на большой зал в глубине

ресторана:

— Садитесь.

Он подал нам свою похлебку:

— Попробуйте только. Я это сделал из остатков. Как? Не так плохо, принимая во внимание обстоятельства. Мне сегодня не подвезли продукты. Но что вы хотите.

Он пошел за пирогом. Когда он вернулся, я услышал свист, который научился различать, и успел толкнуть Лилу на пол и прикрыть ее собой. Несколько секунд один взрыв следовал за другим, но это было где-то в стороне Орна, и только одно окно разбилось.

Мы встали с пола. Дюпра стоял и держал блюдо с тортом.

— Здесь безопасно, — сказал он.

Я не узнавал его голоса. Голос был глухой, монотонный, но в нем звучала убежденность, которая отражалась и в неподвижном взгляде.

— Они не посмеют, — сказал он.

Я помог Лиле подняться, и мы снова сели за стол. Никогда еще нормандскому пирогу Дюпра не уделялось так мало внимания. “Прелестный уголок” весь сотрясался. Бокалы пели. Именно в это время, после целого дня колебаний, Гитлер отдал приказ бросить две дивизии стратегиче-

ского резерва в поддержку своей Восьмой армии.

Дюпра даже не пошевелился. Он улыбнулся, и с каким презрением, с каким чувством превосходства!

— Видите, — говорил он. — Пролетело мимо. И всегда так будет.

Я старался ему объяснить, что до наступления ночи хочу выйти к Невэ, а потом к Орну, чтобы присоединиться к своей боевой группе.

— Мадемуазель Броницкая может остаться здесь, — сказал он. — Здесь она будет в безопасности.

— Слушайте, месье Дюпра, о чем вы думаете? Вас вот-вот накроют.

— Ничего подобного. Вы воображаете, что американцы разрушат “Прелестный уголок”? Немцы его не тронули.

Я промолчал. Я испытывал почти религиозное почтение к такой безумной вере в свою счастливую звезду. Очевидно было, что в его представлении войска союзников получили приказ, возможно от самого генерала Эйзенхауэра, проследить за тем, чтобы историческая ценность Франции не понесла ущерба.

Я попытался все же его убедить: “Прелестный уголок” может оказаться в центре смертельной

схватки. Он должен отсюда уйти. Но он сказал только:

— И речи быть не может. Вы ко мне без конца приставали со своим Сопротивлением и подпольем — ну что ж, теперь я вам покажу, кто является, был и всегда будет главным участником Сопротивления Франции.

Я не мог решиться оставить его в таком состоянии, в бреду; я был уверен, что он потерял рассудок и погибнет под обломками “Прелестного уголка”. Я помнил расположение всех дорог, мостов и железнодорожных линий этого района и знал, что, если только союзников не отбросят в море, именно здесь будут самые ожесточенные бои. Но Лила совсем выбилась из сил, и достаточно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, что она не в состоянии идти со мной. Я знал, что если, как говорится, есть Бог на небесах, у нее столько же шансов уцелеть здесь, как и в другом месте. Был как раз такой момент, когда думаешь о Боге — Он привык ждать своего часа. Я чувствовал, что если колеблюсь, оставить ли ее у Дюпра, то не потому, что риск мне кажется здесь слишком большим, а потому, что не хочу с ней разлучаться. Но я хотел добраться до своих товарищей: мы ждали слишком долго и слишком

отчаянно, чтобы я мог колебаться. Дюпра помог мне решиться. Он как будто вышел из транса, обнял меня за плечи и сказал:

— Мой славный Людо, можешь быть спокоен. Мадемуазель Броницкая будет здесь цела и невредима. У меня лучший погреб во Франции. Я ее спрячу в самом надежном месте, рядом с моими лучшими винами, где с ней ничего не может случиться. Не знаю, кто это сказал: “Счастлив, как Бог во Франции”, но я уверен, что Господь сумеет сохранить свое достояние.

На этот раз я заметил искру юмора в глазах нашего старого лиса. Может, когда-нибудь надо будет серьезно подумать о Дюпра, чтобы попытаться понять, сколько было в его “безумии” доброй нормандской хитрости. Я обнял Лилу. Я знал, на какие чудеса способна моя вера: с ней ничего не могло случиться. Мне хотелось плакать, но это просто от усталости.

Я нашел свою группу без особого труда. В час ночи, пробираясь через болота, я наткнулся на взвод американских парашютистов с черными лицами, которые высадились не там, где надо, и не знали, где находятся. Я провел их в Невэ на наше место сбора и встретился там с Субой и двадцатью товарищами. Как я уже говорил, у нас

был приказ производить диверсии, но многие не устояли перед соблазном драться с оружием в руках. Большинство погибло. С восьмого по шестнадцатое июня у нас был только один автомат со ста патронами и две автоматические винтовки со ста пятьюдесятью патронами на десятерых; уцелевшим досталось какое-то количество оружия от убитых немцев. Я ограничивался тем, что взрывал железные дороги и мосты и повреждал телеграфные линии. Мне не хотелось убивать людей, а сразу трудно отличить гестаповца от человека; стреляешь не раздумывая, и вот уже поздно: он мертв. Кроме того, меня немного сковывало воспоминание о командире танка, который пощадил нас с Лилой. Но когда армия вермахта отступала, я хорошо поработал у нее в тылу.

Глава XLVII

Три недели я ничего не знал о Лиле. Позже она мне сказала, что Дюпра был с ней очень любезен, хотя один раз удивил ее, ущипнув за попку. Он сам очень смутился, но даже в его возрасте эмоции иногда берут верх. Она провела в “Прелестном уголке” две недели, помогая Дюпра принимать американцев и пытаясь переводить им “карту Франции” на английский, что, по мнению Дюпра, было невозможно. Потом она вернулась в Ла-Мотт, и 10 июля мы с ней встретились там. На следующий день мы вместе отправились в Клери. Бои еще шли, но для Нормандии это уже были отзвуки удаляющейся грозы. Я приклеил на двери мэрии объявление, что работа в мастерской Ла-Мотт возобновляется с завтрашнего дня и приглашаются все местные дети, интересующиеся тем, что Амбруаз Флёри называл “благородным искусством воздушных змеев”. Велосипед и корзинка Лилы сохранились, и она постаралась раздобыть у американцев шоколаду для детей. Она хотела отметить возобновление “занятий” в Ла-Мотт праздничным чаепитием.

Военный грузовик подбросил меня до “Оленьей гостиницы”, где разместились американцы; я вылез у входа в парк. Я хотел попрощаться с мадам Жюли, которая возвращалась в Париж.

Я нашел ее в слезах; она лежала в кресле у рояля, на котором вместо фотографий бывших “друзей” графини Эстергази стояли фото де Голля и Эйзенхауэра.

— Что случилось, мадам Жюли?

Она едва могла говорить.

— Они… его… расстреляли!

— Кого?

— Франсиса… то есть Исидора Левковича. Ведь я приняла меры… Помнишь удостоверение “выдающегося участника Сопротивления”, где фамилия не была вписана, которое мне дал Субабер?

— Конечно.

— Это было для него. Я его отдала ему. Оно было у него в кармане, когда они его расстреляли. Они впихнули его в грузовик с двумя коллаборационистами из гестапо, настоящими, и убили его. Потом нашли удостоверение. Изя его им не показал! Наверно, он от страха вкатил себе такой укол, что забыл об этом!

— Может, это не потому, мадам Жюли. Может, ему все осточертело.

Она ошеломленно посмотрела на меня:

— Что осточертело? Жизнь? Что за чепуха!

— Может, он сам себе надоел, и эти уколы, и всё.

Она была безутешна.

— Банда негодяев. После всех услуг, какие он вам оказал…

— Это не мы его расстреляли, мадам Жюли. Это новые. Те, кто стали партизанами после ухода немцев.

Я хотел поцеловать ее, но она меня оттолкнула:

— Убирайся. Не желаю больше тебя видеть.

— Мадам Жюли…

Ничего не поделаешь. В первый раз с тех пор, как я ее знал, эта неукротимая женщина поддалась отчаянию. Я оставил ее, старую плачущую женщину, которая, как бедный Исидор, забылась: она не помнила, куда дела свою твердость.

Я доехал на попутном джипе до Клери и вышел на улице Старой Церкви. Я должен был встретиться с Лилой на площади Жур; недавно ее переименовали в площадь Победы. Выйдя на площадь, я увидел у фонтана толпу людей. Слышались смех и крики, бегали дети; несколько человек, в основном пожилых, уходили прочь, в

том числе месье Лемэн, друг моего дяди, участник Первой мировой войны, у которого колено не гнулось с самого Вердена. Он прошел, хромая, мимо меня, остановился, покачал головой и пошел дальше, ворча про себя. Мне не видно было, что происходит у фонтана. Я бы не обратил на это особого внимания, если бы не заметил обращенных на меня странных взглядов. Леле, новый хозяин "Улитки", Шариво, бакалейщик с улицы Бодуэн, хозяин писчебумажного магазина Колен, да и другие смотрели на меня со смешанным выражением смущения и жалости.

— Что происходит?

Они молча отвернулись. Я бросился вперед.

Лила сидела на стуле у фонтана с обритой головой. Парикмахер Шино, с бритвой в руках и улыбкой на губах, немного отодвинулся и любовался своей работой. Лила в летнем платье смирно сидела на стуле, сложив руки на коленях. Несколько секунд я не мог пошевелиться. Потом у меня в горле что-то порвалось, и я издал вопль. Я кинулся к Шино, двинул его кулаком по роже, схватил Лилу за руку и потащил через толпу. Люди расступались: дело сделано, "малышка" расплатилась за то, что спала с оккупантами, так что все в порядке. Позже, когда я смог думать,

самым ужасным на фоне всего этого кошмара стало для меня воспоминание о знакомых лицах: все это совершили не какие-то монстры, а люди, которых я знал с детства. И это было страшнее всего.

Я помню, не могу забыть. Я бегу по улицам Клери, таща Лилу за руку. Мне кажется, я никогда не перестану бежать. Я не знал, куда бегу, впрочем, бежать было некуда. Я рычал.

Я услышал шаги за спиной и обернулся, готовый драться. Я узнал булочника, месье Буайе; он со своим толстым животом совсем запыхался.

— Пойдем ко мне, Флёри, это рядом.

Он провел нас в булочную. Его жена бросила на Лилу испуганный взгляд и заплакала, закрываясь фартуком. Буайе проводил нас на второй этаж и оставил одних. Перед тем как закрыть дверь, он бросил:

— Вот теперь фашисты действительно выиграли войну.

Я уложил Лилу на кровать. Она была неподвижна. Я сел рядом. Не знаю, сколько времени мы провели так. Иногда я проводил рукой по ее голове. Конечно, они вырастут. Они всегда отрастают.

Ее глаза смотрели в одну точку; казалось, она

видит перед собой что-то страшное. Насмешливые лица. Бритву в руках славного сельского парикмахера.

— Ничего, дорогая. Это просто фашисты. Они пробыли здесь четыре года и оставили след.

Вечером мадам Буайе принесла нам еду, но накормить Лилу оказалось невозможно. Она была в прострации, с широко открытыми глазами, и я думал об ее отце, который "порвал с действительностью с ее слезами и сложностями", как Лила когда-то выразилась. Ох уж эти аристократы! Ведь, в конце концов, что такое обритая голова молодой женщины? Это еще очень вегетарианский вариант, когда подумаешь обо всем, что делали другие: концлагеря, пытки, — ну да, другие… — но кто другие?

Человеческое братство имеет иногда мерзкий привкус.

Ночью я встал и поджег "Прелестный уголок". Облил бензином старые стены, а когда они начали рушиться, смог наконец спокойно заснуть. К счастью, это был только дурной сон.

Месье Буайе привел доктора Гардье, который сказал нам, что Лила в состоянии шока, и сделал укол, чтобы она заснула. Когда дверь открывалась, я слышал, как радио возвещало о наших

победах.

Поздно днем она проснулась, улыбнулась мне и сделала движение, чтобы провести рукой по волосам.

— Боже мой, что это…

— Фашисты, — ответил я.

Она закрыла лицо руками. Часто говорят, что слезы облегчают.

Мы пробыли у Буайе неделю. Каждый день я выходил с Лилой на улицу, и мы шли по улицам Клери, держась за руки. Мы ходили медленно, целыми часами, чтобы все они могли нас видеть. Мы шли прямо вперед, молодая женщина с выбритым черепом и я, Людовик Флёри, известный во всей округе своей памятью. Я говорил себе, что нам будет очень не хватать фашистов: без них будет тяжело — не на кого сваливать свою вину.

На пятый день нашего шествия месье Буайе пришел к нам в комнату очень взволнованный, держа в руке “Франс-суар”: нас сфотографировали, когда мы шли по улицам Клери, держась за руки. Я не знал, что мое лицо может быть таким жестким.

На следующий день нас остановили трое мо-

лодых людей с повязками *FFI*[37] на рукаве. Я их знал: они стали “участниками Сопротивления” через неделю после высадки союзников.

— Ты кончишь эту провокацию?

— Это было сделано, чтобы все могли видеть, так?

— Ты получишь пулю в зад, Флёри. Надоело. Что ты хочешь доказать?

— Ничего. Все давно уже доказано.

Они ограничились тем, что обозвали меня ненормальным. Я продолжал нашу демонстрацию еще несколько дней. Меня уговорил перестать месье Буайе:

— Они привыкли вас видеть. Это больше не производит впечатления.

Мы вернулись в Ла-Мотт и вышли оттуда только в конце октября, чтобы пожениться.

Жанно Кайе каждое утро поставлял нам провизию и подарил щенка с их фермы. Лила назвала щенка Шери[38], что вызвало массу недоразумений: каждый раз, как она звала, мы прибегали оба. В эти дни случилось горе, в жизни без этого не бывает: мы узнали, что Бруно не вернулся из

---

[37] Примечания: 37
FFI (Forces Françaises Intérieures) — Французские внутренние войска.

[38] Примечания: 38
Милый *(франц.)*.

воздушного боя в ноябре 1943-го. На его счету было уже семнадцать побед, он имел чуть ли не самое большое количество наград среди летчиков Английских военно-воздушных сил. И мы напрасно посылали в Польшу письмо за письмом, чтобы узнать что-нибудь о Таде.

Лила решила отложить на год поступление в Сорбонну, чтобы лучше подготовиться. Она много занималась. “Тенденции современного искусства”, “Сокровища немецкой живописи”, “Творчество Вермеера”, “Мировые шедевры”, “Музеи Европы” — груда книг росла на столике, который она поставила у окна мастерской.

Родители Лилы на нашей свадьбе не присутствовали. Серьезные испытания, через которые они прошли, не заставили их забыть свое высокое положение, и они не одобряли мезальянса. Прежние представления быстро возвращались, и Стас Броницкий снова ощетинился. Нашими свидетелями были Дюпра собственной персоной и графиня Эстергази, с восстановлением демократии ставшая вновь Жюли Эспинозой. Американский солдат привез ее к мэрии на военной машине. Жюли сопровождали две изумительно красивые молодые женщины.

— Возобновляю свою организацию, — объяс-

нила она нам.

Она была великолепна в огромной высокой шляпе, с вечной золотой ящерицей у плеча.

Мадам Жюли сожалела, что мы не венчаемся в церкви.

Дюпра был в визитке, с орхидеей в бутоньерке. “Лайф” посвятил ему статью, этот номер еще и сейчас висит над портретом Брийа-Саварена; на обложке знаменитая фотография Роберта Капы с изображением “Прелестного уголка” и стоящего у входа его суверенного владыки в рабочем одеянии. Название статьи: “Взгляд на Францию”. Статья вызвала большое негодование парижской прессы. В самом деле, в 1945 году искусство кулинарии не занимало в стране такого почетного места, как сегодня. Не знаю, какое место отводили Франции в Европе американцы, но они оказывали “Прелестному уголку” и его знаменитому хозяину не меньше уважения, чем немцы.

Утром перед церемонией Лила долго смотрелась в зеркало и сделала гримаску:

— Мне надо пойти к парикмахеру…

Ее волосы отросли не больше чем на два сантиметра. Сначала я не понял. В Клери был только один парикмахер — Шино. Я посмотрел на нее, и она мне улыбнулась. Тогда я сообразил.

Дюпра одолжил нам на этот день один из своих фургончиков, и в половине двенадцатого мы остановились перед парикмахерской. Шино был один. Увидев нас, он отступил.

— Я хочу, чтобы вы меня подстригли по последней моде, — сказала Лила. — Смотрите. Волосы отросли. Никакого вида.

Она направилась к креслу и села, улыбаясь.

— Как тогда, — сказала Лила.

Шино все не двигался. Он совсем побелел.

— Слушайте, месье Шино, — сказал я. — Мы сейчас должны пожениться, и мы торопимся. Моя невеста желает, чтобы вы ей выбрили голову, как полтора месяца назад. Не говорите мне, что вдохновение так быстро вас покинуло.

Он бросил взгляд на дверь, но я покачал головой.

— Ладно, ладно, — сказал я. — Я знаю, что восторг первых дней прошел и сердце не лежит к таким вещам. Но надо уметь поддерживать священный огонь.

Я взял бритву и протянул ему. Он попятился.

— Я вам сказал, что мы спешим, Шино. Моя невеста пережила незабываемый день, и она очень хочет выглядеть как тогда.

— Оставьте меня в покое!

— Я не хотел бить тебя по физиономии, Шино, но если ты настаиваешь…

— Это не я придумал, клянусь вам! Они пришли за мной и…

— Не будем спорить, кто это: “они”, “я”, “наши” или “другие”. Это всегда мы. Давай.

Он подошел к креслу. Лила смеялась. Цела, подумал я. Все цело.

Шино взялся за работу. За несколько минут голова Лилы была обрита, как раньше. Она наклонилась и полюбовалась собой в зеркале.

— Это мне действительно идет.

Она встала. Я повернулся к Шино:

— Сколько я вам должен?

Он молчал, раскрыв рот.

— Сколько? Не люблю делать долги.

— Три с половиной франка.

— Вот сто су, с чаевыми.

Он бросил бритву и убежал в заднюю комнату.

Когда мы подъехали к мэрии, все нас ждали. Когда присутствующие увидели бритую голову Лилы, наступило глубокое молчание. Усы Дюпра нервно вздрогнули. У моих товарищей из организации “Надежда” был такой вид, будто фашисты вернулись и все надо начинать сначала. Только Жюли Эспиноза оказалась на высоте. Она подо-

шла к Лиле и поцеловала ее:

— Дорогая, какая замечательная мысль! Это вам так идет!

Лила была очень весела, и легкая скованность гостей быстро рассеялась. После церемонии мы поехали в “Прелестный уголок”, и в конце обеда Марселен Дюпра произнес речь, где с волнением говорил о тех, кто “стоял на посту”, но без всякого намека на себя. Он просто напомнил, “с какими испытаниями пришлось встретиться каждому из нас”, и потом произнес фразу, которую я не совсем понял: неясно было, то ли он рад вернуть “Прелестный уголок” Франции, то ли Францию “Прелестному уголку”. В заключение он повернулся к приглашенным американским офицерам и с минуту созерцал их в мрачном молчании.

— Что касается будущего, нельзя не испытывать некоторого беспокойства. Господа, из вашей великой страны до меня доходят слухи, которые заставляют меня опасаться худшего. Наша Франция, претерпевшая столько бед, подвергнется новым испытаниям. Я уже слышу, что говорят о курах, выращенных на гормонах, и даже, да простит меня бог, о замороженных блюдах и, что еще хуже, о полуфабрикатах. Американские друзья, никогда Марселен Дюпра не примирится

с кухней полуфабрикатов. Тем, кто захочет превратить нашу Францию в кормушку для скота, я стану поперек дороги! Я буду стоять до конца!

Раздались крики “браво!”. Американцы начали аплодировать первыми. Дюпра поднял руку:

— Нет смысла отрицать — после всего пережитого ощущаешь некоторую пустоту. Мы не смогли подготовить себе смену. Тем не менее я уверен: то, что я защищал изо всех моих сил, с каждым днем будет укрепляться и в конце концов победит и восторжествует так, как мы и представить себе не можем. Что касается тебя, Людовик Флёри, который столько сражался за это будущее, и вас, мадам, кого я знал маленькой девочкой, вы достаточно молоды для того, чтобы однажды увидеть ту Францию, о которой я, как старый человек, могу только мечтать, и тогда вы дружески вспомните обо мне и скажете: “Марселен Дюпра видел верно”.

На этот раз аплодисменты продолжались добрую минуту. Мадам Эспиноза вытирала глаза.

— Еще одно слово. За этим столом нет одного человека. Не хватает друга с большим сердцем, человека, не умеющего отчаиваться. Вы угадали, я говорю об Амбруазе Флёри. Нам его очень недостает, и я знаю, Людо, каково твое горе. Но

не будем терять надежды. Может быть, он к нам вернется. Может быть, он снова будет среди нас — тот, кто с таким постоянством умел выразить благородным искусством воздушных змеев все, что есть вечно чистого и неизменного на этой земле. Я поднимаю свой бокал за тебя, Амбруаз Флёри. Где бы ты ни был, знай: твой духовный сын продолжает твое дело и благодаря этому небо Франции никогда не будет пустым!

Я действительно взялся за работу, и никогда еще после отъезда дяди в нашей мастерской не кипела такая бурная деятельность. Страна нуждалась в моральной поддержке, и заказы сыпались со всех сторон. Наш фонд очень пострадал, и нам приходилось начинать практически с нуля. Большая часть изделий сгорела, но штук пять — десять, которые дяде удалось спрятать у соседей, служили нам образцами, хотя из-за небрежного обращения обветшали и потеряли форму и цвет. Я знал работу и работал быстро. Вопрос был только в том, хватит ли у меня вдохновения после всего пережитого. Воздушные змеи требуют большой наивности. С материалами тоже была проблема, а у нас не было ни гроша. Дюпра нам немного помог: как он говорил, во что бы то ни стало надо сохранить местную достопримечательность, но

по-настоящему нас поставила на ноги мадам Жюли Эспиноза. В освобожденном Париже мадам Жюли открыла самую блистательную страницу своей карьеры, которой славилась в течение последующих тридцати лет. Я немного колебался, не зная, что сказал бы дядя, если бы знал, что наших змеев в некотором роде финансирует первая сводня Парижа, но меценаты всегда существовали. Кроме того, мне казалось, что, отвергнув эту помощь, я стал бы на одну доску с людьми, считающими, что первопричина всего земного добра и зла находится ниже пояса. Так что мы поехали в Париж навестить мадам Жюли. Ей удалось заполучить прекрасную квартиру с мебелью в стиле Людовика XV. Мадам Жюли угостила нас чаем и рассказала, с какими трудностями сталкивается из-за конкуренции. Ее возмущало, что заведения, принимавшие немцев, по-прежнему открыты и обслуживают американцев.

— Ну и нахальство у некоторых бабенок! — ворчала она.

Я с ней согласился, тем более что накануне был свидетелем восхитительной сцены между Дюпра и мадам Фабьенн, “хозяйкой” с улицы Мироменил. Она явилась обедать в “Прелестный уголок” в сопровождении американского военного ат-

таше и имела наглость сообщить Дюпра, что не один он, по его выражению, “стоял на посту”.

Дюпра страшно разгневался.

— Мадам, — заорал он, — если вы не видите разницы между очагом цивилизации и борделем, я вас прошу выйти!

Мадам Фабьенн не пошевелилась. Это была маленькая близорукая женщина с хитрой улыбкой.

— Имейте в виду, — ревел Дюпра, — я принимал здесь, под носом у немцев, участников Сопротивления и летчиков союзников!

— Ну что ж, месье Дюпра, у меня тоже есть кое-какие заслуги. Это даже позволило мне пройти комитет по проверке с высоко поднятой головой. Знаете, сколько евреек я спасла во время оккупации? Не меньше двадцати. С сорок первого по сорок пятый в моем заведении побывало двадцать евреек. Когда меня обязали пройти комитет по проверке, эти молодые женщины явились и свидетельствовали в мою пользу. Например, во время этой ужасной облавы на Зимнем велодроме я приняла к себе четырех евреек. Мое заведение — это безусловно бордель, но сколько у вас евреев работало при немцах, месье Дюпра? Скажите-ка, что бы со мной произошло, если бы фашистские офицеры узнали, что имели дело с

еврейками? Я не говорю, что занимаюсь хорошим ремеслом, и у меня нет претензий, но где эти молодые женщины могли бы найти пристанище и поддержку, кроме как у меня?

Дюпра — в порядке исключения — замер с разинутым ртом. После паузы он смог пробормотать только: “Черт возьми” — и удалился. Я пересказал этот инцидент мадам Жюли, которая несколько растерялась.

— Я не знала, что Фабьенн спасала евреек, — сказала она.

Она объявила, что ничто не доставит ей больше удовольствия, чем возможность помочь мне продолжать дело Амбруаза Флёри.

— Пусть эти деньги пойдут на что-то чистое, — сказала она.

Мадам Жюли проявила также большое понимание и доброжелательство по отношению к родителям Лилы.

— Нет ничего печальнее, чем судьба аристократов в изгнании, — объяснила она нам. — Я не могу примириться с мыслью, что люди, привыкшие к определенному уровню жизни, становятся жертвами трудного времени. Я всегда ненавидела упадок.

Вследствие чего она доверила Генусе Брониц-

кой управление особняком на улице Каштанов, который постепенно приобрел международную известность. Таким образом, Стас снова смог играть в рулетку и на бегах. Он скончался от сердечного приступа в Довиле в 1957 году, играя в рулетку, когда крупье подвинул к нему выигранные жетоны больше чем на три миллиона. Можно сказать, что он умер счастливым.

Посольство новой, Народной Польши не могло сообщить нам никаких сведений о Таде. Для нас он всегда жив и всегда в Сопротивлении.

Мы сели на поезд в Клери, добрались туда днем после многочисленных остановок (железную дорогу еще не совсем привели в порядок) и пошли через поля к Ла-Мотт. После умывшего небо дождя было очень хорошо. Нормандская земля еще не залечила свои раны, но в осенней тиши они не казались такими страшными. Прекрасное небо над перевернутыми танками и искореженными домами вновь приобрело отрешенно-спокойный вид.

— Людо!

Я увидел. Он трепетал в воздухе, раскинув руки буквой V в знак победы. Над Ла-Мотт летел воздушный змей, изображающий генерала де Голля: небольшой ветер помог ему набрать высоту, и он

сильно рвался в небо, — видимо, привязь была ему не по вкусу. Он летел величественно, немного тяжело, боком, освещенный закатным солнцем.

Лила уже бежала к дому. Я не двигался. Мне было страшно. Я не смел верить. В Париже я снова стучался во все двери: обращался в Министерство военнопленных и депортированных, в Красный Крест, в польское посольство, — и мне подтвердили, что Амбруаз Флёри значится в списках узников Освенцима.

Надежда пугает. Все мое тело оледенело, и я уже плакал от разочарования и отчаяния. Это не он, это кто-то другой, или просто дети решили сделать мне сюрприз. Наконец, не в силах справиться с собой, я сел на землю и закрыл лицо руками.

— Это он, Людо! Он вернулся!

Лила тянула меня за руку. Остальное было как счастливый бред. Дядя Амбруаз, который не мог меня обнять, чтобы не упустить своего “Де Голля”, смотрел на меня нежно и весело.

— Ну, что скажешь, Людо? Хорош змей, правда? Я не разучился. Таких понадобятся сотни, вся страна будет их заказывать.

Он не изменился. Не состарился. Такие же густые и длинные усы, то же веселье в темных

глазах. Ничего они не могут сделать. Не знаю, кого я подразумевал под “ними”. Наверное, фашистов или просто всех им подобных.

— Я за тебя беспокоился, — сказал он. — И за тебя тоже, Лила. Иногда даже спать не мог. Подумать только, двадцать месяцев ничего не знать…

Черт возьми, подумал я, он двадцать месяцев пробыл в Бухенвальде и Освенциме — и беспокоился за нас!

— Я вернулся через Россию, — сказал он, — там я несколько месяцев работал. После всего, что они пережили, детям там действительно нужны воздушные змеи. Ты, конечно, не терял времени даром, но еще много надо сделать.

Мы весь вечер составляли список того, что у нас осталось.

— Некоторые можно починить, — сказал дядя, — но за историческую серию придется браться заново. Посмотри только!

“Паскаль” и “Монтень”, “Жан-Жак Руссо” и “Дидро”, которых мы забрали от соседей, висели под потолком все в пятнах, покрытые плесенью, поломанные и поблекшие.

— Так, это мы сделаем, а потом… — Он немного подумал. — Не знаю, стоит ли восстанавливать то, что было. Нет, наверное, стоит, чтобы была

память. Но нужно новое. Пока будем делать “Де Голлей”, на какое-то время этого хватит. Но потом надо будет найти что-то новое, видеть дальше, смотреть в будущее…

Мне хотелось поговорить с ним о “Прелестном уголке” и Марселене Дюпра, что-то подсказывало, что будущее — с ними, но нет пророка в своем отечестве, и рано еще было подводить итоги.

Возвращение Амбруаза Флёри отмечалось как национальный праздник — у каждого было ощущение, что Франция обрела прежнее лицо. Дети помогли нам сделать тайком воздушного змея с его изображением, и все воскресенье он парил над площадью, которая теперь носит его имя, рядом с музеем воздушных змеев в Клери; к сожалению, этот музей более известен за рубежом, чем во Франции, и славится далеко не так, как “Прелестный уголок”. В стенах музея нет воздушного змея “Амбруаз Флёри” — мой дядя решительно отказался быть музейным экспонатом, однако, как немного зло говорит Марселен Дюпра, “этого недолго ждать”. Отношения между этими двумя уже не те, что прежде. Возможно, они слегка завидуют друг другу: иногда кажется, что они не могут поделить будущее. “Посмотрим, за кем будет последнее слово”, — ворчат оба ино-

гда. Заканчивая наконец свою повесть, я хочу еще раз написать: пастор Андре Трокме и Шамбон-сюр-Линьон, потому что лучше не скажешь.